

# Людмила Шарга

Повесть  
о падающих  
яблоках

2013

**Людмила Шарга**

**повесть  
о падающих  
яблоках**

**короткая проза**

**Одесса – Санкт-Петербург  
2013**

Published by  
docking the mad dog

## Почему яблоки...

Почему яблоки? – спросила меня приятельница. – Не апельсины, не персики, не вишни, не какая-нибудь маракуйя, наконец, а – яблоки?

Именно этот вопрос и подтолкнул меня к написанию небольшого предисловия, в котором есть ответы на вышеозначенные «почему», и не только на них.

Что можно сказать читателю, если всё уже сказано?

Присутствующая недоговоренность в рассказах и повестях, оставлена для него же – для читателя, это его и только его право на «что потом» и «что дальше».

Это только сказки заканчиваются словами «стали они жить-поживать да добра наживать», в жизни именно с этого момента всё только начинается.

«Повесть о падающих яблоках» была задумана давно. Именовалась как «Книга Яблок», писалась долго, и осталась неоконченной.

Во всяком случае, автор очень и очень на это надеется.

О чём... ?

О себе и обо всех.

Для себя и для всех.

Устройство мира видится автору предельно простым: растёт себе яблоня. А на ветках, разумеется, яблоки. Мы с вами...

Кому суждено цветом опасть, кому завязью.

Кому ветром сорванным быть, кому съеденным.

Иным и червоточины не миновать.

Иным – скороспелости.

А те яблоки, которые в срок поспевают – на землю падают. В траву густую.

Из семечек новая поросль поднимется.

Яблочко от яблони, говорят...

Но в жизни случается всякое.

Кстати, этимологические пути этого слова говорят о его древности, о дыхании времён и пространств, заключённых в нём.

Не потому ль библейский запретный плод с Дерева Познания Добра и Зла видится нам яблоком. И соблазнительницу Еву мы представляем себе с яблоком на ладони, хотя, в Библии не говорится о том, что за дерево росло в Эдеме, и что за плод преподнесла Ева Адаму.

Кусочек одного плода, застрявший у него в горле, по сей день именуется адамовым яблоком.

Золотые яблоки Гесперид – они же молодые яблоки, пресловутое яблоко раздора

богини Эриды, далёкий и прекрасный Инис Авалон – благословенный Остров Яблока.

По некоторым источникам земли древних славян путешественники называли Яблоневым царством.

Большое Яблоко – The Big Apple...

Говорят, что первое дерево, посаженное первыми переселенцами, которое дало плоды, было яблоней. Поэтому «яблоко» стало символом Нью-Йорка.

Яблоко незримо (или вполне различимо) присутствует во многих названиях плодов: апельсин – китайское яблоко (нем. Apfelsine), картофель – земляное яблоко (франц. pommes de terre), помидор (итал. pomo d'oro ) – золотое яблоко, ананас (англ. pineapple).

История о том, что однажды Ньютону на голову упало яблоко, благодаря чему он и открыл закон всемирного тяготения, возможно, вымышлена, как и легенда о Вильгельме Телле. Но мы и теперь говорим о выстреле в цель: «В яблочко!»

Символ любви и вечной молодости, символ бессмертия, символ познания и символ мирской власти (держава).

Яблоко было на Земле раньше нас.

И будет после.

Всё, что надо планете, для возрождения из того ада, куда мы её вгоним, (без сомнений, увы...) – чтобы несколько яблочных зёрнышек, упали в землю, и чтобы потом пошёл дождь. Не кислотный, желательно...

Версия эта не имеет научных обоснований, да и не нуждается в них.

И не претендует на первенство – в литературе «яблочных образов» великое множество.

Просто... автор очень любит яблоки, вот и писал эту книгу с любовью к ним и к читателю.

И ещё.

Хотелось бы, чтобы он – читатель – знал, благодаря кому эта книга обрела жизнь.

Это **Николай Мурашов** (docking the mad dog) – именно с его лёгкой руки появилась моя первая электронная книга, куда вошли стихи разных лет («Рукой подать»).

Ну а теперь, с его же лёгкой руки, – книга прозы.

Это **Ольга Лесовикова** (Rostislavna) – её фотоработы использованы в книге.

Это **Вячеслав Шарга** – автор дизайна обложки.

И, наконец, автор – **Людмила Шарга**.

# Вместо предисловия

Сейчас такие времена, когда идёт лёгкое, лёгонькое смещение понятий, а иногда и подмена. Создаются иллюзии, что качественная литература и коммерческий успех есть синонимы. И авторы активно создают то, что жаждет потреблять и оплачивать некий "среднестатистический потребитель". Почему-то не смог написать "читатель"... Информационные перегрузки окружающей жизни подталкивают к тому, что полегче усваивается, не требует дополнительных мыслительных усилий. На примере сети интернет – наиболее востребованы порно, эээ, эротика, и всяческие пушистые ми-ми-ми (котята, щенки, шубы и манто, и прочее, что можно тискать и гладить, пусть и мысленно). Сюда же следует добавить блёстки, глянец и гламур, адреналин и некоторые не совсем легальные удовольствия. Примерно этот же комплект превалирует в т.н. бульварном чтиве: вампирские саги, потрясающие тинэйджеров и вроде бы взрослых людей, о волшебниках и драконах, крутой детектив, периодически соскальзывающий в боевик, романы "для домохозяек" (ну, это было во все времена), шквал фанфиков, подражаний (50 оттенков чего ни попадя), мистика и хорор. Если я что-то не

упомянул, да и чёрт с ними. Если показалось, что я одним махом всё вышеперечисленное записал в низкопробную литературу, то это не так. Хорошую книгу можно почувствовать в процессе чтения и жанр может отступать на второй план, при условии таланта автора.

Книгу прозы Людмилы Шарга нельзя отнести к разделу современных "бестселлеров", что очень радует. Скорее приходит мысль о традиционной русской классической литературе, в которой автор не стремился понравиться публике, потрясти её и прочее манипулирование.

Хороший русский литературный язык, определённая несуетность повествования. Не всегда легко признаться, что тебя что-то может действительно зацепить. В этой книге получается именно так. Возможно, это я с возрастом становлюсь чуть мягче и сентиментальнее, меняется восприятие. Но никаких примеров или отрывков я приводить не буду, это скучно. Да и нельзя заранее программировать читателя на какие-то реакции. Может быть, надо сказать, что это чтение для взрослых, но и эту фразу многие понимают по-разному. Скорее, надо говорить о субъективном восприятии, о возможности подумать вместе с автором, почувствовать оттенки эмоций лирических героев. Периодически возникает чувство, что автор что-то оставляет за текстом, за кадром, не



проговаривает многое, но незаметно подводит читателя, подталкивает к дальнейшим размышлениям. Такие впечатления у меня возникают не слишком часто, и это тоже мне понравилось.

Моя признательность автору, что эта книга появилась, что порадоваться могут не только близкие и знакомые.

Николай Мурашов

# Содержание

От автора

Вместо предисловия

Содержание

Падающие яблоки

Свет в окне

Улица Трамонтан

Последнее слово, или когда нас не было

Ангел по вызову

Крыло вечности

Гнедая? Каурая? Чалая?!!!

Долг

Мечь

Ловушка для жиголо

Лёля хадаша

Вторые руки

Не встречайтесь с первой любовью...

## Кариатида

Часть первая. Вадим

Часть вторая. Рина

Часть третья. Встреча

Часть четвёртая. Озарение

Часть пятая. Эпилог

## Посвящение

## Оберег

## Короткая Рубашка

## Ода одиночеству

## Мадонна

## Не предавайте старые дворы...

## Чеховские мотивы

## **ПОВЕСТИ**

## ЗАТЕРЯВШИЙСЯ ВЗГЛЯД

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ГЛАВА ВТОРАЯ

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

ГЛАВА ПЯТАЯ

## ЭПИЛОГ

### ДОЖИТЬ ДО ВЕСНЫ

Глава первая

Глава вторая

Глава третья

Глава четвёртая

Глава пятая

Эпилог

### ЛЕКЦИИ ПРОФЕССОРА КАМЕНЬКОВА

Часть первая

Часть вторая

Часть третья

Часть четвёртая

### Сама себе Луиза

Часть первая

Часть вторая

### ПОВЕСТЬ В ПЯТИ ШАГАХ

Шаг первый

Шаг второй

Шаг третий

Шаг четвёртый

# Шаг пятый

[Автор](#)

[Библиография](#)

[Acknowledgements](#)

[Copyright information](#)

# Падающие яблоки

Всю ночь шёл дождь.

Марусе снилось, как падают яблоки в их старом саду, и к запаху дождя, и к свежему и пряному запаху земли примешивался запах спелых яблок.

А под утро пришла мать. Присела на краешек кровати, тяжело вздохнула.

– Ты что, мам? – испуганно подскочила Маруся, – Ты что же это не спишь?

– Зачем замок сменили? Хоть бы ключ оставили – под половик на порог положили. Я в дом попасть не могу – ключ к замку не подходит. А в доме-то – неладно, сердцем чую...

Маруся еле-еле дождалась, пока рассвело, и позвонила брату.

– Что там с домом?

– Стоит – что ему сделается.

Несмотря на ранний звонок, голос брата был бодрым. Будто ждал и заранее был готов ответить на все вопросы.

После смерти матери опустевший дом начал умирать. Медленно, незаметно, но ощутимо. И как ни старалась Маруся, приезжая в выходные,

поддерживать видимость жизни в доме – ничего у неё не выходило. Она и печь русскую два раза истопить успевала, и пыль везде вытереть, и проветрить, и даже ночевать оставалась, так ей старушка одна в автобусе посоветовала. Ничего не помогало – дом умирал.

Маруся, до недавних пор ощущавшая себя ребёнком, никак не могла смириться со смертью самого родного человека – матери, с тем, что гнездо, откуда она так рано выпорхнула, не успев толком повзрослеть, тоже скоро умрёт.

Уверенная, что в любое время сможет вернуться, что здесь её всегда ждут, что здесь ей будет тепло и безмятежно, как в детстве, она с ужасом поняла, что возвращаться некуда.

После смерти матери всё стало иначе.

Маруся бежала к автобусной остановке, дрожа от утренней сырости, боясь опоздать на единственный автобус, которым можно было добраться в родное село без пересадок.

Она всегда приезжала в начале июля с дочкой. Нужно было помочь с огородом, сходить на сельский погост – к прабабушке Валентине и бабушке Марусе; дед и прадед пропали без вести, один на первой мировой, другой – на второй.

А отец умер, когда Маруся пошла в школу.

Ивана в тот год забрали в армию, и через два года вернулся другой Иван – чужой.

Этот «другой» Иван был частенько навеселе, да и жену привёз весёлую – себе под стать.

После недели «весёлой» жизни молодые сняли угол на окраине села и даже по большим праздникам в доме не появлялись.

Нынешним летом Маруся с Валюшкой приехали поздно – в начале августа. Уже отошла любимица дочки – клубника, уже подёрнулись сизоватой дымкой поздние сливы, а старая развесистая яблоня, казалось, тихонько постанывала от тяжести. Ветки её клонились до самой земли, и там трава была ещё свежей и сочной, как в начале лета, а земля влажной, будто после дождя.

– Я тебе платье купила, – виновато улыбаясь, мать вынесла из дальней комнаты пакет.

– Как же ты покупала, без примерки... да и не люблю я платья, в брюках удобнее. А если не подойдёт по размеру?

– Я договорилась, чтоб поменяли. Смотри-ка, угадала. Да и цвет хороший...

Платье действительно пришлось впору. Лёгкая, приятная на ощупь ткань, плотно облегалась и подчёркивала точёную фигурку Маруси.

И сразу какая-то неуловимая перемена



произошла: из худошавой, коротко остриженной девушки выглянула молодая женщина, зеленоглазая, русая...

– Угадала, – повторила мать, – да вот, угодила ли?

– Конечно, мам. Разве сама не видишь?

Маруся ещё немного покрутилась перед зеркалом, сняла платье и повесила в шкаф.

Когда собирались уезжать, мать насыпала полную корзину яблок.

– Зачем, мам? Тяжело... Что я, яблок не куплю себе? Есть там у нас яблоки, какие хочешь.

– Таких нет. Коричные, доченька. Очень ты их в детстве любила. Всё спрашивала: зачем яблоки так часто с яблоньки падают...

Часто – да близко, рядышком. А вы вот с Иваном далеко друг от дружки упали, да и от меня тоже. Один – рядом, да дальше некуда, чужак чужаком. Другая – далеко. А я – как та старая яблонька, вот-вот подломлюсь да и засохну.

И Маруся взяла корзину, не смогла не взять.

А вот о платье вспомнила только в автобусе, вспомнила, и сразу как-то всё похолодело внутри. Представила, как мать открывает шкаф, как достаёт оттуда платье и плачет.

Дома ждала телеграмма о смерти матери.

А завтра сороковины – сорок дней.

От автобусной остановки идти было недалеко. Калитка скрипнула жалобно, надрывно, и Маруся погладила ржавую щеколду.

Дом спал. Мрачные подслеповатые окна под насупленными наличниками-бровями даже не дрогнули. Марусе показалось, что она слышит дыхание спящего дома – тяжёлое, прерывистое.

Замок действительно был новым, и ключа на обычном месте – под половичком – не было.

Снова скрипнула калитка. Маруся обернулась и увидела брата.

– Так и знал, что с утра примчишься – не удержишь на месте. Чего всполошилась, могла бы и в обед приехать.

– Замок поменял...

Иван присел на порожек, закурил.

– Да сволочь какая-то повадилась. Как ни приду – на веранде дверь настежь, бутылки, мусор, грязь. Вот и сменил замок. Хорошо, что в комнаты не влезли.

Он протянул ключ Марусе.

– На вот.

Маруся вошла в дом. Почувствовала, как его

дыхание стало ровнее и тише.

Проснулся...

Узнал.

Она открыла вторую дверь, ведущую в зимнюю кухню, прошла через большую комнату – к светло-ореховому платяному шкафу, который стоял в спальне матери.

Платье висело там, где Маруся его повесила, между синим байковым халатом и пушистой вязанкой.

– Вещи раздай – пускай люди носят. После сорока дней можно. Я только платье возьму.

И платок пуховый.

И ключ положи, пожалуйста, на старое место – под половик.

Маруся на миг прижала платье к лицу и почувствовала нежный, волнующий запах. Яблоки...

– Так ведь старый платок... Ты... правда решила отказаться от дома? – брат в глаза не смотрел.

– Правда. Перебирались бы – жили, сколько можно по чужим углам ютиться. Юрка уже вырос, а дома своего не знает.

Я ещё икону возьму. Вот эту, маленькую. Мама говорила, что она в один год со мной в доме появилась.

– Бери, конечно, на что они нам. Мы ж неверующие.

Маруся завернула икону в платок, уложила в сумочку.

– В церковь отдайте, неверующие. Но одну оставьте. Не для себя, это ему – дому нужно. Я на кладбище, там и в церковь забегу, и как раз к автобусу успею. Прощай, Иван.

– погоди. А стол как же? Надо же помянуть мать. Анята столько всего наготовила.

– Вот и помянете. Но здесь – в доме – не напиваться. И Аняте своей скажи: узнаю, что попойка была на поминках, дом подарю чужим людям.

– Не пьём мы. Знаешь ведь...

– Знаю. Это я так, по привычке. Прости, Ванюша.

Она прижалась к плечу брата, и плечо это показалось на миг таким же родным и надёжным как в детстве.

Сидя в тёплом салоне автобуса, Маруся никак не могла согреть руки – холод и сырость кладбищенского креста не исчезали, пронизывали изнутри всё тело странным ознобом.

Утром она проснулась с давно забытым

ощущением лёгкости, предчувствия чего-то хорошего. Надела платье, покрутилась перед зеркалом. Немного не по сезону, ну да ладно – плащ можно набросить.

Молодящаяся из последних сил секретарша начальника Аллочка, при виде Маруси оживилась:

– Обновка! Тебе, оказывается, очень идут платья. Слушай, а что за духи? Что-то знакомое, а вот названия вспомнить не могу. Французские?

– Так пахнут яблоки после дождя. Падающие яблоки...



# Свет в окне

Одесскому дворику и славным его обитателям  
- настоящим одесситам посвящается

Время уже давным-давно перевалило за полночь.

Переполненная молочно-жёлтым, густым светом луна щедро проливала его излишки на спящий Город.

Дома меняли очертания, ветхость и запустение стирались, трещины на фасадах становились не так заметны, а балконы, мансарды и водосточные трубы принимали совершенно фантастический вид. Оживали львы и грифоны, атланты и кариатиды, витаяковка старых ворот змеилась виноградной лозой, и повсюду, даже в самых маленьких двориках чувствовалась близость моря. Никогда и нигде ни с чем не спутать этот запах: остывающий и отдающий своё тепло песок, просоленные пирсы и причалы, и тина, разбросанная и источающая свежий йодистый аромат.

Может оттого и казался Город огромным плавучим островом.

Вот-вот поднимутся паруса, примчится

попутный ветер-бродяга, наполнит их, и отправится остров в дальнее плавание и будет плыть до тех пор, пока ветер не умчится далеко-далеко.

И спящий Город станет ждать следующего залётного ветерка.

А жители, ни о чём не подозревая, будут ходить в школу и на работу, ссориться по мелочам и мириться.

Они будут пить по утрам чай либо кофе, обсуждать последние новости, таскать с рынка первые дары пока ещё плодородной земли и водку из ближайшего киоска-батискафа. У них будут рождаться дети.

Жители будут незаметно стареть, болеть, умирать. Да и какое им, собственно, дело до того, что их Город – не город, а остров. Плывёт он или стоит на месте – для большинства это неважно.

Кто-то не проснётся этим утром, а кто-то проснётся, но не захочет вставать – надоело всё до чёртиков. Каждый день в спящем городе начинался и заканчивался до тошноты однообразно.

Но были среди жителей те, кто чувствовал попутный ветер в парусах, кто прислушивался и слышал осторожные всплески воды, кто не мог

спать спокойно, когда Город-Остров плыл, и задыхался, когда Город-Остров дремал в стоячих водах, ожидая бродягу-ветер.

Их называли чудаками, при их появлении крутили пальцем у виска – не от мира сего... хотя они-то, как раз и были настоящими детьми сего мира, а те, слепые, глухие и бесчувственные были пришлыми. Но их было больше, они были хитрее и изворотливее, они умели приспособиваться и лгать. А ещё они умели предавать ближнего.

Настоящие же дети Города были бесхитростны и дружелюбны. Корабелы и матросы, рыбаки и грузчики, булочники, ювелиры, цветочницы и аптекари... музыканты, художники и... поэты. Они-то больше всех тосковали, когда Город дремал и, радуясь как дети, слагали стихи и сказки, когда Город плыл.

...обычно в полнолуние ей писалось легко, строчки так и летели, сплетаясь в причудливые узоры на полотне сюжета. А сегодня что-то мешало, сдерживало полёт; какая-то тревога витала в пространстве, едва уловимая, но, смешиваясь с неизвестно откуда взявшейся, тоской, разрасталась и становилась совершенно невыносимой.

Лана прислушалась: неужели опять нет попутного ветра, и Город болтается в ленивом



безмолвии...

Нет, плывёт.

Тогда, что же это?

Она отложила тетрадь. Не пишется, и вряд ли уже что-то изменится: такие «ловушки» иногда случались. Обычно это длилось недолго, дня два-три – не более. Но, тем не менее, Лана очень боялась ловушек – каждый раз ей казалось, что это навсегда, и писать она больше не сможет.

Не пишется.

Лана заглянула в комнату сына. Ростик-маленький спал, крепко обхватив руками подушку, и улыбался во сне. Так, здесь всё в порядке... Она даже не стала подглядывать его сон, раз улыбается – значит, снится что-то хорошее, доброе. Лана часто прогоняла тревожные сны, делала она это легко, мгновение – и хмурящийся малыш улыбался.

Подглядывать и прогонять дурные сны Лана умела с детства – никто её этому не учил. Правда... мама что-то такое говорила о прабабушке – колдунье, но вряд ли это было правдой.

О колдуньях Лана знала всё-всё, ещё бы, ведь она была Сказочницей. Сочиняла сказки для детей и для взрослых.

Но слагались сказки только тогда, когда Город-

Остров плыл под полными парусами, когда же он дремал, сказки слагаться не хотели.

Поэтому и насторожило Лану сегодняшнее состояние.

Ростик-большой тоже улыбался чему-то во сне, только посапывал он посильнее и подушка в его руках была побольше.

Лана окончательно успокоилась и решила прилечь – вряд ли уже сегодня что-то напишется. Но чувство тревоги вернулось. Подойдя к окну, она поняла, наконец, что не так, – в доме напротив не было света в окне.

Вот оно что.

Сердце сразу забилося часто-часто, и стало ещё тревожнее. Лана привыкла видеть свет в окне напротив и даже представить себе не могла, что когда-нибудь там поселится черная пугающая пустота.

Что-то случилось там.

Что-то нехорошее, страшное случилось...

Вот прямо сейчас пойти туда и узнать обо всём, или позвонить, – есть же телефонный номер...

«Да что же это я, – одёрнула себя Лана, – почему там должно было что-то случиться. Люди могли уехать на отдых, в командировку, на дачу... заночевать в гостях, продать или обменять

квартиру. Проводка могла выйти из строя. Лампочка могла перегореть.

Что я знаю о жильцах? Почти ничего... Мой звонок будет некстати. В такой поздний час даже и близким-то можно звонить только в крайнем случае, а здесь. Я даже не помню, как зовут того человека... да всё там в порядке. Вот дурочка-дурёха, придумала себе, Бог знает что...»

Но чем больше Лана успокаивала себя, тем скорее тревога перерастала в уверенность: что-то случилось, нехорошее случилось, иначе чернота за ослепшим окном не была бы такой пугающей и плотной.

До недавнего времени Лана понятия не имела о том, кто живёт в доме напротив, чьё окно светит ей по ночам, кто зажигает свет с наступлением сумерек. Сочинять сказки без света в окне было невозможно – они получались чёрно-белыми и грустными. А всем известно, что чёрно-белых сказок не бывает – сказки должны быть цветными. В редакции детского журнала, грустные сказки принимать не хотели, и были правы – кому же нужны чёрно-белые сказки, когда сама жизнь – чёрно-белая?

Тогда Лана стала подходить к окну и смотреть во двор, а так как работала она в основном по ночам, то и облюбовала для себя яркий квадрат окна в доме напротив. Обдумывая сюжет,

очередной поворот в судьбе героя или героини, она неизменно смотрела на свет в окне, и судьбоносный поворот всегда приводил к счастливому завершению сказки.

В этом году Рождество Ростик-большой предложил провести в Карпатских горах.

Ростик-маленький и Лана пришли в восторг от такого неожиданного подарка. Недели в пахнувшей смолой колыбе, среди снежных гор и пушистых смеричек – ёлочек хватило, чтобы Лане показалось, что поездка ей приснилась, настолько слякотно и уныло встретил их Город. Было ясно, что попутные ветра бродяжничали где-то далеко-далеко, за тридевять морей.

А вскоре после возвращения к ней подошёл человек с добрыми, но очень усталыми глазами и улыбнулся:

– С приездом. Вы ведь уезжали, не так ли? Дней на шесть...

– Да, уезжали. Мы ездили отдыхать всей семьёй в Карпаты... А что?

– Видите ли, – он вновь улыбнулся, но глаза так и остались грустными, – я живу в этом доме. Вон моё окно...

– Кажется, я начинаю понимать, – кивнула Лана, – это ваше окно светит мне по ночам, ведь так?

– Совершенно верно, – подтвердил человек, – а мне светит ваше. И мне было очень тревожно всё это время, пока вас не было.

До Ланы только теперь дошло, что человек, как и она, привык видеть свет в окне напротив. В её окне.

И свет этот зажигала она сама.

– Знаете ли, это просто необходимо видеть свет в окне напротив, – его голос очаровывал Лану, казалось, что она давно знает этого человека, – это вселяет надежду, уверенность и дарит спокойствие. Для жителей нашего Плавучего Города это просто необходимо.

– Как? И вы тоже? – удивилась Лана. – Откуда вам известно о Плавучем Городе?

Она взгляделась в его лицо и воскликнула:

– А ведь я вас знаю! Ну конечно, как же я могла вас не узнать... Года три назад, помните?.. В Старом парке – на книжном развале. Ростик мой тогда был совсем крохой, ему всего четыре годика было. Мы гуляли и, как всегда, решили поглазеть на развал, а вы стояли неподалёку и листали какую-то толстенную книгу, помните?

– Вполне возможно, – согласился человек, – я довольно часто бываю на развале, иногда там можно встретить хорошие книги. Добрые, умные, настоящие сокровищницы мудрости, без

глянцевого блеска переплёта, безо всей этой глупой, пошлой и никому не нужной мишуры... Да. И что же?

– Ростик начал хныкать, просить книгу, которая стоила довольно дорого. Я и сама очень люблю эту повесть, и потом мы купили полное собрание сочинений Владислава Крапивина. А тогда он просил «Тень каравеллы». Ему обложка понравилась – читать-то он ещё не умел, а паруса увидел – и всё. Я, как ни пыталась оттащить его от книжного лотка, – ничего не выходило. Я ему объясняла, что дорого, что денег сейчас нет. И тогда...

– И тогда я сказал, что Вы должны быть благодарны судьбе за сына. Ведь он просил купить ему хорошую добрую книгу. Книгу, а не компьютерную игрушку, понимаете? Разве часто сейчас встретишь ребёнка, который просит купить ему книгу. Это необходимо ценить в человеке, пусть даже и в таком маленьком...

– А ещё вы сказали мне, что нужно как можно чаще приходить с Ростиком в старый парк, и вообще гулять по старым улицам Города. Я запомнила это – и мы теперь только там и гуляем.

– Скажите мне, вы часто бываете в новых районах Города?

– Не очень, – пожала плечами Лана, – но

иногда приходится. Я словно в другое измерение попадаю. Там всё не так, и... понимаю, что это чужь, но мне кажется, что и люди там другие, не такие как здесь, в Старом Городе.

– Нет, – мягко возразил человек, – Вы не ошиблись. Всё именно так: там и люди другие и время другое. А разве можно не стать другим, живя среди однотипных, уродливых зданий, напоминающих огромные клетки. Вы знаете, Старый Город строился не хаотично, не случайными людьми. Вы слышали о принципе «золотого сечения» в архитектуре? Дома на улицах и бульварах Старого Города построены с соблюдением этого принципа. Вот поэтому здесь легче дышать, а в старых домах свободнее жить и творить. Поселите-ка поэта в блочную клетку – умрёт поэт! Или ещё хуже – выживет, но умрут стихи в нём. Смерть заживо – это страшно.

Думаю, что вы понимаете, о чём я. Но я задержал вас и потому – разрешите откланяться.

Он действительно откланялся, чем очень смутил Лану, и начал не торопясь, с достоинством подниматься по наружной лестнице к себе, на третий этаж старого, увитого диким плющом и виноградом дома.

Больше им не приходилось встречаться, но каждый вечер, подходя к окну, она видела ярко

освещённое окно, и в душе становилось теплее, и сказки слагались хорошие, светлые и добрые, цветные-прицветные.

...она вздохнула... нет – не уснуть. Уже утро, наверное.

...вышла на кухню, и к окну – а там темно. Четыре часа утра... Не мешало бы поспать хоть пару часиков, – день предстоит хлопотный.

Она задремала, когда за окном начало сереть, и в этом сереющем утреннем мареве вдруг появился он, человек из дома напротив.

– Ой, а что же вы...

– Нет-нет, – теперь и глаза его улыбались, – я не хотел вас пугать, так вышло. А свет в окне будет гореть – это я вам обещаю. Я позаботился об этом, просто сегодня оплошал немного.

Лана облегчённо вздохнула, и сразу про-пала тревога.

– Спите спокойно и... прощайте... А ваш Ростик вырастет замечательным человеком, вот увидите.

Проснулась Лана, когда уже совсем рассвело. Начало восьмого... Если сейчас Ростиков: большого и маленького, не разбудить, то они обязательно опоздают: большой – на работу, а маленький – в школу.

Станный сон вспомнился только у подъезда, –



там стояла «скорая».

А по наружной лестнице из дома напротив четыре здоровенных мужика-санитара выносили носилки. Накрытое белой простынёй тело... Тело, конечно же.

И тревога, обернувшись страшной догадкой, сжала сердце цепкими, холодными лапами, сжала до боли... Значит, это был не сон, – он приходил прощаться. А ведь я даже не знала его имени.

Вечером, когда Ростики уgomонились, Лана подошла к окну: ярко светящийся квадрат в доме напротив словно подмигивал ей: «Всё в порядке, не беспокойся. Зажги свет и ты, и пусть свет в твоём окне станет светом надежды для кого-то.»

А Город-Остров плыл и плыл в океане Времени, навстречу неизвестности, и попутные ветра пели в его парусах, и всё больше светящихся окон становилось в Городе, словно люди вдруг поняли как это важно, – видеть свет в окне напротив.

## [Оглавление](#)

# Улица Трамонтан

Две недели отпуска в середине сентября свалились на меня неожиданно.

Нужно было уезжать – это понятно, отпуск дома – тоска зелёная, но вот вопрос: куда?

Моя кузина Катя, даже не дослушав стенания на эту тему, выпалила: «Что за вопрос, в Крым, конечно, куда же ещё! Поезжай наугад, – в незнакомое место, снимешь там какое-нибудь жильё. Ты никого не знаешь – тебя никто не знает. Вот это настоящий отдых! Только, чтобы море было близко-близко...»

Так я и сделала. Взяла билет на ночной поезд и вышла утром в маленьком крымском городе L.

Пыльные, пятнистые, с заборами увитыми виноградом, с кустами кизила и золотоглазой алычи, с серебристыми струйками олив, улочки тихого городка показались мне давным-давно знакомыми, как и огромная синяя гора, видневшаяся вдалеке.

Прежде чем отправиться на поиски жилья, я заглянула в магазин на привокзальной площади, где рядом с обычной минералкой в пластиковых бутылках, продавались странные вещи. Обрывки рыбацких сетей, маленькие и большие парусники, раковины, морская галька, бутылки,

наполненные ракушками и морским песком...

Здесь же можно было отправить бутылочную почту – во всяком случае, так гласило объявление: «Напишите письмо, и оно будет доставлено в любую страну, в любое время, в любой век!».

Рядом лежала стопка желтоватой бумаги, похожей на пергамент, спички и красно-коричневая палочка сургуча.

Я решила сыграть в эту нехитрую игру и написала несколько слов Кате, которая со своим многочисленным семейством: две кошки, две собаки, две дочки-близняшки – Лика и Лёка, попугай Март, черепаха Алика, когда-то жила в Тарусе, и к которой раньше я приезжала каждое лето.

Всякий раз, при встрече, Катя, оглядев меня с ног до головы, вздыхала:

– Чудный цвет лица! И этот зелёный человечек живёт в Волноморске! Тебе полагается быть бронзовой или эбеновой, как девушки древних... шумеров.

– Откуда ты знаешь, какими были шумерские девушки, – пыталась возразить я, – и потом, вот ты, например, в доме Тьо часто бываешь?

– Тоже мне, сравнила! То море, а то – музей. Море – оно всякий раз новое, и никогда не

повторяется.

– Хорошо, пусть так. Пусть. Но к реке ты же не ходишь каждый день? Не ходишь. А загорать, между прочим, и на Оке можно.

В последний приезд Катя обрушила на меня шквал новостей, из которых я узнала, что она ожидает друга из Канады, что близнецы осенью пойдут в школу, что черепаха оказалась не Аликой, а Аликом, и что попугай выучился петь на итальянском «соле мио».

От автостанции до дома на Сиреневой улице старенькая белая «Лада» мчалась сама собой, – Катя даже на дорогу не смотрела...

Вот уже два года, как она живёт в Квебеке, – друга сразу полюбили Катины собаки, кошки, черепаха и попугай, его полюбили Лика и Лёка, а самое главное – он полюбил всё это шумное и беспокойное семейство.

Осенью он приехал в гости, Рождество они вместе отметили в Квебеке, а уже по весне все окончательно перебрались в Канаду.

Я выбрала бутылку, вложила туда клочок бумаги, свёрнутый трубочкой и, растопив сургуч, запечатала горлышко.

Опустив в ящик деньги – бутылочная почта была недёшева – и, ожидая, пока сургуч застынет, я направилась к стеллажу с одеждой.

Белая рубашка с разрезом во всю длину рукава сразу привлекла моё внимание.

– Трамонтана, это что? – Вопрос повис в воздухе, – скучающая женщина-продавец даже не удостоила меня взглядом. – Вот здесь написано на бирочке: тра-мон-та-на, – я поднесла рубашку прямо к её носу.

Она прочла надпись, поправила очки и, наконец-то, посмотрела на меня.

– Фирма такая. Непонятно что ли.

«Трамонтана – это название ветра. Холодного ветра, который прилетает из-за гор...».

Я могла бы поклясться, что женщина не произнесла ни слова. Она просто смотрела на меня и улыбалась.

«А ещё в этом городе есть улица с таким названием... Как выйдешь – сразу направо...».

Схватив бутылку с посланием и расплатившись, я вышла из магазинчика и очутилась на улице Трамонтан. У синей горы, которая вблизи оказалась не синей, а самой обычной – с выгоревшей за лето травой и кустарниками, я остановилась. Здесь улица обрывалась, но чуть левее виднелась тропинка, уводящая наверх – в гору.

– Улица Трамонтан один, – нажав кнопку звонка на воротах, я услышала звон... ну да, это

был звон корабельной рынды, который я, как житель *очень* морского города, ни с каким другим звоном не спутала бы.

По дорожке, выложенной разноцветным камнем, шла женщина очень похожая на ту, из магазина. Похожая, и всё же совсем другая.

Рыжевато-русые волосы свободно спадали на плечи; низка солнечных тёплых камешков несколько раз обвивала тонкое сухощавое запястье смуглой руки.

– Это сердолик – наш камешек, крымский, – пояснила она, заметив мой взгляд. – Повезло вам. Только вчера жилец съехал.

Откуда-то доносилось журчание воды. В саду, несмотря на полуденное время, было прохладно.

Под окнами цвели хризантемы.

Из кухни по винтовой лестнице, больше похожей на корабельный трап, вслед за хозяйкой я поднялась в мансарду.

Здесь было жарко, пахло морем и цветами.

– Левкой, – хозяйка распахнула окно-иллюминатор, открыла балконную дверь, – к вечеру аромат усилится. Можно закрыть окно. Здесь есть вентиляция – жарко не будет.

Только теперь я заметила круглое отверстие над узкой дверью, на которой красовалась

резная Роза Ветров, похожая на цветок хризантемы: шестнадцать конусовидных лучей расходились из середины.

– Нет, не нужно. А куда ведёт эта дверь?

– В сад. Спуститесь по наружной лестнице и через сад – к морю – здесь недалеко.

Внизу есть телефон, обычный – городской, если понадобится. Компьютер, интернет...

– И радио с телевизором, – улыбнулась я.

– И радио с телевизором, – подтвердила женщина, оставаясь абсолютно серьёзной. – Телевизор не включала уже года три, радио слушаю иногда. Внизу – ванная комната, есть ещё душ в саду – летний, к вечеру вода становится горячей, осторожно. Если что-то нужно, обращайтесь. Меня зовут Марта.

Стены комнаты были несколько необычными, если не сказать странными. Одна – выложена разноцветной крупной галькой – как и дорожки в саду. Другая – у которой стояла узкая, как сказала бы Катя – *винтажная* – кровать, пестрела створками раковин: от простых до самых причудливых, явно заморских. Но самой необычной была часть стены у двери, исписанная вкривь и вкось разными почерками: от каллиграфически правильного до неровного, прыгающего, совсем неразборчивого. На

плетёное кресло-качалку был небрежно брошен шерстяной клетчатый плед. Создавалось впечатление, что кто-то недавно сидел в этом кресле, покачиваясь. Я попыталась представить себе этого «кого-то» и увидела мужчину с трубкой и с книгой в руках...

– А что это за «граффити»?

– Повесть. Муж очень любил море, парусники, ну и всё, что с морем связано. Однажды, вернувшись из Каталонии, начал писать повесть. Но не окончил. Не успел. Теперь эту повесть пишут те, кто живёт здесь.

Я подошла ближе: действительно, повесть. Такое себе настенное письмо...

– «Июльский солнечный день стекал в море, и вода, светлея на глазах, превращалась в жидкое золото. Свет уходящего дня, смешиваясь с морской водой, дробился, распадался на дрожащие радужные соты, вода в них уже не была похожа на морскую. Она становилась перламутровой, волшебной, живой...

Сквозь соты виднелись песчаные барханы на морском дне – дышащие, подвижные. Можно было видеть каждую песчинку, – казалось, что они тоже были радужными и светились изнутри, словно в каждой переливалось маленькое солнце, и все эти тысячи тысяч солнц превращали воду в живое, струящееся, золотое...



Холодный ветер подул из-за гор, и в тот же миг вода покрылась рябью, потемнела. Радужные соты исчезли...»

– Выходит, что только писатели здесь и останавливались?

– Нет, – улыбнулась Марта. – Впрочем, я не знаю. Могу сказать, что до вас эту комнату снимали только мужчины.

Мне, конечно же, польстило такое первенство. Разбирая вещи, я ещё несколько раз подходила к стене, – здесь время было другим, менялось, текло в совершенно ином русле и направлении. Мне думалось, что пока я читала повесть, прошло минуты три, а оказалось, что я стою перед стеной уже битый час и не могу оторваться от нехитрого сюжета.

В повести говорилось о моряке, который однажды услышал песню Северного Ветра.

С тех пор моряку стал немил свой дом, хотя там ждала его жена – первая красавица в посёлке. Он возвращался домой, и всё было хорошо до той поры, пока не прилетали холодные ветра из-за гор. Они уносили сон и покой, моряк тосковал, и снова уходил в море... А однажды он не вернулся. И с той поры ветра перестали прилетать в посёлок. Никто не верил, что моряк вернётся – все думали, что он утонул. И лишь его жена знала, что он жив. Потому что...

смерти, её и вовсе нет. Перед верой и любовью даже смерть бессильна.

Каждый вечер она перекладывала с места на место вещи мужа, чистила мундштук его трубки, а когда было холодно, растапливала камин – он любил вечерами посидеть у огня, выкурить трубку, – садилась рядом с каким-нибудь рукодельем и рассказывала ему, как прошёл день, будто бы муж действительно сидел рядом.

– А что же будет дальше, – разобравшись с вещами, я спустилась вниз. – Ведь повесть когда-нибудь кончится. Кто-нибудь допишет. И...?

– Не знаю, – Марта отложила в сторону красивую резную трубку – она чистила её белой пушистой тканью, и предложила мне выпить холодного чая с лимоном и мятой. – Красивая рубашка. Ваша. Я всегда выбираю только *свои* вещи. И вы, видимо, тоже?

– Я купила её в вашем городе – на площади. Не могла не купить. Она из тех вещей, о которых вы говорите. Называется трамонтана. Как улица, на которой вы живёте. Не верите? Я могу вам бирочку показать. Кстати, вы не знаете, что такое трамонтана? А трубка эта... та самая?

– Знаю. – Голос Марты звучал приглушённо, словно издалека. – Так называют холодный ветер, прилетающий из-за гор. И ещё я знаю, что

он никогда не дует в наших краях. А улица наша называется... ах, ну да... Собираетесь к морю? Хорошего дня.

Вот оно что, ветер... И в повести этой говорится о ветрах. И о моряке. И о его жене.

И трубка на столике, – резная, тёмная. Очень красивая.

Выходит, муж Марты и есть тот самый моряк. И тогда всё становится понятным. Хотя...

Сказано же: не дуют в этих краях трамонтаны.

Я и не заметила, как пришла к морю. Было тихо – полный штиль. Но как только я подняла руку, край рукава вдруг раскрылся – так, словно подул ветер.

Холодный ветер. Откуда-то из-за гор, несмотря на тёплый сентябрьский вечер.

– Не иначе как трамонтана пожаловал, – рассмеялась я и, сбросив рубашку, прыгнула в воду с полуразрушенного пирса.

Наплававшись вдоволь, я вспомнила о бутылке с письмом – надо было играть по всем правилам, то есть – отправить бутылку в дальнейшее плавание. Что я и сделала, помахав рукой вслед сургучному горлышку «бутылочной почты».

Вставала я поздно и целые дни проводила на море: купалась, загорала, собирала камешки,

среди которых нередко попадались боглазы – куриные божки, и очень редко – сердолики. А вечерами, после «бархатного» мятного чая, мы с Мартой секретничали – она рассказывала о себе, а я слушала.

Муж её действительно был моряком, да не простым – капитаном. Правда, недолго – всего три года. А впервые ушёл в море совсем ещё мальчишкой – юнгой. Этот дом он построил сам – своими руками, когда встретил Марту – первую красавицу в посёлке, круглую сироту. Они поженились.

Как-то, после долгого рейса, он рассказал Марте о холодных ветрах, которые прилетают из-за гор. Марте тогда почудилось, что в комнате стало холоднее. А вскоре судно попало в шторм и затонуло. Весь экипаж спасся... кроме капитана.

Тело его так и не нашли. Матросы говорили, что и шторма-то никакого не было – просто налетел откуда-то холодный ветер – и всё.

На фотографиях в старинном тяжёлом альбоме рыжеволосую девушку обнимал настоящий морской волк: загорелый, высокий, с татуировкой на правом плече.

– Вы всё так же красивы, Марта. А что это за наколка?

– Роза Ветров. Говорят, это приносит удачу и хранит вдали от родных берегов. Но, как ты уже знаешь... Вот, на этой фотографии лучше видно.

Марта перевернула несколько страниц альбома, и я увидела того же «морского волка», только на этот раз в кресле-качалке, с трубкой в руке – в той самой комнате, где сейчас жила я. Моё первое ощущение оказалось верным?!

– На двери та же самая Роза?

– Да. Он сам её вырезал. Как раз перед тем, как в последний раз уйти в море. Идём, я открою тебе один небольшой секрет.

Мы поднялись наверх, и Марта, прикоснувшись рукой к центру Розы, что-то сдвинула. В тот же миг по комнате пронёсся ветер, а через секунду всё стихло.

– Вот это да... магия ветра! Ведь так любой ветер можно вызвать!

– Нет. Не любой, – Марта подошла к двери. – Только пообещай, что ты не будешь трогать Розу Ветров, сама же говоришь, что магия.

– Обещаю.

Ночью, развернув кресло-качалку к стене, я снова и снова перечитывала повесть, хотя давно уже знала её наизусть.

За три дня до отъезда стало совсем тоскливо.

Я понимала, что мне будет не хватать этой комнаты, этой исписанной стены, Марты с её рассказами, фотоальбомами, с её восхитительным мятным чаем, с её тайнами, которых – я уверена – было великое множество, и тайна Розы Ветров, доверенная мне, была лишь одной из них.

– Почему я не писатель... Дописала бы повесть, вы бы повернули Розу так, чтобы прилетел ветер, и моряк вернулся бы к своей любимой, и больше никогда бы не покидал её.

– Мы же договорились: на ты. Вот и прекрасно, – время ещё есть.

– Но я же не умею писать, Марта. Письма маме и Кате не в счёт.

– Среди тех, кто жил в этой комнате, не было ни одного писателя. И, тем не менее... Повесть потихоньку подходит к концу, ведь так?

– Мне тоже так показалось.

– А кто такой писатель, в твоём понимании?

– Ну не знаю, – пожала плечами я, – Лев Толстой. Или Достоевский... Хемингуэй.

– То есть, главный признак писателя – борода!

– Марта рассмеялась. Смех у неё был замечательный – лёгкий, молодой, звенящий.

– Нет, конечно. Но вот я нынешней зимой

пошла на встречу с современным и очень модным писателем. А он оказался... ненастоящим.

– Это как?

– Ну... то, как он себя вёл. Как говорил. Ничего в нём не было от написанного им.

Писатель должен соответствовать тому, о чём пишет. И речь его должна быть особенной, не убогой... не современной. Если в книгах язык правильный, чистый, а в жизни человек «печёт блины» на каждом слове, то что-то здесь не то.

– Согласна. Но ведь ты говоришь правильно. И ты веришь в чудеса, в то, что они случаются.

– Я?

– В бутылочную почту, например. Ты же бросила бутылку с письмом в море. И веришь в мои секреты.

– Нет, Марта, этого мало. Писатель должен быть личностью необыкновенной. И судьба у него должна быть необыкновенная. Он должен жить на грани двух миров, понимаешь... Обыденного и того, в который обычным людям можно попасть только через книги, написанные им.

Марта улыбалась. Она, несмотря на огромную разницу в возрасте, чем-то неуловимо напоминала мне Катю, обитавшую теперь на другом конце Земли. С ней было просто, можно

было говорить обо всём, не боясь, что тебя не поймут или поймут неправильно. Можно было быть собой. А это неслыханная роскошь по нынешним временам.

В странном доме, на улице со странным названием, мне было зыбко, тревожно и в то же время легко, свободно и хорошо.

И казалось, что повесть, написанная разными людьми, написана одним, хорошо знакомым мне человеком, и что всего этого: дома, Марты, комнаты в мансарде, стены с неоконченной повестью – самого городка этого не существует в действительности, что утром я проснусь в своей комнате, и всё это забудется, как забываются самые невероятные, фантастические сны.

Накануне моего отъезда мы долго гуляли у моря, я показывала Марте, как могу вызывать ветер, поднимая широкий рукав рубашки.

– Не шути с ветрами, – попросила вдруг она. – Если ты веришь в то, что можешь ими повелевать, значит так и есть, и когда-нибудь они прилетят и за тобой.

– Зачем я им?

– Повелевать. Они не могут без повелителя. Им может быть только тот, кто верит в них.

Марта так серьёзно говорила об этом, что я испугалась.



– Да это не я, это всё рубашка. И называется она трамонтана – как ветер, как твоя улица. И вообще, всё это – сказки.

А вечером мы долго сидели на кухне. Молодое вино, брынза, базилик и поздние помидоры, только что сорванные с грядки, хлеб из ржаной муки грубого помола, который Марта пекла сама, – всё это было настолько привычным, настолько моим, что я уже и не удивлялась ничему, хотя до приезда сюда брынзу и вино на дух не переносила.

– Скажите, а я действительно первая женщина среди ваших постояльцев?

– И последняя. Опять выкаешь... – только теперь мне удалось рассмотреть необычный цвет глаз Марты – золотой, как молодое вино из алычи. – Скоро похолодает, если и придётся сдавать комнату, то только в доме. Ту самую, где окно выходит на горную тропинку. А ты... ты бы хотела ещё раз оказаться здесь?

– Мне бы очень хотелось этого.

– Мне тоже. Комната в мансарде будет твоей. Всегда. Где бы я ни жила. Ведь теперь ты знаешь секрет Розы Ветров.

– А кроме меня?

– Только двое: я и Григ.

– Ты называешь его так, потому что похожа на

Сольвейг?

– Потому что полное его имя – Григорий, – всё гораздо прозаичнее. Даже у тех, кто живёт на грани.

Я поднялась к себе, когда уже совсем рассвело. Вещи были уложены с вечера. Спать совершенно не хотелось, а до автобуса оставалось целых пять часов. Мне вдруг захотелось попрощаться с морем, и чтобы не будить Марту, я решила выйти через сад.

Всё произошло так быстро, что я даже не успела испугаться: моя рука оказалась в центре Розы, там что-то сдвинулось, и в комнату ворвался ветер.

Я увидела Капитана в кресле-качалке. Он курил трубку, ноги его были укрыты клетчатым пледом. Потом...

Вот что было потом, помню плохо. Гул. Холодный ветер, колышущиеся портьеры и голос Марты – откуда-то издалека.

Открыв глаза, я увидела её, спокойную и строгую, с лёгкой чернью испуга в золоте глаз; Марта внимательно слушала врача.

– Ничего серьёзного – обычный обморок. Целыми днями на пляже – что же вы хотели? Вставать пока не нужно. Питьё, прохладное. Успокаивающее. Можно травяные настойки или

чаи. И никакого пляжа, барышня. Будьте здоровы!

Проводив врача, Марта вернулась.

– Что произошло? Помнишь хоть что-то? Ты, очевидно, забыла закрыть дверь – такой сквозняк гулял по всему дому, что я проснулась и решила подняться. С тобой случился обморок, дорогая. Вчерашний день был очень жарким.

– Я хотела пойти к морю, попрощаться. Через сад. Подошла к двери и... Марта, прости меня! Я вызвала ветер. И ещё... я видела его.

– Кого ты видела? Какой ветер? Глупенькая, я же пошутила. Там вентиляция над дверью, и если нажать клапан в центре Розы, то сработает пружина, и он откроется... не могу я тебе всего объяснить – это Григ придумал. Возникает сильный сквозняк, иллюзия ветра, понимаешь. Тебе всё привиделось, доктор прав – целый день на солнце!

– Марта, я действительно его видела. Григ сидел в кресле и курил трубку.

– А потом? – Марта побледнела.

– Не помню.

Мы поднялись наверх и сразу увидели, что повесть была дописана, и почерк был очень похож на тот, в начале.

«Самое невероятное происходит в нашей жизни, такой обыденной, такой серой и ничем не примечательной, на первый взгляд. Можно выдумывать миры и планеты, населяя их самыми невероятными фантастическими чудовищами или красавицами.

Можно путешествовать по этим мирам, оставив дом и живущих в нём родных тебе людей.

Но все инопланетные приключения будут лишь слабым отражением того, что ждёт тебя после возвращения.

Жаль, что вернуться могут не все, далеко не все. Только те, кого продолжают любить и ждать...».

Я уехала вечерним автобусом. Все мои попытки дозвониться до Марты были безуспешны. Письма, которые я писала, возвращались с пометкой: «адрес указан неверно...».

В памяти же моей всё каким-то странным образом перемешалось, я уже не могла отличить того, что случилось со мной от того, что было написано на стене мансарды.

Год спустя, в конце сентября, на моё имя пришла посылка из... Квебека. В коробке лежал фотоальбом, тот самый, который мне показывала Марта. И пожелтевшая вырезка из газеты. В альбоме была одна единственная фотография,

сделанная, судя по всему, не так давно.

Снимок был очень похож на тот, где молоденькую улыбающуюся Марту обнимал за плечи загорелый «морской волк». Только здесь Марта была такой, какой я увидела её прошлой осенью. И Капитан – тоже...

В коротенькой заметке рассказывалось о невероятной силы урагане, обрушившемся на крымский городок. Он поломал деревья, сорвал крыши с домов, повредил линии электропередач. А от одного дома вообще не осталось никакого следа.

Учёные удивлены не столько силой этого урагана, столько тем, что образовали его ветра совершенно несвойственные для этих широт.

Дальше можно было не читать. Я хорошо знала, что за ветра дули в городке, и какой дом исчез бесследно, словно его и не было никогда, словно я не шла по пятнистой, пыльной улице, до самой окраины, к подножию синей горы; туда, где она уже не казалась синей, а была самой обычной – с выгоревшей за лето травой и кустарниками, мимо белых домиков с красными черепичными крышами, к дому с мансардой, где дверной звонок отбивал корабельные склянки, а у самых ворот росла золотоглазая алыча.

Телефонный звонок вернул меня в сегодняшний день.

– Алло, слушаю.

– Нет, дорогая. Это я тебя слушаю. Вчера нас вызывали в полицию для того, чтобы вручить бутылку с твоим посланием. Как это тебе только в голову пришло?! Обычная почта тебя уже не устраивает? Но нет худа без добра, – на обратном пути мы познакомились с удивительными людьми, они – русские, здесь недавно. Женщину зовут Марта... ты обязательно должна с нею познакомиться, слышишь?

Следующий отпуск ты проводишь у нас – это не обсуждается.

Я слушала Катин голос и вспоминала строчки из повести на стене мансарды: «Самое невероятное происходит в нашей жизни, такой обыденной, такой серой и ничем не примечательной. На первый взгляд...».

## [Оглавление](#)

## Последнее слово, или когда нас не было

Дождь усиливался. Поиски «тряпочки» для абажура в прихожей, похоже, пришлось отложить. Люди, распродающие на стихийном базарчике у подземного перехода всякую всячину, засуетились, начали складывать нехитрый свой товар, и только одна женщина продолжала стоять, несмотря на дождь.

Я подошла ближе. Два маленьких ангела – из тех, что обычно вешают на ёлку, какие-то ленты, овальная рамочка для портрета, несколько бусин-жемчужинок...

В круглой жестяной коробке из-под печенья нужно было долго копаться, чтобы отыскать что-то стоящее. Рядом лежал рулон ткани. Получив молчаливое согласие хозяйки, я развернула свёрток. Два дерева – большое и чуть поменьше, и три белые птицы. Ткань была приятной на ощупь, лёгкой и достаточно плотной.

– Лён?

– Это штапель, – улыбнулась женщина. – Качество хорошее, берите. И рисунок... Деревья и птицы. Сад. Место, где мы были, когда нас не было.

– Где мы были, когда... Что?

Я купила коробку из-под печенья со всем содержимым, и ткань со странным рисунком, не торгуясь.

В коробке ничего интересного не оказалось. Ангелы отправились к другим ёлочным игрушкам ожидать своего часа. Жемчужные бусины и ленты – к пуговицам, в такую же коробку, только чуть поменьше.

А в самую коробку я решила сложить старые фотографии.

Ткань я доставала часто, чуть ли не каждый день, ощущала приятный холодок материи, и разглядывала рисунок: два дерева и три птицы, и уже видела, как проволочный каркас обтянутый этой тканью, превращается в абажур, и я включаю свет, и птицы летят из сада...

И уже совсем скоро за деревьями я стала различать дом. В доме – у окна – женщину. Как она поправляет рукой низку жемчуга на высокой шее, и кому-то – не мне – что-то говорит.

Как она красива: миндалевидный разрез глаз, резко очерченные скулы...

Я вдруг вспомнила о жемчужинах, и уже было собралась достать их, но услышала голос.

Её голос.



«...в саду, под яблоней, в плетёном кресле-качалке, я буду писать в тетради и незаметно усну;

карандаш выпадет из рук, открытая тетрадь соскользнёт с колен, последняя строка останется недописанной – я никогда её не допишу, потому что уже не проснусь...

В суете и спешке, которая присуща родственникам умерших, о тетради никто не вспомнит.

Кто-то нечаянно зацепит бусы, нитка оборвётся, и жемчужины упадут в траву.

На это тоже никто не обратит внимания – бусы из самых обычных жемчужинок-стекляшек – одна из моих причуд, но три жемчужины в них были настоящими.

Они достались мне от моей бабушки. Ты не помнишь её...?

Она приехала на нашу свадьбу вся в чёрном – как на похороны – вручила мне коробочку с тремя жемчужинами и уехала, не говоря ни слова.

Я подобрала похожие бусинки, получилось жемчужное ожерелье. От настоящего не отличишь.

Осенью дом продадут – его и терпели-то, как ещё одну из моих причуд: дом в деревне, яблоневый сад, в доме – печи, дощатый

некрашенный пол.

Кому нужно всё это старьё...

Я не знаю, сколько пройдёт лет, но однажды весной сойдёт снег, девочка выйдет в сад и найдёт тетрадь на том месте, где росла яблоня. Вздущаяся обложка, почерневшие страницы в пятнах и разводах от дождей и снегопадов, от талой воды. И три, чудом уцелевшие жемчужины рядом. Те самые, настоящие.

Ни дожди, ни талые воды не уничтожат их, несмотря на то, что жемчуг боится излишней влаги.

Ни дожди, ни талые воды не размоют строчки, – я всегда писала только карандашом.

Не для того, чтоб сохраниться во времени, нет. Шуршание карандаша по бумаге так успокаивает...

Девочка соберёт жемчужины в ладошку и принесёт вместе с тетрадью в свою комнату; положит в коробку, перелистает влажные страницы, высушит и забудет о странной своей находке. А потом вспомнит и перепишет стихи из тетради.

Почерк её будет похож на мой.

Неровный, нервный...

Она отнесёт рукопись в издательство.

Там не поверят в эту историю, и она достанет из пакета тетрадь, бывшую когда-то моей...

И редактор напечатает подборку стихов в толстом журнале.

А через год выпустит маленький сборник стихов в мягкой серой обложке.»

Анита выпалила всё это скороговоркой, на выдохе, боясь, что он перебьёт её своим обычным: «Не говори глупости!»

Он посмотрел из-под очков – сочувственно.

– Какая тетрадь, Ниточка... Какая девочка? Ты не забыла принять лекарство?

– Моя тетрадь. Ты же ничего не знаешь обо мне. Не знаешь о том, что я пишу стихи. Что у меня... трое детей. Те дети, которые должны были родиться, но ты запретил им появляться на свет. Они *есть*. Мы *всегда* есть. Только не помним этого. Но я знаю, что там две девочки и мальчик. Он самый маленький, все его называют Ванечкой.

– Кто все? Что значит, *всегда* есть? И где это твоё *там*?

– Там, где находятся все, когда их ещё нет. Там, откуда ты запретил им приходить.

– Послушай, – он поморщился, – я делал это

для тебя. У тебя слабое здоровье. Кто эти люди, которые *знают* о твоих детях?

– Так всегда говорят в своё оправдание. Но ты меня не дослушал. Бабушка моя знала, когда дарила мне жемчужины. Я и теперь вижу, как дети гуляют в саду. На девочках летние холстинковые платица, а Ванечка одет в матросский костюмчик. У них в руках сачки для ловли бабочек, но бабочек в саду нет. Есть птицы. Стаи белых птиц. Они садятся на яблони, и кажется, что яблони цветут... Издали птицы кажутся огромными белыми цветами. Меня они боятся и не подлетают близко.

А детей не боятся совсем.

Цветы в саду белые – лилии, розы, ветреница, тюльпаны, крокусы, ирисы.

Странно, правда? Все цветы белые и все цветут одновременно. Просто этот сад – волшебный.

Среди цветов и тот цветок... – я никак не могу запомнить название. Ты выписал его для меня из Праги, помнишь? И он расцвел утром – в день моего ангела.

Я тогда ещё подумала, что может быть, это Ванечка? Душа Ванечки. Ведь именно в этот день ты отвёз меня в больницу.

– Пожалуйста. Я тебя очень прошу... Если ты не прекратишь нести этот вздор, мне снова

придётся отвезти тебя в больницу. У нас нет сада. У нас нет дома. У нас нет детей.

Мы живём в обычной квартире. Вдвоём. Только ты и я.

– О, так ты ничего не знаешь!? У тебя двое детей, они – победители. Ты назовёшь их именно так. Это не вздор. Они ещё не пришли. Они там – в саду. Просто, я вижу больше. И дальше. И живу дольше. Просто... я помню.

– Как это, дольше? На прошлой неделе – не забыла – мы отмечали твоё сорокалетие.

– Вы отмечали. А я сидела в саду, под старой яблоней, и писала стихи.

– Ты сидела рядом со мной – за праздничным столом в ресторане, и очень веселилась. Пила шампанское, смеялась.

– Рядом с тобой за столом сидела Дина. И потом... Я не пью. Ты же знаешь. А... какое шампанское?

– «Аи», какое же ещё. Хотя... если бы не я... Кстати, а кто такая Дина?

– Если бы не ты, я спилась бы, или замёрзла бы под забором, как бродяжка. Кожа моя не была бы такой золотисто-розовой, руки не были бы такими холёными, а взгляд... взгляд не был бы таким затравленным. Если бы не ты, я была бы... счастлива!

В том старом доме – на окраине... Молчи, я знаю, что он там есть – светлый, просторный, с садом, а в саду яблони, вишни и кусты жасмина и белой сирени, и... качели. Две комнаты в доме – детские. Моего сына зовут Ванечкой. Отпусти меня туда, пожалуйста.

– Анита... Ниточка моя дорогая.

Она выбежала из комнаты, зная, что сейчас он звонит врачу, и к вечеру приедет машина, и ближайшие полгода ей предстоит провести в клинике. Сны станут чёрно-белыми, а потом и совсем перестанут сниться, голоса детей исчезнут, и белые птицы перестанут прилетать в сад, где не будет ни одного цветка, Ни одного белого цветка... но самое страшное то, что она забудет дорогу домой, и дети останутся одни. Совсем одни.

– Вика.

Голос ударялся о металлический поддон на белом столике, дробился на тысячи голосов, и многоголосое эхо повторяло: «викавикавика...»

Он стянул перчатки и, не глядя дочери в глаза, бросил на ходу:

– Я в ординаторскую – у меня сегодня ещё приём. Тебя отвезут в палату, поспи. А вечером я

заберу тебя домой. Опасности никакой, к счастью.

– Что со мной...

– Обычный обморок. Обычная беременность.

– Я беременна? Какой срок?

– Не волнуйся, сроки не имеют значения. Во вторник я положу тебя в клинику, и мы всё сделаем.

– Как звали твою первую жену?

– Зачем тебе? – он перехватил насмешливый взгляд медсестры. – Дома поговорим.

Медсестра помогла ей одеться и у самого выхода шепнула: «Не соглашайтесь, ни в коем случае, не соглашайтесь!»»

Всю дорогу домой Вика молчала, и он заговорил первый, его тяготило это молчание.

– Голова больше не кружится? Что ты там спрашивала о моей первой жене?

– Я спрашивала, как её звали, – она медленно повернула голову. – Анита?

– Уже донесли, – раздражённо бросил он, – что они тебе ещё наговорили.

– Что она умерла в психиатрической лечебнице... Что на коленях у неё лежала открытая тетрадь, а вокруг летали белые птицы.

Много белых птиц.

Он так резко затормозил, что Вика стукнулась лбом о стекло.

– Что за бред! Какая ещё тетрадь – её никто не видел. Никто не видел этой тетради, слышишь... И никто не читал того, что там было.

– Там были стихи, папа. Стихи, написанные простым карандашом.

– Откуда ты знаешь?

– Ты сжёг её уже после того, как я их переписала. Сколько абортот ты сделал своей первой жене? – Вика вытерла кровь с оцарапанного лба. – А сколько абортот ты сделал вообще за всю свою жизнь?

– Это моя работа. Не самая приятная её часть. Аните нельзя было рожать, пойми... Её болезнь прогрессировала и без беременности. А роды убили бы её.

– А так её убил ты, – улыбнулась Вика. – Её и её детей. А теперь и моего ребёнка хочешь убить?

– Вика, у тебя всё ещё будет. И семья, и дети... Дети, зачатые и рождённые в любви. Ты хочешь родить ребёнка от человека, которого ненавидишь? И потом всю жизнь ненавидеть этого ребёнка. Такие дети несчастны.



– Не бывает несчастных детей. Несчастливыми их делаем мы. Дети приходят сюда, чтобы научить нас любить. Заново. Мы многое забываем, когда становимся взрослыми. Дети – это наш единственный шанс не забыть, не разучиться любить. Но иногда они оказываются ненужными, лишними. Как мы с Виктором. Ведь ты не любил маму. А я... я люблю своего мужа, пускай и предавшего меня. Люблю. Скажи, а тебе не страшно засыпать? К тебе не прилетают белые птицы во сне, а?

На какое-то мгновение ему показалось, что в зеркале заднего вида отражается женский силуэт. Женщина летела вслед за машиной, серые миндалевидные глаза смотрели вопросительно и тревожно, пёстрое платье развевалось на ветру. Потом отражение исчезло, но что-то по-прежнему мелькало в зеркале, яркое и лёгкое.

Он снова притормозил, вышел из машины и увидел, что за багажник зацепился шёлковый пёстрый шарф, который он привёз Дине из Ниццы. Она ещё рассмеялась тогда: «Если бы меня звали Айседорой, я бы закатила истерику – такие провокационные подарки.»

Но шарф ей нравился, она надевала его часто, до тех пор, пока не потеряла в одной из поездок.

А теперь шарф нашёлся, да и не терялся он,

оказывается. Лежал себе в багажнике. Видимо, выпал из дорожной сумки или многочисленных чемоданов.

– Мамин шарф. Ты всё-таки нашёл его. Ты не ответил на мой вопрос, папа.

– Всё не так. Я только выполняю свою работу. Последнее слово всегда остаётся за матерью. За женщиной. Ведь это ей предстоит вынашивать, рожать, растить, воспитывать... Дина нравилась мне. ...хотя, если честно, жениться тогда я не собирался. Ни на ком. Но она уже была беременна Виктором. Постой-ка, а что значит «всё-таки нашёл»? Ты знала, что шарф в багажнике?

– Конечно. И мама знала. Ей Ниточка рассказала, что точно такой же шарф ты когда-то подарил и ей. Она часто снилась маме. Но мама никому не рассказывала об этих снах – боялась, что её сочтут сумасшедшей, как и Аниту.

– Ниточка... Я её так называл.

Виктория протянула тоненькую книжечку.

– «Сломанная ветка». Что это?

– Она была этой веткой, папа. Здесь все стихи посвящены... тебе. Выходит, что сломал эту ветку – ты. Ты и правда не знал о том, что она пишет стихи?

– Я работал.

– На следующей неделе я переезжаю в бабушкин дом. Надеюсь, ты не станешь меня удерживать?

– Нет. Но... тебе будет трудно. Дом старый, и требует ремонта. Да и осень скоро. Там ведь нет отопления – только печи. И воды нет. В саду колодец, который замерзает зимой.

– Ничего. Как-нибудь проживу... Я почему-то уверена, что нам там будет легко.

– Нам?

– Мне и Ванечке. Он появится в октябре, ведь так? А ты можешь приезжать, когда захочешь. Это моё последнее слово.

Он прикрыл глаза на мгновение, и увидел снежно-белые стаи, летящие на восход.

И три птицы в саду, где росло два дерева – одно большое и второе – чуть поменьше.

На следующее утро я пришла на то место, где когда-то купила ткань и коробку.

Женщина стояла на том же месте, что и в прошлый раз, словно никуда не уходила.

На расстеленной газете лежало несколько открыток с видами Парижа, чайная ложечка, старый, бывший когда-то ярким, шёлковый

шарф.

– Возьмите, – я протянула ей три жемчужины.  
– Они настоящие, и наверняка стоят очень дорого. Вы сможете выручить за них приличную сумму.

– Кто вы?

– Это неважно. Важнее, кто вы. Вы ведь Вика?

– Нет. Викой звали мою маму.

– Значит, я всё сделала правильно.

Домой я вернулась поздно. Специально тянула время, ждала, чтобы войти в прихожую, щёлкнуть выключателем и...

Новый абажур осветился изнутри, три птицы взмахнули крыльями и полетели из сада, где росли два дерева: одно большое и второе – чуть поменьше.

[Оглавление](#)

## Ангел по вызову

«...Низковато – всего-то пятый этаж. Вот если бы с крыши. А так – неизвестно, вдруг ещё хуже будет. Переломаю кости. И упрячут в больницу. А не переломаю – всё равно упрячут. В другую больницу, где к кроватям привязывают для полного спокойствия и до полного успокоения...»

– Серёжа! – Голос матери вырвал из тёмной воронки, вернул в рождественское январское утро. – Не стой на балконе – простудишься.

– Не стой... Да я и не стою – сижу.

Он ещё раз взгляделся в подъезд дома напротив. Дом – как дом, ничего особенного.

Минувшей ночью он сидел у окна и смотрел, как падает снег. Ночью всё видится иным, и самый обычный снег в свете фонарей кажется волшебным. Окна домов начинают исчезать – одно за другим, но всегда остаётся два-три, в которых свет не гаснет всю ночь – до утра. Он представлял себе шкафы или полки, заставленные книгами, которых он ещё не читал, уютные кресла, мягкий свет настольной лампы под зелёным абажуром.

А может, это свет от ёлочных гирлянд... Рождество.

Там, за окнами, пьют чай из тёмно-синих чашек с золотым ободком. В синей сахарнице кусочки сахара, а рядом, в синей розетке – варенье. Вишнёвое, кажется...

Да-да, вишнёвое, – и с косточками. Вот же они – тёмные капельки – косточки на блюде.

Люди, сидящие за столом, говорят о чём-то, улыбаются, и кажется, что нет никого на свете счастливее.

Но так ли это на самом деле? Может и они глубоко несчастны, и Он, допив свой чай, идёт в спальню, ложится и не может уснуть, а Она моет посуду, долго смотрит в окно и... плачет.

Всё не то, не так. Весь мир не такой, как видится.

Когда Серёжа понял, что уже не будет прежней, беспечной жизни, пришли страшные мысли, которые засасывали в омут, в чёрную воронку безысходности.

Вчера ночью он читал книгу об ангелах – подарок матери к Рождеству. Ангелы, оказывается, есть и на Земле, но они совсем не такие, как думают люди. Ангелом может быть пьяница, бомж, калека...

Калека?

Серёжа посмотрел на свои безжизненные ноги и открыл балконную дверь.

На безлюдном шоссе появилась девушка. Словно с небес спустилась.

Промчалась на бешеной скорости чёрная машина, и на узкой белой линии, разделяющей дорогу, словно во сне – из ниоткуда, возник тонкий силуэт. Под снегом линии не было видно, но там, где прошла девушка, остался след босых ног.

Она шла по только что выпавшему снегу, босиком, так, словно делала это всегда, и идти по снегу для неё – дело привычное, такое же, как по свежей молодой травке в конце апреля.

Откуда она взялась? Для первого трамвая – рано. Для последнего – поздно.

Серёжа хорошо знал, когда проходит первый трамвай, когда последний, спал он чутко.

Но странным было даже не то, что девушка в половине четвёртого ночи шла босиком по только что выпавшему снегу. За её спиной виднелись... крылья.

Белые, кажется...

Огромные белые крылья!

Ещё сомневаясь, думая, что это воротник пальто или концы длинного шарфа, заброшены за спину, он *привстал*, чтобы разглядеть

получше, и замер: получилось, значит... когда-нибудь получится и *встать*?

Она подошла ближе, и он смог увидеть не только крылья – а это были именно они, но и её личико: бледное, с огромными глазами.

Девушка свернула к новой многоэтажке, послышалось слабое эхо её шагов – шлёпанье босых ног по мокрой тротуарной плитке. У подъезда она зацепилась правым крылом за куст, обернулась и вдруг, совершенно буднично, как старому знакомому, с которым только что рассталась, помахала ему рукой.

– Серёжка... Так всю ночь и просидел у окна? – Руки мамы пахли сдобой и валерьянкой.

– Мам, а ты знаешь всех, кто в новом доме живёт.

– Что ты! Он вон какой огромный. Я и в нашем-то доме не всех жильцов знаю, так, только если в лицо. А что?

– Да так. Показалось.

Он снова открыл балкон и теперь уже с балкона смотрел на соседний дом. Снег почти растаял, и на дороге появилась белая линия.

На кусте рядом с подъездом что-то белело. Снег? Пёрышко!?



– Мам, ты когда пойдёшь на работу, подойди вон к тому кусту, видишь, у подъезда? Сними это белое, и что бы это ни было, принеси мне. Пожалуйста...

– Сегодня же выходной, Серёжа. Рождество. Ладно, принесу. Что ты так разволновался-то. Увидел что, а?

– Потом расскажу.

Он видел, как мать подошла к кусту, сняла с ветки что-то, потом повернулась и махнула рукой. И возникло ночное видение: снег, девушка с крыльями оборачивается и машет ему рукой.

Он едва дождался, пока мать вернулась.

– Что там?

Мать молча протянула руку: на раскрытой ладони лежало маленькое белое перышко.

– Птицу увидел какую?

– Я видел ангела, мам. И... я буду жить.

Он держал пёрышко на ладони и боялся дышать. Оно казалось живым, – нежное, тёплое, невесомое.

– Серёжка... – Мать обняла его голову и заплакала. – Ты и раньше жил, сынок.

– Нет. Ты ведь не знаешь. Я после всего, что случилось, жить не хотел. Отец погиб, я –

выжил, но остался в инвалидной коляске. Зачем такая жизнь, зачем? И я решил... ты только не плачь, ма... Я решил, что не буду тебе обузой. Не плачь, пожалуйста. Это прошло. Я и рассказываю тебе потому, что всё изменилось. Я давно уже подпилил перила на балконе. Но побоялся... что не умру, что опять попаду в больницу.

А сегодня ночью я увидел Ангела. И привстал с коляски, понимаешь, мам, привстал! Значит, смогу и встать когда-нибудь?

– Сможешь сынок, конечно сможешь. Вместе мы всё сможем.

Слёзы текли по её измученному, но ещё красивому лицу, и на всё это смотрел человек с портрета в траурной рамке, очень похожий на Серёжку.

Ника вошла на цыпочках, чтобы не разбудить Юльку, но та уже не спала.

– Ну и видок у тебя. Отогрелась? Может, ещё чайку?

– Клиент попался придурочный, – Юлька зевнула и закуталась в одеяло, – ангела, говорит, хочу. А потом взял и посадил прямо посреди мостовой. Лети, говорит, на то тебе и крылья, чтобы летать. Хорошо, что недалеко от твоего дома, а то бы замёрзла. Босиком ведь

высадил, только его рубашка из одежды и осталась. Но заплатил хорошо, как и обещал. Теперь можно будет долги отдать, купить подарки и – домой.

Рождество всё-таки.

Она сняла с шеи замшевый чехол для мобильного телефона, вытащила несколько стодолларовых купюр и положила их в карман чёрной кожаной куртки.

На полу лежали сброшенные белые крылья...

[Оглавление](#)

# Крыло вечности

«Напиши обо мне, напиши...

Выдумываешь каких-то героев, мучаешься, вынашиваешь их жизни, судьбы.

Меня же не нужно выдумывать и вынашивать. Правда-правда...»

Она раскачивается на старом венском стуле в такт маятнику огромных настенных часов.

– Как ты вошла сюда?

Я села в кровати и вспомнила, что вчера моя квартирная хозяйка говорила мне о том, что сдала вторую комнату на два месяца, а я и забыла.

– Через стену просочилась. Через стену, – в голосе её нет и намёка на шутку.

Похоже, что она действительно просочилась сквозь рыхлую, пористую желтизну ракушника; из него сложен двухэтажный дом на улице Мачтовой, в котором я снимаю комнату.

Она останавливает маятник-стул и указывает на стену, – там висит изображение «Катти Сарк», которое я таскаю с собой всюду. Где только не приходилось мне снимать жильё: первое, что я делаю, – достаю из сумки небольшое, но увесистое панно – изображение чайного

клипера, подаренное мне после публикации новеллы о Капитане Доумене. Стекло – эмаль, стекло – краска, модель, стекло – эмаль, краска...

Вся эта многослойная тяжесть заключена в массивную коричневую раму, и порой мне кажется, что клиперу там тесновато.

Солнце запуталось в тонких пальцах моей непрошеной утренней гостьи.

– Симпатичное судёнышко, – она улыбается заговорщически, словно знает какую-то тайну, – кстати, я на днях видела её. Она о-очень тобой довольна.

Серые глаза гостьи отливают зеленью и перламутром.

– Послушай, а ты – кто?

Редкостная дрянь, всё-таки, эти таблетки от головной боли. Мало того, что остаётся боль, так ещё добавляется тошнотворный лекарственный привкус.

– Ты разве не приснилась мне? Кто это мной о-очень доволен?

– Хозяйка этого судёнышка. Разве ты с ней не знакома? Ты же писала о ней! А она, представь, о тебе всё-всё знает. Я – Ева. Запомни это, пожалуйста. Остальное расскажет он.

– Да кто он-то?

Но Ева исчезла, а неизвестно откуда возникший, приятный мужской голос, пожелав мне доброго утра, осведомился, что я предпочитаю на ланч, и сколько времени мне нужно, чтобы добраться в кафе «Эль Ниньо».

– Полчаса, – не задумываясь, ответила я, но вовремя спохватилась, – а где это? И что за название – для геев кафе, что ли?

– Для гоев. – В бархате баритона заискрилась улыбка. – На побережье. Недалеко от коттеджного посёлка. Вы уверены, что полчаса, леди? Что заказать для вас?

– Я не знаю... что-нибудь закажите, мне всё равно.

– Булочки с мёдом и горячее молоко. Уверен – вам понравится.

Чертыхаясь и спотыкаясь на каждом шагу, я начала отыскивать одежду, ту самую, по которой встречают.

«А собственно, чего это я. Меня же не на романтический ужин приглашают. Вот и пойду сама собой. Деловая встреча? Деловая. Мне сделают предложение, от которого я не должна отказываться. Ева просила...»

И я замерла на месте.

Я не знаю никакой Евы.

У меня никогда не было знакомых с таким именем. Ева – это сон. Мой утренний сон. И голос...

Голос – тоже сон. А вот интересно, есть ли такое кафе на самом деле?

Самым простым способом ответить на все вопросы, было отправиться на побережье, в кафе со странным названием и всё выяснить.

Через полчаса я сидела за столиком на открытой веранде, выдающейся далеко в море, с чашкой горячего молока в одной руке и с горячей медовой плюшкой – в другой.

С пятой по счёту плюшкой – как были съедены предыдущие четыре, я не помню.

Он был красив той благородной мужской красотой, которая проступает с возрастом. И именно возраста и нельзя было определить, можно было только с уверенностью сказать, что было ему далеко за сорок, и судьба хорошенько трепала его, судя по шрамам на руках.

– Я слушаю. – С последней медовой плюшкой было покончено, и я отважилась заглянуть ему в глаза.

Да-а-а, трудно быть женщиной... Стоически переносить это самое «бытие», когда у мужчины такие глаза.

– Я хочу заказать вам повесть.

– О чём? – вспомнилось утреннее: «Напиши обо мне, напиши...»

– О любви, конечно же, – удивился он, – разве имеет смысл писать на другие темы?

В мире, который держится на любви, все рассказы, повести, романы написаны о ней. Я уже не говорю о стихах. Все остальное – фон, антураж, декорации... И ваша повесть не станет исключением.

– А можно поточнее?

– О женщине, которую я долго искал, нашёл и... потерял. О любви – я же сказал. Разве нужно ещё что-то уточнять.

Он вытащил из кейса мою книгу и положил перед собой.

– Чтобы исключить все дальнейшие «отчего», «зачем» и «почему», я сразу скажу, что мне нравится, как вы пишете. Из вас получилась бы хорошая актриса – вы умеете вживаться в образ так, что возникает иллюзия автобиографической повести. Вы же не станете утверждать, что всё это происходило с вами? На это и десятка жизней не хватило бы.

Кроме того, всё написанное вами, воплощается в реальности. Она зачитала вашу книгу до дыр... И вы, некоторым образом, причастны к её



исчезновению.

Словом, я хочу, чтобы вы написали о женщине, которую я люблю.

– Интересно, каким это образом я причастна... Что-то не припомню, чтобы я писала о женщине, которая покинула своего... возлюбленного. И потом... Сложно писать о человеке, ничего не зная о нём. Вкусы, привычки, достоинства и недостатки, пороки, если хотите... Наследственные заболевания и состояния.

А если серьёзно, то расскажите мне о ней. Может быть, сохранились фотоснимки?

Передо мной легла чёрно-белая фотография, на которой моя утренняя гостья смеялась, указывая куда-то рукой, а в её тонких пальцах плескалось восходящее солнце...

– Её звали... Ева?

– Откуда вы знаете? – его невозмутимость улетучилась в один миг. – Вы были знакомы?

Я молча покачала головой.

– Считайте, что я угадала.

– Считайте, что я вам поверил... Я не стану расспрашивать. Это единственная фотография, сохранившаяся у меня – она не любила фотографироваться. Есть ещё дом, в котором она жила и из которого так неожиданно исчезла. Это

здесь, недалеко. Если хотите, мы можем сейчас сходить туда.

Там остались её вещи, одежда. Книги... Всё это расскажет вам о ней гораздо лучше. Чем я, и гораздо больше – я почти ничего не знаю о ней. Я всё оставил там так, как было. Тогда я ещё верил, что она вернётся.

– А сейчас?

– И сейчас, иногда ещё верю. Иначе бы не разыскал вас. Давайте сразу решим финансовые вопросы.

– Мне не нужны деньги. То есть, деньги, разумеется, мне нужны, как и любому человеку, но в данном случае... Просто помогите издать книгу.

– Это можно понимать как «да»?

– Сколько у меня времени?

– Вы всегда отвечаете на вопросы вопросом? Я не тороплю вас. Хотелось бы, конечно, поскорее, но это не тот случай, где нужна спешка. Видите ли, я верю в то, что она прочтёт написанную вами книгу и вернётся.

Но книга эта должна быть о любви. О том, что я любил её...

Меня уже начинали одолевать сомнения: не сумасшедшим ли я имею дело?

Если Ева умерла, то как она может к нему вернуться? Предположим, она прочтёт мою книгу. Нет-нет, предположим... Похоже, и я начинаю сходиться с ума.

С другой стороны, он же не говорил, что она умерла. Он сказал: исчезла.

Ладно, если она ещё раз приснится, обязательно спрошу, что случилось.

Мой собеседник оставил щедрые чаевые мальчику-официанту, и мы, не торопясь, пошли вдоль побережья к небольшому коттеджному поселку.

– Скажите, а если ничего не произойдёт, тогда что? Представим, что я написала повесть.

Вы помогли издать её. А Ева... не вернулась.

– Даниил. Меня зовут Даниил.

Губы его сложились в страдальческую улыбку, взгляд стал влажным и беспомощным.

– Книга – моя единственная надежда. Последнее пристанище для надежды...

– Последнее пристанище у всех нас одно, и находится оно там, – я с сомнением и тоской посмотрела на чистое, высокое, синее – ещё не успевшее от жары превратиться в грязно-серую тряпку, августовское небо.

Дом, где жила Ева, был самым первым со стороны моря. Дальше только небольшой пологий спуск, узкая полоска песка и маленький дощатый причал.

Несколько кустов ночной красавицы, тигровые лилии и плющ; всё было увито этим плющом: забор, скамейки, деревья.

Разросшийся куст жасмина под окном, скамейка...

– Не решился предложить сразу, – Даниил замедлил шаг, – вы не хотели бы пожить здесь? Раз в неделю будет приходить домработница. Два раза в неделю будут привозить воду и продукты – на три дня. Здесь есть телефон, интернет... Мне кажется, что вам здесь понравится. Вы ведь снимаете жильё?

– Да. Я смотрю, Вы всё обо мне знаете... А соседи здесь есть? – Наконец-то мне представлялась уникальная возможность: писать и больше ни о чём не думать.

Я согласилась и в дом заходить не стала – я уже полюбила его и знала, что мне в нём будет комфортно. О том, что сюда однажды не вернулась Ева, я не думала. Какое-то внутреннее чувство подсказывало мне, что здесь я буду в полной безопасности.

– Дом, и всё что находится в доме, включая

одежду, книги... всё это в вашем распоряжении. Если вам что-либо понадобится, обращайтесь к Наталье – она будет приходить каждый день – так будет спокойнее. Вам... И мне. И... пожалуй, всё. Я должен уехать на некоторое время, но обещаю звонить каждый вечер.

Шофёр Даниила – Сергей – привёз мои вещи и попрощался – он торопился отвести хозяина в аэропорт.

Ещё вчера я бы не поверила во всё происходящее со мной сегодня – так изменилась вдруг моя жизнь.

Так и не распаковав чемодан, я отправилась знакомиться с домом. А он – дом – тем временем рассматривал меня – я сразу это почувствовала. Взгляд этот не был враждебным, но и дружелюбным я бы его не назвала. Скорее – любознательным, изучающим. Мои издававшие виды шорты, мои волосы, наспех стянутые в пучок цветной резинкой, футболка с ярко-жёлтым смайликом, – всё это вызывало у дома насмешливую, снисходительную улыбку; серьёзно воспринимать меня он отказывался.

Я споткнулась раза два на ровном месте, зацепила какой-то эстампик на низеньком, стеклянном столике, и всякий раз, поднимая глаза, сталкивалась со своим же отражением – здесь было великое множество зеркал в старых,

тяжёлых рамах – они отражали интерьер и казались гобеленами. Моё отражение не вписывалось в их утончённость и изящество, и дом насмешливо подчёркивал это.

Меня поразило обилие картин на стене в гостиной: море плескалось где-то совсем близко, а мне казалось, что оно плещется здесь, на них; большой торшер-парус на кованой ножке-мачте, кресло-качалка и брошенный небрежно плед, чашка на маленьком столике, веер... Всё это пространство и теперь принадлежало ей – Еве, женщине о которой мне предстояло написать книгу.

Почему она покинула этот дом? Может быть, ей было здесь одиноко, и она отправилась на поиски нового дома, не такого насмешливого, как этот.

А может быть, она просто разлюбила Даниила и ушла. Если она вообще его когда-нибудь любила.

Как ни пыталась я уловить настроение обитательницы этих стен – ничего у меня не вышло. Я спустилась вниз, втащила чемодан в спальню и распахнула шкаф, чтобы развесить вещи.

Здесь висели платья Евы, блузы, брюки... Внизу стояло несколько пар обуви, наверху громоздились шляпные коробки.

Я вытащила длинное вечернее платье из синего шёлка и вдохнула проснувшийся горьковатый аромат, который дремал в глубинах складок.

Борясь с искушением примерить восхитительный наряд, я подошла к зеркалу и приложила платье к себе.

Да...

Женщина, надевающая такие платья, не может иметь полуободранный лак на ногтях и расцарапанные локти.

Кроме того, ей категорически не позволяют плечи и нос, с которых сгоревшая кожа слезает быстрее, чем кожура с молодой картошки.

То есть – женщина эта – моя полная противоположность. А это значит, что у неё ухоженные руки, нежная, чуть тронутая загаром кожа, и она не носится как угорелая, а ступает неторопливо и легко, уверенная в своём совершенстве, в том, что любима и обожаема.

Я исписала несколько листов, прежде чем поняла, что голодна. Спустившись вниз, я обнаружила на столе фрукты, мёд и свежий ржаной хлеб. А в холодильнике стоял настоящий глиняный кувшин с молоком!

Всё это оказалось таким вкусным, что я была удивлена, как раньше я могла обходиться без

этих продуктов?

Я раскачивалась в кресле-качалке, точь-в-точь, как Ева на венском стуле в моём сне, и разглядывала небольшую акварель: «Катти Сарк» с поднятыми парусами мчалась мне навстречу... И как выписана носовая фигура – до мельчайших деталей! Мне показалось, что Нэнни машет мне лошадиным хвостом, крепко зажатым в маленькой крепкой руке.

Я достала из чемодана свой парусник и улыбнулась: изображений «Катти Сарк» существует множество, но это – самое удачное, а главное, что оно полностью совпало с акварелью на стене.

Позвонил Даниил. Я обрадовалась его звонку – всё-таки человеческий голос, пускай и очень далёкий. Здесь и вправду было несколько... необычно.

Стандартный набор вопросов, на которые можно было ответить одним словом: хорошо...

Пожелание спокойной ночи.

И ни слова о повести.

Я и не заметила, как уснула. Проснулась от звука журчащей воды. Солнце уже взошло, и я, прежде чем засесть за повесть, решила искупаться. Тем более, что идей у меня не было никаких, а мои тайные надежды на то, что во сне



придёт Ева и всё мне о себе расскажет, не оправдались – похоже, что мне вообще ничего не снилось этой ночью.

В саду работал автополив, но кто его включил, когда – оставалось загадкой – дом этот словно был населён невидимыми существами, которые делали всё необходимое. Не попадаясь на глаза.

Мне, во всяком случае.

Дверь закрывать на ключ я не стала, мне показалось это излишним, и я не ошиблась – у ворот стояла машина... несильна я в марках авто. Увы. Могу только сказать, что эта машина была похожа на большого доброго жучка.

На пляже – ни души. Я заплыла далеко и, лёжа на воде, закрыв глаза, представляла себе Еву. Интересно, а она хорошо плавала?

И я представила её, выходящей из воды. Капельки, сбегаящие по золотисто-бронзовой коже, волосы высоко подобраны... Ева купалась без купальника – нагишом.

Что, собственно, мне мешало последовать её примеру?

Купальник – две узенькие плоски ткани, но кто бы мог подумать, что без него плыть легче, быстрее и намного приятнее! Ощущение полной свободы, сравнимое разве что с полётом?

Когда я вернулась, стол был накрыт к

завтраку: горячее молоко и булочки с мёдом.

Женщина в белом, туго накрахмаленном переднике и белой наkolке на волосах приветливо улыбалась:

– Доброе утро, я – Наталья. Завтракать? Булочки ещё тёплые.

– Спасибо. – Я с аппетитом съела две булочки и выпила чашку горячего молока.

– Наталья, извините, я могу кое о чём спросить вас?

– Вы о пани Еве хотите узнать?

– Почему «пани»? Она была полькой?

– Не знаю, – пожала пухлыми плечами Наталья, – Даниил Владимирович так её называл: пани Ева. И мы – тоже.

– Скажите, вы хорошо помните тот день, когда Ева исчезла?

– Что значит – исчезла? – Наталья смотрела на меня с недоумением и, как мне показалось, с обидой. – Если вы о дне смерти пани Евы, то конечно, помню. Я же и нашла её, – на пляже.

Определённо, я имела дело с не вполне здоровым человеком. Битых два часа рассказывать мне об исчезновении любимой, и ни единым словом не обмолвиться о том, что любимая эта попросту умерла.

– Умерла, Вы говорите? Не утонула? Как давно это произошло?

– Нет-нет, она умерла от внезапной остановки сердца – так и в заключении медицинском написано. Утопленника всегда можно отличить – в лёгких вода остаётся, даже если бы тело на берег выбросило... Через три недели исполнится год, как она умерла.

– Хорошо. У меня к Вам ещё один вопрос. Скажите, Даниил... э... Владимирович, он человек нормальный?

– Моё дело маленькое. Хозяин он хороший. Платит исправно и премии частенько даёт.

Я поблагодарила Наталью и решила немного прогуляться.

Она вышла вслед за мной в садик и присела на краешек скамейки.

– Понимаете, он считает, что её можно вернуть. Где-то он вычитал, что если очень любишь человека, то душа умершего обязательно вернётся и воплотится в кого-то из близких друзей или знакомых. Вы – писательница? Вот и напишите о пани Еве так, чтобы душа поняла: здесь её любили и любят, и ждут.

Наталья ушла, а я, пытаюсь осмыслить услышанное, отправилась на второй этаж – в

спальню – распахнула шкаф и продолжила перебирать вещи Евы.

Помимо платьев, здесь было огромное количество вееров, палантинов, перчаток. Вытащив наугад жемчужно-серый палантин, я ахнула: такая ткань не встречалась мне ни разу. Казалось, что в моих руках дышала серебрящаяся, отливающая перламутром, живая субстанция. Я подошла к зеркалу и робко набросила палантин на плечи.

С отражением произошло чудо. Овал лица стал нежнее, шея – не смейтесь, пожалуйста, – длиннее и изящнее, но самые удивительные метаморфозы произошли с глазами. Струящееся серебро ткани просочилось в глаза, и они стали отливать зеленью и перламутром.

Веер я выбрала в тон палантину – серебро и несколько крупных жемчужин дополняли бывшее оперенье какой-то глупой, но очень красивой птицы, которая, к слову сказать, за свою же красоту и поплатилась.

В таком наряде я уселась за стол и писала довольно долго. Сюжетная линия шла ровно, без обрывов и излишних натяжек, а главное – мне стало интересно – а это верный признак того, что написанное будет интересно читать. Еве.

И Даниилу, конечно же. Стоило мне вспомнить о нём, сразу же раздался телефонный звонок.

Дежурный обмен любезностями и благодарностями, пожелания спокойной ночи...

Он даже не спросил, написала ли я хоть строчку! Станный тип.

А может – боится, не хочет испортить всё ненужным интересом?

Хочет или не хочет, а после звонка писать уже не получалось. И как ни мучила я своё воображение, как ни вызывала в памяти образ утренней гостьи – больше ни одного слова в ту ночь мной написано не было.

Спустившись на кухню, я взяла зелёное большое яблоко из вазы на столе и отправилась к морю.

Ленивое, сонное, шипящее, оно ластилось ко мне, словно огромная кошка.

Сбросив одежду, я хотела с разбегу нырнуть в воду, но вместо этого вошла медленно, осторожно, поглаживая волнистую поверхность рукой.

Когда я опомнилась, берег был так далеко, что едва различались огни.

Я вздохнула с сожалением – пора возвращаться.

На песке, около моей одежды, сидел огромный чёрный кот.

– Вот так встреча! Ну, здравствуй, кис. Интересно, как тебя зовут? И чей ты, такой красавец...

Он выгнул спину и, задрав хвост, удалился неторопливо и с достоинством, из чего следовало, что котейка этот – абориген.

Надо не забыть завтра спросить у Натальи, кто его хозяева.

Открыв шкаф, чтобы повесить палантин на место, я увидела в уголке пеньюар тончайшей работы.

Ну что же, вживаться в образ нужно и во время сна – так даже лучше.

Я набросила на себя невесомую ночную рубашку и дополнила её роскошным халатом, рукава которого напоминали крылья фантастической птицы.

Неужели в таком одеянии можно спать? Выйти на балкон, распахнуть руки-крылья навстречу ветру, и взлететь над тёмной, бездонной, прохладной стихией, имя которой – океан. И несколько дождинок, попавших на щёки, заставили меня поверить в то, что я лечу, а за плечами не то парус, не то крыло вьётся...

Не знаю, сколько времени прошло, прежде чем я вернулась в спальню. Часы пробили половину третьего ночи.

Халат я всё-таки сняла, а вот рубашку снимать не стала и уснула быстро и снова – без сновидений.

На мой вопрос о вчерашнем морском котейке, Наталья только руками всплеснула:

– Так это же наш Круз! Где вы его нашли?

– Возле причала, там, где одежду оставила, когда купалась. Круз?

– Крузенштерн. Он за пани Евой по пятам ходил – как собачка. А за два дня до её смерти пропал. И больше мы его не видели... Вернулся, значит...

Этой ночью я снова отправилась купаться. Кот был уже там – видимо, ждал меня. На этот раз он дошёл со мной до самой калитки, после чего исчез.

Но утром, выйдя на балкон, я увидела его, растянувшегося во всю свой кошачий рост; приветствием мне было лёгкое подёргивание хвоста...

– Доброе утро... Штерн. Как тебе такое имя? – подёргивание хвоста перешло в виляние.

– Вижу – нравится! Ну, пока, Штерн.

Прошёл месяц. Повесть о... любви была написана, и теперь я просто перечитывала отдельные главы и вносила некоторые

дополнения.

Делала я это легко, без особых усилий, что немного удивляло меня – обычно, именно эта часть выводила из терпения – я писала без черновиков – набело и терпеть не могла всякие исправления.

На этот раз всё было иначе. Кроме того, я и сама несколько изменилась – месяц назад я думала по-другому, по-другому чувствовала и не так хорошо знала Еву. Теперь же мы с ней почти сроднились. Я узнала и приняла её привычки, её вкусы, её маленькие слабости и недостатки, я безошибочно ориентировалась в её библиотеке – для этого мне пришлось перечитать всё оттуда, и теперь я знала любимые и самые любимые её книги.

Листая страницы, хранящие прикосновение её тонких пальцев, я читала отрывки романов и повестей, которые она перечитывала помногу раз, возможно, она знала их наизусть...

Было здесь несколько книг, начатых ею и оставленных – более она к ним не возвращалась, и я, прочтя первые пару страниц, закрывала книгу, не испытывая желания вернуться к ней.

Была здесь и моя книга. Даниил не солгал – она действительно выглядела «зачитанной до дыр», особенно часто Ева перечитывала одну небольшую новеллу, которую я и сама с



радостью перечитала, так будто бы написана эта новелла была не мной.

Я изучила её пристрастия в одежде – это было нетрудно – в её гардеробе не было вещей случайных, «чужих» – всё соответствовало внешнему и внутреннему облику их обладательницы.

Тонкие, лёгкие, летящие платья и палантины, казалось, ещё хранили тепло и аромат кожи Евы...

Примеряя их, я замечала изменения в своей внешности, но относила это на счёт старых, уставших отражать истинные лица, зеркал.

Однако, это было далеко не так.

Выписав заключительную часть, я не без сожаления простилась с героиней своей повести – за это время я привязалась к Еве и уже тосковала без неё, хотя и, прямо скажем, несколько условного присутствия.

Я позвонила в миниатюрный серебряный колокольчик, и спустя несколько минут, на пороге появилась Наталья. В последнее время она избегала меня и лишь смотрела испуганно вслед, когда я уходила к морю.

– Принесите, пожалуйста, бокал белого вина. И сок лайма со льдом.

– И льда побольше? – неожиданно произнесла

она.

Именно это я и собиралась сказать!

– Откуда вы знаете?

– Пани Ева всегда просила льда побольше. А вы в последнее время... – Наталья перекрестилась, – вы в последнее время стали очень похожи на неё.

– Что-что? Интересно, в чём это выражается?

– Во всём. Вы заказываете те же самые блюда, что и она. Так же подолгу сидите на скамейке слева от дорожки, когда возвращаетесь с моря, куда вы ходите в те же самые часы. Сейчас вы попросили принести её любимое вино – и сделали это... как она – вы позвонили в колокольчик, а ведь он всё это время находился здесь – на этом столике, и вы не пользовались им.

Но даже и не это самое главное. Круз ходит за вами по пятам – как собачка. Точно так же он ходил за пани Евой.

– Ну что вы, вам это просто кажется! И он давно уже не Круз, а Штерн, – рассмеялась я. А Наталья побледнела и вновь перекрестилась. – Что? Что ещё?

– Теперь вы и смеётесь, как ...пани Ева. И кота называете Штерном – только она его так называла.

– Глупости какие. Идите. И принесите поскорее то, о чём я просила. И льда побольше!

«Хорошо, всё-таки, написано. Я сама о себе и двух слов бы не связала – а ты целую повесть! Выходит, я была любима. А? И ещё... оказывается, я была не таким уж плохим человеком...»

Ева раскачивалась в кресле-качалке, и утреннее солнце путалось в её тонких пальцах.

«Знаешь, я тебе поверила – он действительно любил меня. И поэтому я решила вернуться.

– Отчего ты умерла?

– От тоски. От холода. От сердечной не-до-ста-точ-нос-ти... Мне не хватало сердечности и тепла. А теперь я вижу, что он не виноват – он очень меня любил. Просто у нас с ним разное отношение к этому чувству. Тебе удивительно идут мои платья! Я поначалу и не надеялась, что ты научишься их носить, но ты справилась!

С этими словами она подошла к небольшой нише в изголовье кровати и достала оттуда шкатулку.

– Незадолго до моего ухода, Даниил подарил мне кольцо. А я сказала, что надену его только после того как он посвятит мне вечность. Он рассмеялся в ответ, сказал, что посвящают поэмы, оды, стихи, но вечность... Вечность ещё

никто никому не посвящал.

А она иногда умещается в несколько часов, да что там – часов, вечность может уместиться в несколько мгновений... В несколько мгновений любви.

Серебряное кольцо напоминало маленькое окно – в оконную раму-оправу был вставлен чистый горный хрусталь.

Ева надела кольцо на безымянный палец моей правой руки.

– Вот видишь, оно пришлось тебе впору.

– Ты не сказала когда вернёшься.

– А я уже вернулась.

Она рассмеялась, схватила меня за руку и потащила к зеркалу. Из зеркала на меня смотрела ...Ева? Нет, всё-таки, это была я.

И белое крыло паруса вечности, поющее за плечами...

[Оглавление](#)

## Гнедая? Каурая? Чалая?!!!

Если бы Таньку сейчас спросили, зачем она это сделала, она не смогла бы ответить по двум причинам. Во-первых – её всю колотило так, что даже зубы стучали. Эта противная мелкая дрожь поднималась изнутри и накрывала Таньку с головой, не давая дышать. Во-вторых – она действительно не знала, почему начала читать не своё, а северянинское стихотворение.

Литературные чтения проходили в Доме творчества, в огромной комнате, занимающей добрую половину первого этажа. Особняк когда-то давно принадлежал купцу Ганину, а в комнате этой располагалась столовая, и Танька, попав сюда впервые, подумала, что в такой столовой должны были подавать к обеду что-то необычное, изысканное, суп-прентаньер, например, или профитроли. Макароны явно отсутствовали в меню бывших обитателей этого старого, но всё еще роскошного дома. И сквозь трещины на сложной лепнине потолка, и сквозь изуверски покрашенный масляной краской мозаичный паркет проступало бывшее великолепие. О супе-прентаньере Танька читала у обожаемого Михаила Афанасьевича, а о профитролях даже и не читала нигде, так, выплыло, откуда-то само собой, прямо как это

злополучное стихотворение. И теперь, сидя под лестницей на ящике, в котором уборщица хранила нехитрый свой инвентарь, Танька проклинала тот день, когда поддавшись на уговоры подруги, пришла на эти чёртовы литературные чтения. Тогда, месяц назад, свои стихи читала хрупкая рыженькая девушка, и Таньке они очень понравились, но у большинства присутствующих ничего, кроме снисходительных реплик, не вызвали.

– Так писать нельзя, – втолковывала девчонке художавая сероглазая дама, поэтесса, довольно известная в городе. – Это никому, кроме Вас, милочка, не интересно.

А сидящая рядом с ней обладательница антикварного серебра на тонких нервных пальцах (видимо её близкая подруга, потому что Танька видела, что они шептались всё время о чём-то своём), снисходительно улыбнулась:

– Учиться надо, деточка, у классиков учиться.

Стихи рыжей зарубили на корню, и Танька было для себя решила, что ничего из написанного читать здесь не будет, как вдруг услышала свою фамилию. Высокий седой мужчина, – руководитель литературной студии – объявил присутствующим, что следующая встреча состоится через месяц, и свои стихи прочтёт Татьяна Чалая.

– Любопытно, – подруга сероглазой поэтессы так доброжелательно смотрела, что Танька всё-таки решила прийти.

Месяц пролетел незаметно. Она давно уже отобрала пять лучших, на её взгляд, стихотворений, как ей и было велено, и в назначенный день и час пришла в Дом творчества, а попав в огромную комнату, вспомнила о «тарелочке супа-прентаньер».

Она совершенно не слушала, о чём говорили собравшиеся, и опомнилась только когда седовласый назвал её фамилию. Танька могла поклясться, что слышала эхо стука собственного сердца. «Ищи глаза, – вспомнила она наставления подруги, – найди глаза, в которые будешь смотреть, читая. И тогда всё получится. Запомни – нет ничего хуже, чем нервно бегающие глазки читающего!»

И Танька выбрала спокойные зелёные глаза седого, отчего ей сразу стало как-то уютнее, и даже сердце её успокоилось. Она прочла первую строчку, и перед глазами, мелькнуло вдруг антикварное серебро. «Таким жестом королевы повелевали рубить головы, – подумала Танька. – Вот, стерва!» А стерва бесцеремонно произнесла: «Громче, пожалуйста, что Вы там себе под нос бубните. И потом, Чалая – это что, псевдоним, что ли?»

«Вот стерва...», повторила про себя Танька и ответила: «Чалая – это моя фамилия, а ещё, это масть лошади. Есть гнедые, есть каурые, а есть чалые!»

– И что же это за цвет – чалый? – владелица антикварного серебра явно была не в духе.

– Представьте себе лошадь, которая ухитрилась сделать мелирование, – Танька изо всех сил улыбалась, но внутри всё дрожало от волнения.

– Да ладно тебе, Соня, пусть девочка читает, – полноватая женщина с лицом доброй феи из старой детской сказки попыталась помочь Таньке. Антикварное серебро ещё раз мелькнуло в воздухе и замерло на столе.

Танька прочла две первые строчки:

«Величье мира – в самом малом,

Величье песни – в простоте».

«Что я делаю?! Это же не мои стихи!» – она растерянно посмотрела на седого, но тот с совершенно безучастным видом делал карандашом какие-то пометки на полях толстого журнала.

– Что же Вы замолчали? Продолжайте, пожалуйста, – сероглазая поэтесса насмешливо смотрела на Таньку. И Танька продолжила:



«Теперь же, после муки крестной,  
Очищенная, возродясь,  
Она с мелодией небесной  
Вдруг обрела живую связь.»

Дочитав северянинское «Возрождение» до конца, Танька хотела сказать, что Северянин её любимый поэт, и поэтому она начала с его творчества, но не успела, потому что примадонна недовольно спросила:

– А что это за прилагательное у Вас в третьей строфе «ручейково», что это за новшество?

Да и «зальдить» Ваше режет слух. Это никуда не годится.

– У Вас какое образование? – опять это серебро перед глазами. – На мой взгляд, все Ваши эпитеты, которыми Вы так щедро здесь разбрасывались, есть не что иное, как элементарная безграмотность.

Танька слушала нелестные эти отзывы и мысленно просила прощения у Игоря Северянина. Она, наконец, осмелилась посмотреть в глаза руководителю студии и с изумлением увидела, что тот едва сдерживает смех.

– Вы всё знали и не остановили меня, – укоризненно прошептала Танька и в слезах

выбежала из комнаты, а седой, не в силах больше сдерживать смех, расхохотался.

Сероглазая поэтесса обиженно поджала и без того тонкие губы:

– Может быть, Вы объясните нам, что здесь происходит, Сергей Викторович?

– Нет уж, милейшая Анна Николаевна, я объяснять ничего не буду. А тот, кто желает получить объяснения, пусть обратится к творчеству Игоря Северянина.

По бледному лицу поэтессы расплылись бесформенные алые пятна.

– Так эта нахалка нам Северянина читала? Да как она посмела?! И Вы не вмешались, не прекратили этот балаган?

– Не может быть, – растерянно сказала её подруга. – А кто её вообще сюда привёл, эту дрянь?

Танька услышала шаги в коридоре и замерла. «Слава Богу, мимо. Ничего, скоро они разойдутся, и тогда я выберусь отсюда, пойду домой и никогда больше здесь не появлюсь».

– Выходи, Чалая, я знаю, что ты здесь, – услышала она голос седого, и сердце её вновь забилося, как у пойманной в силки птички. Она вышла из своего убежища и тихо сказала:

– Простите меня, Сергей Викторович, я и сама не знаю, как это случилось. Я не хотела, честное слово.

А он смотрел на неё и вспоминал, как лет тридцать назад сам сидел под этой самой лестницей, только стены здесь были тогда выкрашены в какой-то другой цвет.

Седой улыбнулся нахлынувшим воспоминаниям.

– Да будет тебе, Чалая, не оправдывайся. Запиши-ка лучше мой телефон и адрес. Есть на чём?

– Есть, – шмыгнула носом Танька, доставая из кармана джинсов маленький, изрядно потрепанный блокнот.

– Я жду тебя через неделю со стихами. Только обязательно позвони накануне, лучше вечером.

И, уходя по широкому светлому коридору, добавил:

– Со своими стихами, Чалая, со своими. Северянин в моей библиотеке давно есть.

## [Оглавление](#)

# Долг

Я не был в родном городе давно.

Пятнадцать вёсен прошло с тех пор, как нога моя в последний раз ступала по серым, отполированным временем булыжникам на мостовой центральной улицы. Её-то и касался Каретный переулок; не пересекал, не упирался в неё, а именно касался, и носила эта улица название Косвенной не случайно.

В точке прикосновения стоял старый дом в три этажа. Большая часть окон выходила в Каретный, а остальные смотрели на широкую нарядную Косвенную. Были эти окна глазастыми и любопытными в отличие от тех, что робко выглядывали в тихий переулок, заросший сиренью.

К моему немалому удивлению старый дом и старый орех преспокойненько стояли на своих местах. Окна, выходящие в переулок, были распахнуты как пятнадцать лет назад, и показалось, что если сейчас свистнуть, то из крайнего окна высунется взлохмаченная голова и крикнет: «Ну что, соловей-разбойник, свистишь? Давай, поднимайся, завтракать будем...».

Я взбегу по винтовой лестнице, пройду по

деревянной галерее балконов и попаду в светлую кухню с симпатичными «ситцевыми» обоями и портретом Александра Вертинского в золочёной рамочке; на круглом столе румянится аппетитная горка оладий, в запотевшем глиняном глечике – холодные сливки. А у поющего примуса хлопочет мама Лёнчика – тётя Люба, маленькая женщина с приветливым, добрым лицом.

В дверях появится взъерошенный Лёнчик с вечной своей гитарой, скажет: «Вот послушай, ночью сегодня напел; работы не так много было, вот...». И начнёт наигрывать мотив, который сразу захватит в плен душу и опутает сердце, и будут они оставаться в плену до следующей песни, написанной Лёнчиком.

Он был старше меня всего на полгода, но давно уже работал – кормил семью. У Лёнчика подрастал младший братишка Толик, а отца не было, погиб, спасая человека во время аварии в нашем порту. Тётя Люба осталась с двумя детьми на руках. Учиться после школы ему не пришлось, а я поступил на журфак в университет и первое время испытывал чувство стыда, за то, что я учусь, а он пашет по ночам, чтобы помочь матери. А ещё я испытывал чувство зависти: так играть на гитаре и петь умел только он – Лёнчик.

«Послушай, сам не знаю – откуда она взялась,

песня эта...» – говорил он, наигрывая и напевая тихонько, а солнечный луч метался внутри деки, и гитара светилась золотым светом, и от этого света на кухне становилось ещё уютнее и теплее.

Приходили ребята с Каретного, к вечеру помаленьку собирались и девочки, – все знали – Лёнчик сегодня дома, значит – гитара до утра. Всё тогда было просто: ночи – короткими, будущее – светлым, дружба – вечной.

Но пришло время, взрослая жизнь раскидала нас по Земле, изменила наши лица, наши взгляды и улыбки, наши голоса... В одном могу поклясться: никто и никогда не забывал старый дом в Каретном переулке, точку касания с широкой нарядной улицей, по которой уходили мы в другую, взрослую и чужую жизнь. Каждый из нас свято верил в то, что если занесёт его случайным ветром в родной город, то он обязательно заглянет сюда, в Каретный...

Я и не заметил, как поднялся по винтовой лестнице. Деревянная галерея во многих местах прогнила и грозила обрушиться. Но я всё-таки прошёл и у знакомых дверей остановился на мгновение. А вдруг...

На мой стук дверь открыла старушка в фартучке и низко повязанном платочке.

– Проходи сынок, проходи. Только рано ты что-

то, мы ж вроде как на вечер договорились.

– Тётя Люба, вы меня не узнаете?

Она посмотрела на меня, прищурилась:

– Погоди-ка, сейчас узнаю... Саша Соловьёв, верно ведь?

– Верно, – улыбнулся я.

– А я не разглядела сначала, думала, это за деньгами пришли.

– Ну, как живёте, тётя Люба? Как Лёнчик ? Пашка как?

Она вытерла слезящиеся глаза уголком платка.

– А ты, что же, сынок, не знаешь ничего? Умер Лёнчик, сороковины сегодня... А Пашка в Америке, лет пять уж... А я вот долги отдаю. Приходят: должен, мол, был. Ну, куда денешься, спросить-то уж не у кого.

– Что за долги? – отвернулся я к окну, смахнув слезу. Вроде как нельзя мне – мужик.– Лёнчик в больнице умер?

– А вот, позвонили, – брал мол, в долг. А раз брал – надо отдавать. Долги всегда отдавать надо, сынок. А ты-то откуда знаешь, что в больнице? Сердце не выдержало – так врачи сказали...

– Да так, почувствовал.

Нельзя было не почувствовать, он жил на износ. Он работал до изнеможения, а если гулял – то на полную! Любил – так всем сердцем, на всю жизнь. И другом был верным и надёжным. Такие люди не живут долго, сгорают, к сожалению или к счастью, я уж не знаю. А вот крохоборы...

Чувствуя, как внутри всё закипает, я согласился:

– Это вы правильно сказали насчёт долгов. Я ведь за этим и пришёл, вот только не успел, видите, как оно получается. Простите меня...

– Что ты, сынок, что ты, – заплакала тётя Люба, и показалась мне маленькой обиженной девочкой, за которую и заступиться-то некому.

Выгрузив из бумажника всю наличность, я в душе порадовался, что её было немало. Сегодня утром снял приличную сумму, словно чувствовал – пригодится.

– А когда это ты задолжал-то Лёнчику, сынок? Да много как... ты сам-то при деньгах остаёшься, соловушка?

– Было дело, – как можно убедительнее вздохнул я, размышляя о том, какая ж это сволочь долги собирает, да ещё на сороковой день. Посмотрим. Поезд у меня всё равно ночью, так что есть возможность в глаза этому подонку



заглянуть. Неужели из наших кто? Быть того не может! Были среди нас разные люди, но подонков и крохоборов не было, это точно.

– Темнишь ты, соловей-разбойник, – тетя Люба смахнула со стола невидимые крошки, а у меня сжалось всё в груди: так она меня назвала, как раньше. – Ой, да что ж это я. Ты ведь голодный, сынок. Давай-ка, поешь – я быстро.

Лёнчик был настоящим другом, и если кому-то из нас были нужны деньги, мы знали – он в лепёшку расшибётся, а найдёт. Сколько раз я зависал у него... Бывало, что и он у меня, но никто никогда эти долги не считал. Да и считать никто не стал бы. Так, во всяком случае, думал я до сегодняшнего дня. И – ошибся. Кто-то посчитал, всё до копейки посчитал. Кто?

Видимо, вопрос свой я задал вслух, потому что тетя Люба ответила мне:

– А Серёга Осадчий, помнишь такого?

Ещё бы, кто же его не помнит, и раньше высоко летал – сын адвоката, а теперь и подавно. Мать мне писала как-то, что в «новых хозяевах» сейчас ходит, а видишь, не постеснялся старый долг потребовать.

За разговорами и раздумьями время пронеслось быстро. Когда раздался стук в дверь, открыл её я и увидел молодого парня в форме

охранника, который от неожиданности попятился. Видимо, не рассчитывал увидеть бородатого мужика в берцах. Я хоть и журналист, но не только слово своим орудием считаю, поэтому кулак у меня хороший, крепкий, да и фигура не подкачала. А что до одежды и обуви, так я в этом деле совершенно непритязателен, главное, чтоб удобно было. И весь гламур!

– Тебе чего?

– Я от Сергея Николаевича, он сказал, что бабушка в курсе.

– Веди. Я не бабушка, но тоже в курсе. И в доле. Веди, что смотришь? – я вышел на веранду и плотно прикрыл за собой дверь.

– Куда? – опешил охранник.

– К хозяину, – отрезал я и первый начал спускаться по лестнице.

Сергей Николаевич, откормленный в лучших традициях отечественных свиноводов, еле умещался в салоне джипа.

– О, какие люди? – он даже сделал попытку вылезти из машины мне навстречу, но поймав мой кулак своей жирной физиономией, затею эту оставил. – Ты что, рехнулся? Он должен мне был, это правда, слышишь...

И второй раз мой кулак угодил в его

лоснящуюся рожу. Боковым зрением я видел охранника, застывшего от удивления: на его глазах били хозяина, а он, хозяин, не отдал команду «фас».

– Да погоди ты, Шурик, давай поговорим, слышишь? Чёрт с ними, с деньгами, ладно, твоя взяла! Ты тоже меня пойми, Пашка-то у неё в Штатах, так что не бедствует поди, а? Говорят, он там свою автомойку держит, это не по бедности-то!

И в третий раз мой кулак припечатал его морду.

Я повернулся и пошёл к тете Любе, прощаться. Когда я уже поднялся, раздался звук отъезжающего джипа.

Билет был куплен заранее, больше в этом городе дел у меня не было. Случись это года три назад, можно было бы зайти к матери, но теперь она живёт в Гомеле, у моей младшей сестры и звонит часто, называя меня то непутёвым, то беспутным, что в принципе одно и то же.

К Лёнчику на могилу я не пошёл. Это всего лишь традиция, от которой легче на душе не стало бы. Нет там его, нет. И нигде нет... И никогда уже не будет.

А может, мать права, я и вправду непутёвый, самых простых вещей не понимаю...

Сероглазый взъерошенный парнишка, оказавшийся моим попутчиком, весь вечер не выпускал гитару из рук – всё напевал что-то да наигрывал. А когда я попросил спеть одну из песен Лёнчика, схватил мелодию сразу же, словно знал песню эту давным-давно. Сошел он глубокой ночью на маленьком, неприметном разъезде. Закинув гитару за плечо, махнул рукой на прощание.

«Пока-пока...» – донеслось в приоткрытое вагонное окно.

Песня вернула меня в родной город, в юность, в то время, когда всё было предельно просто: ночи – короткими, дружба – верной и вечной, а сны – цветными. Вот так же легко и Лёнчик сошёл на каком-то безымянном разъезде, на прощанье махнул рукой, и... поминай как звали! Может это он со мной попрощался? Говорят же, что душа наша на сороковой день покидает Землю, если все дела здесь закончены и все долги розданы.

Разволновавшись, я вскочил и высунулся в окно, но поезд давно уже набрал ход, и вагонные колёса всё повторяли и повторяли прощальные слова паренька с гитарой: Пока-пока... пока-пока... пока-пока...

# Месть

Старенькое, выдавшее виды зеркало, помутнело, потемнело, поднатужилось и, наконец-то, отразило меня неотразимого.

Да, что и говорить! Тёмно-синие джинсы поддерживались на изрядно отощавшем за последнее время заду, широким кожаным ремнём с тиснением. Белый свитер, связанный нежнейшими руками белокурой Анюты – личной секретарши Витька, из благородной пряжи и светло-коричневые «казаки» – из точно такой же кожи как и ремень, и тоже с тиснением.

Но даже такими эксклюзивными тряпками вряд ли кого сейчас удивишь – насытился народ тряпьем. Эх, если бы я таким красавцем лет десять назад из дому вышел, сенсация местного масштаба была бы обеспечена.

А впрочем, не всё так безнадежно. В комплекте с фирменным прикидом был ещё бонус – было ещё лицо: трёхдневная благородная щетина, глаза...

Да. С глазами мне повезло, это факт. Где-то мне уже приходилось видеть такие глаза.

Журнал «Плейбой»? Реклама сигарет «Кэмэл»? Джордж Клуни?

Размышляя так, я щедро оросил свою никчёмную голову шанелевским «Эгоистом» и пришёл к выводу, что более всего я похож на Тома Круза.

«На сволочь ты похож. На тупую, мелочную, жестокую сволочь...».

Я произнёс это вслух, обращаясь к своему неотразимому отражению, которое вело себя нагло.

«Ничего-ничего, пусть видит, какого героя потеряла. Пусть локоточки начисто сгрызёт, если дотянется. Небось, тоже сейчас перед зеркалом крутится, романтический образ создаёт; такой, чтоб трогательно и, вместе с тем, независимо.

А твой образ создан! Иди, удивляй и уничтожай, – она-то думает, что окончательно опустившегося хлюпика увидит, пожалуй тебя собираются, в гуманность сыграть мечтает.

Любят они, бывшие, своих «бывших» жалеть. Чтобы потом за чашечкой чаю любимой подружке-стерве страдальчески шептать:

«Ужас, дорогая, просто ужас! Пока я была рядом – так ещё держался, а я ушла – и во что человек превратился... Ах, я места себе не нахожу, ведь это из-за меня...».

А подруга-стерва ей в ответ: «Да-да, дорогая, да-да, это так ужасно... Но ты не должна себя

винить, видишь ли, в психологии есть такое понятие, как чувство ложной вины...

Но я так тебя понимаю... Ах, из-за меня никто так не убивался, никто...».

Чёрта с два, дорогая, не доставлю я тебе такое удовольствие!

Не хочу сказать, что во всём, но во многом я был согласен с лоснящейся мордой из зеркала, потому незамедлительно начал спектакль.

Действие первое: я вышел из подъезда и сразу же пожалел, что у меня нет зеркала заднего вида. А на то, что творилось сейчас за моей спиной, стоило бы взглянуть.

Они даже шелуху подсолнечную сплёвывать перестали. Вот-вот аплодисменты грянут. Может быть, подождать? Оглянуться?

Но я же весь из себя мистер Спешащий, поэтому для добавочного выброса адреналина – руку легко в сторону, так чтоб золотое сияние «Rolex» слегка их ослепило, не совсем, а слегка – минут на пять.

Пока ум, честь и совесть нашего двора часто-часто моргали слезящимися глазками, я небрежно открыл дверцу жемчужно-серой иномарки.

«Ну, как вы там, девчонки? Грымзы старые. Уже жалеете своих дочурок, педагогов и

психологов, которые не за меня, плохого мальчика, выскочили замуж?»

За спасительной тонировкой стёкол авто, я вздохнул с облегчением: действие первое прошло успешно. Хотя... Наверное, нельзя так со старушками, возраст, знаете ли... Давление там, сердечко... пульс частит.

Мне предстояло сыграть действие второе, в котором и развернутся основные события.

Я – Лёшка Зотов, тридцати восьми лет от роду, по образованию – инженер, русский, чуть не отдавший Богу душу пять лет назад от банального приступа аппендицита, найденный у пивного ларька однокурсником Витькой Щукиным и им же – Витькой, доставленный в больницу, и им же устроенный впоследствии на работу, в им же созданную туристическую фирму «Витур», ехал на встречу со своей бывшей женой, и, как и было задумано, опаздывал ровно на пятнадцать минут.

Что-то подсказывало мне, – не уйдёт, дождётся, иначе, зачем бы она позвонила на прошлой неделе и попросила о встрече, да так, будто мы расстались не шесть лет, а шесть дней назад.

Так оно и было. Припарковав машину у обочины, я сразу увидел её, одиноко сидящую за столиком летнего кафе на набережной.



Чашка кофе, пепельница.

Когда это она курить начала, интересно. Раньше даже запаха табака не выносила – мне приходилось на лестничной клетке дымить. И ждёт, судя по пепельнице полной окурков, давно. Волосы гладко зачёсаны назад – без всяких наворотов. Минимум косметики или... или очень дорогая косметика, которую только при тщательном рассмотрении можно заметить, а она всегда только такой и пользовалась.

Хочешь женщину обидеть, – скажи ей: «Какая красивая помада у Вас...» Она обидится и сочтёт тебя полным болваном. А если сказать: «Вы выглядите великолепно!», получишь в ответ улыбку. Многообещающую улыбку.

Во всём облике Наташи, в том, как она сидела, сгорбившись, как равнодушно смотрела перед собой в никуда, чувствовалась какая-то усталость, обречённость что ли...

Я усомнился в затеянном мной маскараде и уже не знал, хочу ли я мстить. В этот момент она повернулась:

– Алёша? Ты?!

А вот сейчас спокойно, Зотов. Собрался внутренне, улыбнулся, кивнул, присел.

– Конечно, я. А ты разве ещё кого-то ждёшь?

Постарела. Нет, пожалуй, устала... Нет блеска в

глазах, лоска прежнего.

Всё-таки, постарела. И устала тоже. Шутка ли – шесть лет прошло.

Погасла она, вот что. Как я сразу не понял. Погасла Наташка. Нет свечения больше ни в глазах, ни в волосах... Потускнело всё.

Сколько раз я себе представлял эту встречу, сколько раз снились мне её удивлённые глаза и слёзы, слёзы в этих глазах, и я – неприступный и холодный, но вежливый.

Вот оно, свершилось.

И сейчас и потом – всё по сценарию, Зотов, никакой отсебятины.

– Заставил ждать – извини. Дела... – Послав ослепительную улыбку субтильной официанточке, зарплаты которой хватало на турецкое тряпье «из мешка», но никак не хватало на приличный педикюр (кто ж её на работу принимал с такими пятками?!), я вновь блеснул часами. Официанточка, сделав стойку, бросилась менять пепельницу, принесла меню и замерла, затаившись, боясь спугнуть большой заказ и щедрые чаевые.

– Ну-с, посмотрим, чем тут у вас кормят, – я раскрыл меню.

– Может быть, вы пройдёте в vip-зал? – официантка сотворила что-то похожее на намаз,

там вам будет уютнее, и беседе вашей никто не помешает.

– Нет, радость моя, мы сегодня подышим воздухом. Правда, Наташа?

Моя бывшая жена молча кивнула, хотя... Если бы я сейчас сказал, что мы подышим сероводородом или вообще дышать не будем, она бы согласилась – вряд ли она прислушивалась к разговору.

– Ты уже заказала что-нибудь? Смотри-ка, тут у них и осетринка на вертеле имеется...

– Спасибо, Алёша, я не голодна. А ты – поешь, если хочешь.

– Тогда один martini-биттер, два шоколадных десерта и два апельсиновых сока-фрэш.

Этот набор развеял безумную утопию-мечту о крупном заказе и щедрых чаевых, и официантка ослабила стойку.

– А ты изменился, Алёша, – за всё это время Наташа впервые посмотрела мне в глаза. – Но, не скрою, мне приятно, что ты не забыл о моих пристрастиях.

– Конечно изменился, – улыбнулся я. – Полысел, поглупел, из брюнета превратился в седеющего шатена. А насчёт пристрастий, это легко – я и сам люблю сухой martini, только сейчас не могу себе это позволить – за рулём.

Врал я легко, а что поделаешь, ведь это она любила мартини-биттер, и чтоб с зелёной оливкой в бокале; ведь это она была, да и осталась для меня эталоном женского обаяния. Эталомом настоящей Женщины.

Волей-неволей всех женщин я сравнивал только с ней, и ни одна до сих пор не одержала победу.

– Да я не о том, – руки её нервно теребили край скатерти, – ты изменился не внешне, хотя, ты очень хорошо выглядишь; ты внутренне стал другим. Самоуверенный, я бы даже сказала... нагловатый. И потом... Эта одежда... Раньше ты так не одевался. Да и одеколоном дорогим не пользовался.

Моё отражение самодовольно улыбнулось бы, будь здесь зеркало.

«Ещё бы, дорогая. Раньше это было твоей привилегией. Самоуверенность, лоск, экстравагантность – всё это принадлежало тебе. А тот хлюпик-инженер, которого ты бросила шесть лет назад, понятия не имел о самоуверенности. Он был уверен только в одном – в том, что ты его любишь так же, как и он тебя.

Он таскал с рынка авоськи с картошкой, стирал бельё, мыл посуду и устраивал тебя по всем параметрам. По всем, кроме одного. Хлюпик не мог обеспечить тебя так, как ты того хотела.

Потому ты и ушла от хлюпика, ушла к сильному, самоуверенному, состоятельному, не взяв из убогой «двушки» в Химках ничего – даже своей косметики.

Зачем? В трёхэтажном особнячке на Рублёвке было всё. Зачем же тащить в новую жизнь старьё...»

– Ты меня не слушаешь, Алёша. Ты женат?

Я увидел, как побелели костяшки её пальцев – до такой степени сжала она бокал с мартини, и начал опасаться за судьбу хрупкого стекла. Осторожно высвободив из её пальцев хрупкую картинку, я рассмеялся:

– Разве я похож на благоверного супруга и почтенного отца семейства?

– Нет, не похож, – согласилась она и вдруг залпом осушила бокал. – Не так я себе представляла нашу встречу, Алёша.

– Я тоже, – признался я. Но гламурный мерзавец из зеркала думал совершенно иначе...

«...Конечно, дорогая. Я мог бы сейчас с точностью до мельчайших подробностей изложить тебе твои представления. Ты была уверена, что к тебе нетрезвой походкой подойдёт грязный, оборванный, вонючий алкаш и начнёт хныкать, что без тебя жизнь не имеет смысла, что два раза вешался, раза три топился,

раз пять стрелялся – и всё мимо; теперь вот мечтает отравиться, только не знает чем. А ты бы подсказала, посоветовала... Яд лучше всего принимать на лету, где-то между седьмым и пятым этажами, тогда точно поможет...»

Не было у меня чувства удовлетворения от спектакля, придуманного Витькой Щукиным и разыгрываемого сейчас мной, ну не было – хоть убей!

Отвращение к себе, вырядившемуся плейбоем, было, жалость к Наташе была, а вот удовлетворения не было.

– Ну, а ты-то как? – Это уже было чистойшей отсебятиной. По нашему сценарию подобного вопроса я задавать не должен был. Почему? Да потому что, само собой разумеется, что меня не интересуют ни её дела, ни она сама.

– Да никак. С Игорем мы расстались три года назад. Расстались эффектно – он выгнал меня на улицу босиком. Теперь вот живу у... подруги, помогаю ей по дому – считай в услужении.

Она упорно избегала смотреть мне в глаза, а руки её по-прежнему теребили край скатерти.

– Ты только не подумай, что я жалею, Алёша. Я всё прекрасно понимаю, в сложившейся ситуации виновата только я. Так что... платят мне, кстати, неплохо. Комната своя. Выходной

могу взять, когда нужно, вот как сегодня, например. Просто, я хотела. Ты прости меня, пожалуйста, Алёша, если сможешь. Я ведь понимаю, что все беды со мной происходят из-за того, что я тебя... ну...

– Предала. Так ведь, Наташа? Ты не изменила, не бросила, не ушла, а именно – предала. Но я тебя не проклинал, и в том, что рыцарь твой на белом коне оказался подонком-пешеходом, ты меня не вини.

В этот момент запищал мобильный, честно подыгрывая мне в финальном действии последнего акта.

– Да. Да – я. Скоро буду.

– Ты торопишься, Алёша? – И тут она посмотрела мне в глаза – второй раз за всё это время.

Кто-нибудь, когда-нибудь тонул в глазах любимой?

Пусть предательницы, пусть бывшей жены, но – любимой?

Я вытащил из портмоне зелёную сотенную купюру и небрежно бросил на столик.

– Извини. Мне пора. Рассчитаешься, а я побегу. Да, и звони, если что – номер-то прежний.

Пятнадцать шагов до машины показались мне пятнадцатью километрами, по меньшей мере. Главное – не обернуться сейчас, она только этого и ждёт, а я, если обернусь, играть дальше уже не смогу.

Я подъехал к небольшому одноэтажному зданию, где расположился офис туристической компании «Витур», к зданию, в трёх кварталах от которого, за столиком летнего кафе осталась подавленная, растерянная и уничтоженная мной, единственная женщина, которую я любил и люблю; женщина, бывшая когда-то моей женой и предавшая меня, женщина, которой я хотел отомстить и отомстил, но вместо радости и удовлетворения испытывал лишь горечь и отвращение к самому себе.

Белокурый ангел-привратник нашей фирмы – Анюта – оторвалась на миг от монитора и вопросительно посмотрела на меня. Интересуется девушка – значит в курсе. Видать, Витёк всё рассказал.

– У себя?

– Виктор Николаевич ждёт Вас уже целых полчаса, – попеняло мне неземное существо строго и укоризненно. Заставлять ждать Виктора Николаевича было верхом неуважения к нему – в частности и ко всему человечеству – в целом (таково было мнение по уши влюблённой в шефа



Анюты).

Витька сидел за столом в своём кабинете. Плотнo прикрыв за собой дверь, я бросил на стол ключи от машины, снял и положил рядом часы.

– Ничего, если я прямо тут переоденусь? Я мигом.

– Брось, а! Ерунда какая... Рассказывай. Сработало?

– Сработало. Растоптал. Уничтожил.

– Так в чём же дело? У тебя вид – словно, ты с похорон вернулся, – недоумевал Щукин.

– Я действительно с похорон, я только что надежду свою похоронил. Зря мы этот маскарад затеяли. Она и так достаточно наказана – без этого тупого спектакля.

– Интересные дела, – хмыкнул Щукин, – наказана, говоришь? И кто ж её наказал, бедную? Лось этот её с Рублёвки?

– Судьба наказала, Витёк. Чтобы Наташка в прислугах ходила. Видел бы ты...

– Что-то я не понял, – Щукин встал и вышел из-за стола, – так ты что, пожалел её?

– Нет, в том-то и дело, что нет. Я всё сделал так, как мы условились. Сволочь я. Я лежачего бил, понимаешь?

– Ну-ну, – язвительно произнёс Щукин, –

отчего же не пожалеть женщину, самое время для жалости. Скажи, а вот когда ты спивался, когда ты под пивным ларьком подышал, она о тебе вспоминала, а? Я ж звонил ей тогда, и ты знаешь, что она мне ответила? «Каждому своё!» – и трубку бросила, с... – он грязно выругался.

– Не кипятись, – примирительно сказал я, – я помню, чем обязан тебе.

– Да пошёл ты со своей обязанностью! – огрызнулся Щукин, – а может быть, ты того... всё забыть и всё простить хочешь? Так ещё не поздно, давай – рысью скачи. Она наверняка ещё сидит там, смотрит на сотку «зелени», слёзы льёт и с места встать не может. Скачи, друг ситный, упади ей в ноги, а она ещё раз о тебя их вытрет!

Вот ведь как, в самое яблочко Витёк попал – была у меня такая мысль, только...

– Только не забудь ей сказать, что те баксы, которыми ты там так лихо швырялся, ты взял в долг, и что зарплата твоя состоит из шести таких бумажек. И даже если я накину тебе по старой дружбе ещё столько же, ей всё равно этого будет мало.

И опять – в яблочко!

– Ладно, пошёл я. Спасибо тебе.

– Завтра рабочий день, не забыл?

– Не забыл, шеф. Ну, будь!

– Вот так-то лучше! – пожал мне руку Щукин.

Запах жареной картошки я учуял, ещё не открыв дверь в подъезд. Апельсиновый фрэш давным-давно растворился в моём бедном желудке, но только сейчас я понял, что голоден. Ещё я понял, что мне суждено умереть голодной смертью – дома не было никакой еды, если, конечно, не брать в расчёт растворимый кофе и соль с перцем. Надо бы было вернуться и зайти в магазин, но...

Ноги сами вознесли меня на третий этаж, и здесь я окончательно понял, что картошечку жарили не просто так, а с чесночком – как положено. Самое странное было то, что запах шёл из моей квартиры... Мистика! Я открыл дверь, и аромат жареной картошки чуть не свалил меня с ног. А вдруг...

– Наташа! – распахнул я рывком дверь на кухню.

У плиты, в пёстром ситцевом передничке, стояла женщина, которой было решительно всё равно, как я выгляжу и сколько зарабатываю, женщина, которая любила меня не за что-то, а просто потому, что любила; женщину я крепко обнял и, как когда-то в детстве, уткнулся носом в тёплое плечо...

– Здравствуй, мам.

[Оглавление](#)

# Ловушка для жиголо

Он угадывал их безошибочно, с первого взгляда. Безукоризненно одетые в роскошное тряпье из дорогих бутиков, холёные, с умело наложенным макияжем, они даже рядом со своими дочками казались подружками-одноклассницами, в крайнем случае – старшими сёстрами.

Он успел досконально изучить их повадки и места обитания. Элитные ночные клубы, престижные SPA-курорты, казино и рестораны изобиловали стремительно стареющими женщинами – женами бизнесменов и банкиров, политиков и прочих нуворишей. Пока их мужья в поте лица неустанно приумножали собственные банковские счета, обрастая при этом офисами, длинноногими секретаршами, любовницами и телохранителями (ничего не поделаешь – *poblesse oblige*), их жёнушки, устав от посещений фитнес-клубов и салонов красоты, выходили на охоту.

Одержав победу над «гусиными лапками», двойными подбородками и дряблыми животами при помощи пластических хирургов, в чьи карманы плавно перетекали денежки тружеников-супругов, жёны жаждали других побед. А почему бы и нет? Веки подтянуты, в

отвисшие груди закачана нужная порция силикона, от уродливо висящих животов не осталось и следа – пора открывать сезон охоты. И в то время, когда их лысеющие мужья, наглотавшись «виагры», самоутверждались в объятьях фотомоделей, жёнушки охотились на молоденьких, атлетически сложенных мальчиков.

И в самом деле, почему не позволить себе соблазнить вон того славного, с бронзовым, мускулистым, а главное – юным телом Аполлона? Ах, как он неловок, как мило он краснеет от смущения! Ах, он ещё и беден – какая прелесть, какая удача!

Вот так, или почти так, рассуждала первая подружка Романа – Галина, жена известного банкира. Роман вначале думал, что женщина действительно прониклась к нему чистыми, материнскими чувствами и искренне хочет помочь. Он учился тогда на четвёртом курсе университета и подрабатывал массажистом в фитнес-клубе. Он действительно смущался и мило краснел, когда Галина проявляла интерес к его скромной персоне, но вскоре ей удалось соблазнить мальчишку. Мадам «будь со мной дерзким...» – так он её называл впоследствии. За ней последовали: мадам «гадкий мальчик», мадам «не обижай мамочку» и много других «мадам»...

Он научился играть страсть и покорность, льстить, говорить нужные слова в нужном месте и в нужное время. У него появились деньги – много денег, и через два года он купил себе квартиру, машину и уже подумывал о новом авто, даже присмотрел неподалёку в салоне жемчужный красавец «бьюик».

Перед ним распахнулись двери дорогих ресторанов, казино, отелей. Он с неизменным шармом принимал дорогие подарки, причём, делал это как бы нехотя, и так упорно отказывался, так правдоподобно обижался, что очередной дарительнице и в голову не приходило заподозрить в его отказе холодный расчёт. А когда он, наконец, соглашался принять дорогую безделушку, будь то золотой брелок для ключей или заколка для галстука с маленьким, но очень чистой воды бриллиантом, дарительницы приходили в неопиcуемый восторг. Надо же, какой милый мальчик, совсем неиспорченный! А «милый мальчик» продолжал плести хитроумные сети, и пока дамы думали, что он попался на крючок, сами давным-давно находились в ловушке, умело расставленной опытным, расчётливым жиголом.

О своём голодном детстве в детдоме, куда он попал в пятилетнем возрасте, после того, как алкоголичка-мамаша прирезала своего очередного хахаля, он никому не рассказывал. Мамаша

получила большой срок, писала трогательные письма в детдом, и поначалу воспитательницы пытались ему их читать, но он затыкал уши пальцами и повторял только одну фразу: «Моя мама умерла!». Кто знает, на какой обочине жизни он оказался бы, если бы не директриса детдома, сумевшая вовремя рассмотреть в нём способного и сообразительного ученика, который не крал, не курил, не нюхал клей и не глотал «колёса». Ох, и доставалось же ему за это от своих же, детдомовских!..

...Расставаться с надоевшей ему «мадам» он тоже научился красиво. С Галиной это получилось не сразу – он был влюблён в неё и страшно ревновал к мужу. А она лишь посмеивалась снисходительно: «Ну какое тебе дело до моего мужа, малыш?», и нежно поглаживая бронзовый бицепс ревнивца, шептала: «Пойми, глупенький, муж – это предмет первой необходимости, это машина для зарабатывания денежек...». Когда же он поставил её перед выбором: или – или, Галина разозлилась, обозвала его идиотом, рубящим сук, на котором сам же и сидит и предложила подсчитать, сколько он тратит в день на себя. «Кто-то же должен зарабатывать эти деньги, малыш...». Он продолжал настаивать на своём, и вскоре они расстались. Привыкшая к роскоши и вседозволенности Галина, естественно и



подумать не могла о том, чтобы променять брюшко, лысину и банковские счета состоятельного супруга на бронзовый торс нищего глупого мальчишки.

Этот опыт пришёлся как нельзя кстати, когда впоследствии ему становилось тошно от очередной «мадам». Он знал – стоит только предложить ей рай в шалаше – мадам испарится из его жизни немедленно.

Вот и сегодня, ублажая Марину, жену нефтяного магната, циничную и самую непредсказуемую из всех его женщин, он думал, что самое время предложить ей оставить своего благоверного. В последнее время малейшее воспоминание о Марине вызывало у него приступ тошноты, не говоря уже о её присутствии. Стоя в душевой кабинке, он обдумывал с чего бы начать разговор, в глубине души мечтая о том, чтобы эта ненасытная самка уснула хотя бы на полчаса. Но мечты его развеялись вместе с лёгким дымком сигареты, которую она курила, лёжа на столе в гостиной в чём мать родила.

– Что так долго, котик?

Роман содрогнулся от её хрипловатого голоса и подумал: «Когда она отвяжется от меня, если я доживу, конечно, до этого дня, я буду называть её "что так долго, котик?.."».

– Котик устал и хочет спать. Мариш, давай

поспим пару часиков, а...

– Котику нельзя уставать, мы что, спать сюда приехали? – она протянула к нему руки, – иди ко мне!

– Я устал, Марина! Давай вернёмся в город сегодня.

Он действительно смертельно устал за эти три дня. Устал двигаться по чётко размеченной Мариной траектории: постель – душ – постель – кухня – постель... Шикарная трёхэтажная дача, принадлежавшая близкой приятельнице Марины, стала для него местом заточения.

– Надоела я тебе? – Марина легко спрыгнула со стола и потянулась за новой сигаретой.

– Ну что ты такое говоришь, я просто устал, понимаешь? И перестань курить так часто, дышать нечем!

– Ну что ж, котик, едем, – она смяла в пепельнице сигарету, – только у меня есть одно условие: машину поведу я, а ты будешь сидеть рядом. Да, и вот ещё что, котик, ты будешь абсолютно голый! Ну, разве что галстук можешь надеть.

– С ума ты сошла, Марина!

– Без комментариев, котик! Если согласен, то через полчаса выезжаем. А моральные издержки я возьму.

Она вытянула из сумочки пластиковую карточку и щёлкнула ею Романа по носу. – Здесь десять тысяч. Надеюсь, этого достаточно?

Он с трудом подавил в себе желание схватить её за тощую жилистую шею и душить, душить до тех пор, пока из плотоядного, ярко накрашенного порочного рта не послышатся предсмертные хрипы.

– И после этого я могу быть свободен?

Марина прикурила сигарету и, насмешливо глядя ему в глаза, выпустила прямо в лицо струю дыма.

– А как же, котик, абсолютно свободен...

«Вообще-то ничего особенного, – думал он, сидя на переднем сиденье белого «Ситроена», – ну вылезают глаза из орбит у тех, кто случайно заглядывает в салон. Подумаешь! Переживу!»

Он искоса посмотрел на Марину.

– Что, котик, хочешь выйти? Самое время свежим воздухом подышать.

– С чего ты взяла? – Роман насторожился. В голосе Марины слышалась издёвка. «Что она ещё придумала?»

Марина свернула на обочину и притормозила: «Приехали! Выходи из машины».

– Ты что, Мариш? Как же я выйду, я же совсем

голый, дай хоть рубашку надеть.

– Ты абсолютно свободен! – она выпустила из газового баллончика струю едкой жидкости, и это было последнее, что он запомнил...

Роман пришёл в себя в незнакомой комнате, со светлыми «ромашковыми» обоями на стенах. Через большое, открытое настежь окно в комнату проливался яркий солнечный свет. С улицы доносился лай собаки. Звонкий женский голос протяжно звал: «Малушка! Малушенька!» Роман встал с диванчика и, завернувшись в простыню, подошёл к окну, но ничего не увидел из-за разросшегося куста сирени. Тогда он прошёл через узенький коридорчик и наугад вышел на крыльцо. У колонки во дворе стояла молодая светловолосая женщина в ярком ситцевом платье. Среднего роста, крепкая, с тонкой талией и высокой пышной грудью, она показалась Роману бронзовой статуэткой – лучи утреннего солнца золотили её кожу, придавая ей тот восхитительный оттенок, которого так упорно добивалась Марина, регулярно посещая солярий. «Марина! Вот, чёрт!» – он сразу вспомнил всё, оставалось только выяснить, каким образом он очутился здесь. Женщина приветливо улыбнулась ему и крикнула:

– Доброе утро!

Роман молча кивнул в ответ, наблюдая, как она

несёт полное ведро молока.

– Очухался? Молочка парного выпьешь? А хочешь, есть вечернее, вчерашнее, только оно холодное. Или тебе рассолу принести? – хитро прищурилась она. Сверкнули в улыбке ровные белые зубы, из-под косынки выбилась непослушная золотисто-русая прядь. Она стала процеживать молоко через аккуратно сложенную вдвое марлю. Ромке вдруг нестерпимо захотелось сорвать с неё косынку и уткнуться лицом в пышные вьющиеся волосы.

– Ну что, так и будешь молчать? – она протянула ему полную кружку парного молока, и он, встретив взгляд фиалковых глаз, остолбенел. – Держи!

Роман выпил молоко залпом и, вытирая губы ладонью, наконец, произнёс:

– Как я здесь очутился?

– Я привезла. Вчера, еду из города, смотрю – лежит. Пьяный – не пьяный, мёртвый – не мёртвый, прислушалась, вроде дышишь. Только как есть – нагишом, а одежда рядом валяется. Погрузила в свой кузовок и привезла.

Он проследил взглядом за взмахом её руки и увидел стоящий у забора старенький «жигулёнок».

– Спасибо... Я попал... Со мной произошла

такая неприятная история...

– Да ладно тебе, – она улыбнулась, – легко отделался, парень. Могли бы и в милицию забрать, доказывай там потом, кто ты есть на самом деле. Как звать-то?

Он тонул в её светлых глазищах, опущенных густыми чёрными ресницами, и голова у него кружилась то ли от вчерашней дряни, которую плеснула в лицо Марина, то ли от взгляда незнакомки, проникающего в самую глубину души.

– Роман, – он опустил глаза не в силах более выдерживать её взгляда.

– А я – Лиза, – протянула она крепкую загорелую ладонь. – Ну, ты не стой, давай-ка, оденься, я вещички твои выстирала, и выгладить с утра успела. Вот только с обувью как быть – ума не приложу. Может у дяди Жени спросить, у тебя вроде нога небольшая?

– Да мне бы только до города добраться... Я верну. Спасибо вам, Лиза.

– Тогда, поторопись. Я сейчас в город собираюсь, нужно молоко на рынок отвезти. Заодно и тебя подброшу. Тебе куда нужно?

Он назвал улицу, и Лиза кивнула: «Знаю. Это недалеко от рынка».

Через час он сидел в своей квартире и

радовался, но не тому, что оказался наконец-то дома, а что есть повод снова увидеть Лизу – пакет с аккуратно сложенными шлёпанцами неизвестного ему дяди Жени лежал рядом на стуле. «Почему я не спросил, с кем она живёт? Неужели одна?» И, отвечая сам себе, чувствовал, как горячей волной поднимается внутри радость. «Конечно, одна, вот идиот, ведь мужской обуви в доме не было!» Два дня он провёл, валяясь на кровати и не выходя из квартиры. К телефону не подходил, а в гости, слава Богу, никто не приходил. На третий день понял, что сойдёт с ума, если сейчас же не увидит Лизу.

Он пересчитал оставшиеся деньги. «Две с половиной тысячи долларов. Не густо. Хотя, если не сорить деньгами направо и налево, недели на две хватит. Должно хватить! А за это время нужно найти работу... Ещё есть куча побрякушек и безделушек – можно будет продать. Выживу!» И всё это время внутри что-то согревало, какое-то ощущение тепла и света. «Лиза! Вот оно что. Только она – и никто другой!» Ладная, залитая солнечным светом фигурка, так и стояла перед глазами. Но мысль о том, что такая красивая, самостоятельная женщина не может быть одна, не давала покоя. «Ладно. Посмотрим. Но с прошлой жизнью покончено!» Ромка выбросил в мусорное ведро пачку разноцветных визиток. Туда же отправилась «симка» – «ни одного

номера из прошлой жизни!» На какой-то миг он остановился – в глубине души ожил червячок сомнения: «смогу ли?» Но только на миг. Он оделся, вышел из дому и вскоре уже подъезжал к окраине города. Рядом с заправкой (Ромке был хорошо известен хозяин этой заправки, вернее, его супруга) расположился небольшой цветочный магазинчик. Он вышел из машины и купил огромный букет белых роз для Лизы.

На этот раз Лиза была не одна. На скамейке сидел белокурый мальчуган лет пяти и за обе щеки уплетал малину. Славная мордашка его была перепачкана малиновым соком, который стекал по подбородку на бывшую когда-то белоснежной маечку.

– Хочешь малинки? – мальчуган протянул Роману глиняную кружку с розовым месивом.

– Спасибо, – улыбнулся Роман. – Ты что ж так перепачкался, а?

Малыш тяжело вздохнул, деловито осмотрел свои ручонки и зачерпнул новую порцию малиновой кашицы.

Из дому вышла Лиза, поздоровалась с Романом и всплеснула руками.

– Ах ты, свинёнок! А ну-ка, быстро мыться!

– Я не свинёнок, я – Димка! – обиженно буркнул мальчуган, но кружку всё-таки в



сторону отставил и отправился к колонке.

В стареньких, вытертых добела джинсах, в белой футболке, с заплетёнными в косу волосами, Лиза казалась совсем девчонкой. Димка вернулся и протянул ладошки, показывая – чистые, мол. Теперь малиновые разводы доходили до локтей, и Лиза рассмеялась, схватила сынишку за руку и повела в дом.

– Я быстро, Рома, только отмою и переодену его.

Минут через десять чистенький розовощёкий Димка вышел во двор, а вслед за ним появилась и Лиза.

– Проходи. Димкиной футболки должно хватить на полчаса, так что у нас есть время на чашку чая.

Роман протянул ей цветы.

– Извини, я не знал, что у тебя есть сынишка, а то бы обязательно захватил что-нибудь и для него.

– Спасибо, – Лиза зарделась от смущения, – только, как бы тебе это объяснить... Ладно, идём.

Войдя в комнату, она взяла вазу и вышла набрать воды. Роман подошёл к окну. Это окно выходило в сад, где цвели розы. Много роз. «Привёз цветочки, кретин!» – подумал с досадой Роман и оглянулся. Лиза виновато развела

руками.

– Можно я задам тебе один вопрос? Если не хочешь – не отвечай. Но я не могу не спросить.

– Можешь не спрашивать – отец Димки ушёл от нас три года назад. Уехал и всё. Через год мне по почте пришла выписка из решения суда – о разводе и коротенькое письмо с извинениями и просьбой понять его – он встретил другую женщину и полюбил по-настоящему. А меня, видимо, любил так, понарошку... С тех пор мы ничего не знаем о нём, да и не хотим знать.

– Как же вы живёте? На что?

– Живём, как видишь. Овощи и фрукты свои – с огорода. Молоко, сметана, творог – тоже, ещё и на продажу остаётся. Ну, а всё остальное покупаем – я же работаю.

– И сколько ты зарабатываешь, если не секрет?

– Не секрет, – улыбнулась Лиза, – но тебе-то это знать зачем?

– Помочь хочу. Ты же мне помогла, могу я как-то отблагодарить тебя?

– А ты уже отблагодарил. Розы вон привёз... Я и не помню, когда мне цветы в последний раз дарили, хотя их у меня в саду полным-полно, а всё равно – приятно.

Она поправила цветы в вазе и спросила:

– Ещё есть вопросы?

– Ты не ответила, сколько ты зарабатываешь?

– настойчиво продолжал допытываться Роман.

– Если я скажу тебе, что моя зарплата составляет четыре тысячи рублей, ты успокоишься? – в голосе Лизы чувствовалось раздражение. – Я понимаю, Рома, для тебя это мелочи, так, на мелкие расходы. Но, видишь ли, дело в том, что я за-ра-ба-ты-ваю эти деньги! Понимаешь?

– Не совсем, – насторожился Ромка.

– Она была здесь... И всё мне рассказала. Извини...

Ромка вдруг ощутил невыносимое жжение в ногах. «Ещё бы! Мокасинчики стоят ровно две её месячных зарплаты... Выпендриться хотел?! Альфонс несчастный! Доволен?! А жаль, что я не удавил эту тварь Марину!...»

– Лиза, а можно...

– Нельзя! – резко ответила она. – Можешь не продолжать. Я не приняла бы помощь даже в том случае, если бы ты заработал эти деньги! И давай прекратим этот разговор. Мне Димку пора кормить.

Он вышел вслед за ней во двор и не смог

удержаться от улыбки. На этот раз Димка был перепачкан чем-то тёмно-фиолетовым.

– Смородину ел? – догадался Ромка, а малыш разжал маленький крепкий кулачок и протянул смятые ягоды...

Роман стал приезжать часто, почти каждый день. Он подружился с Димкой, познакомился с соседями Лизы и уже представить себе не мог, как он жил раньше без обитателей светлого уютного домика, без тихой Лизиной улыбки, без спокойного ласкового взгляда фиалковых глаз её. Она, казалось, тоже была рада ему, но иногда он ловил в её взгляде какую-то отчуждённость, настороженность что ли... Он никак не мог решиться на разговор, но хотел, и в то же время боялся этого разговора, зная, что когда-нибудь всё равно придётся расставить всё на свои места. Ему удалось найти работу, правда, график был не совсем удобный – три дня через три – очень тяжело было без Лизы и Димки. Но тяжелее всего было привыкать к недостатку средств. Конечно же, денег не хватало. Первую свою зарплату он спустил в три дня. Продукты из дорогого супермаркета, огромный плюшевый медведь для Димки и... Он долго думал, что же купить для Лизы и выбрал, наконец, духи с волнующим свежим ароматом, едва уловимым, как дуновение весеннего ветра. От восьми тысяч остались копейки, до

следующей зарплаты было ещё далеко. Роман бросил в сумку золотые побрякушки, дары многочисленных «мадам». «Отнесу в скупку – хоть какие-то деньги будут...»

Лиза и Димка подаркам обрадовались, и Роман вздохнул облегчённо. Нет, насчёт Димки он не сомневался, а вот Лиза... Он очень боялся, что она откажется. Но она улыбнулась, открыла коробочку и, вдохнув свежий аромат, закрыла глаза.

– Нравится? – с надеждой в голосе спросил Роман.

– Знаешь, так пахнет Мечта, – в её глазах плескалась радость. – На что же ты будешь жить, транжира? Так не годится, Ромка, давай я хоть продуктами тебе помогу...

– Ты и есть Мечта, Лиза. О такой женщине как ты, можно только мечтать. Я так благодарен тому случаю...

Он не договорил, потому что у калитки притормозил хорошо знакомый ему «Ситроен». Эффектная брюнетка в ярко-красном кожаном брючном костюме вышла из машины и уверенно направилась к дому Лизы.

– Так вот, значит, где ты обрёл приют, котик? Ну что ж, не альпийское шале, но по крайней мере – чисто.

Марина смерила оценивающим взглядом Лизу, улыбнулась:

– О, Элизабет! – и одобрительно кивнула Ромке, – Недурно, котик... Если отмыть, вычистить грязь из под ногтей и приодеть – вполне! Или ты переполнен благородной благодарности? Не дала погибнуть такому красавцу в расцвете лет на обочине, в придорожной пыли! Ну и как тебе в её постельке? Она с тобой продуктами рассчитывается или как все, наличными?

– Что тебе нужно, Марина?! – побагровел Роман.

– Сущие пустяки, милый. Мелочь... Поговорить. – Она закурила, и Роман увидел, как дрожат её тонкие холёные пальцы.

– Ну что ж, давай поговорим! Только не здесь.

– Не здесь, котик, конечно не здесь. Знаешь, я тут кафешку присмотрела, совсем недалеко, и кухня приличная.

– Давай отойдём в сторонку – мне не до кафешек сейчас. Чего ты хочешь?

– Нет, пушистенский, это я хочу тебя спросить, чего ты хочешь? Скажи, я всё оплачу, – она открыла машину. – Садись, мне неудобно стоять, туфли новые – каблук высоченный... Да ладно тебе! Я сама не знаю, что на меня тогда нашло.

В салоне витал горьковатый аромат духов, смешанный с запахом ментоловых сигарет. Когда-то этот запах кружил ему голову. Сейчас же кроме чувства лёгкой тошноты ничего не вызывал.

– Возвращайся, Рэм, – в голосе Марины и намёка не было на высокомерие, – неужели тебе не надоело играть в кошки-мышки, а? Ты что же, графом Толстым себя возомнил? Землю желаешь пахать?

– О чём ты?

– О том, сладенький мой, что ходить по земле босиком в исподнем и предаваться любви в стоге сена, наверное приятно... Какое-то время... А что потом?

– Не знаю, – улыбнулся Роман, – потом Димка подрастёт...

– Не смейся, котик! Хочешь её осчастливить? Наплодишь кучу сопляков и будешь чистить навоз на пару со своей селяночкой?! Ты же не привык так жить! А ей нужен мужик, настоящий мужик, понимаешь? Чтобы и в доме, и на огороде, и ночами – в постели...

– Хватит! – Ромка вышел из машины. – Тебе лучше уехать и больше никогда здесь не появляться.

– Подожди! Рэм, скажи мне, чем она тебя

взяла, а? А впрочем, мне говорили, что в запахе пота есть какие-то особые летучие вещества, мать их! Феромоны – вспомнила! Так давай я не буду мыться!

– Дура ты. Лиза в сто раз чище тебя духовно, да и физически тоже. Мой тебе совет – рожай, пока не поздно.

– Подожди! Ну что мне для тебя сделать, скажи, я на всё согласна!

– А ты уже сделала, – он улыбнулся. – Если бы ты не выбросила меня тогда на обочину, я бы не встретил Лизу. Да и самого себя не нашёл бы...

– Как мальчишка в ловушку попался! Чем она тебя взяла, скажи, чем?

– Тебе не понять. Она увидела во мне человека, понимаешь? Не игрушку, купленную в секс-шопе, а человека! Если это ловушка, как ты говоришь, то я счастлив, быть пойманным!

Роман шёл по узенькой тропинке к дому, на крыльце которого сидели рядышком два самых дорогих человека в его жизни: женщина с фиалковыми глазами и мальчуган, уплетающий за обе щеки огромное красное яблоко.

[Оглавление](#)



## Лёля хадаша [1]

Осторожно прикрыв входную дверь, Лёлька сняла туфли, чтобы не стучать каблуками и на цыпочках прокралась в свою комнату. Облегчённо вздохнув, она протянула руку к выключателю и вздрогнула, услышав голос матери:

– Ну что, явилась, ночная бабочка?!

Наталья Павловна в халате, наброшенном поверх ночной рубашки, сидела в кресле у окна и очень напоминала привидение.

– Мама, – с упрёком сказала напуганная Лёлька, – когда ты, наконец, перестанешь меня воспитывать? Позволь тебе напомнить, что я давно выросла и два раза успела побывать замужем, а ты отчитываешь меня, как школьницу. Какая же я «ночная бабочка»?

– Вот-вот, – согласилась Наталья Павловна, – тебе дуре, лет под то самое место, на котором сидят, а всё туда же...

– Мама, почему бы тебе не пойти в свою комнату? Спать пора. – Лёлька уселась на диван и с наслаждением вытянула гудевшие от «шпильки» ноги.

– Пока ты шлялась неизвестно где, приходила

Сонька. – Наталья Павловна протянула Лёльке записку и, видя недоумение на лице дочери, пояснила, – ну Сонька Шойхет, забыла что ли?

– Нет, не забыла, что ты? – Лёлька развернула листок.

Как можно было забыть Сонечку Шойхет, единственную Лёлькину подругу. Сонькина семья жила в маленькой комнатухе, пожалуй, самой маленькой в их огромной коммуналке. Лет шестнадцать назад, почти сразу после смерти бабы Поли – Сонькиной бабушки, Сонька уехала с родителями в Израиль. Поначалу девочки переписывались, но потом Сонька как в воду канула. Во всяком случае, на десяток последних писем Лёлька ответа не получила и писать перестала.

– А с кем она приехала, с дочкой или одна? И где остановилась?

– С дочкой приехала, как её... Имя такое мудрёное. – Наталья Павловна достала из кармана фотографию.

– Рейчел, – напомнила Лёлька, рассматривая снимок, с которого ослепительно улыбалась темноволосая красавица, ничего общего с Сонечкой Шойхет не имеющая. Красавица обнимала за плечи девочку-подростка с невероятным количеством серёжек в ушах.

– Верно, Рейчел. Рахия, стало быть, по-нашему. Я ночевать оставляла, но Сонька отказалась, сказала, что они в гостинице остановились – у них, мол, так принято.

– Выросла как Рейчел, совсем взрослая! Ей ведь пятнадцать в этом году исполнилось.

– Да, и не говори – вполне половозрелая... особь женского пола. В носу – кольцо, губа – проколота и в ней тоже кольцо, в пупке – серьга...

Я её спросила, не удержалась, насчёт... – там-то что, неужто тоже кольцо? – Наталья Павловна осуждающе покачала головой.

– Мама! Ну, как ты могла? Дети сейчас все на этом помешаны. Обиделась, наверное?

– Кто? Рахия? Какой там! – махнула рукой Наталья Павловна, – Даже и не посмотрела на меня, всё жвачку свою жевала. Вся в наколках – ну чисто зэчка. А волосы красного цвета. Красного! Так бы взяла за патлы-то, да оттаскала. Тьфу!

– Мама, иди-ка спать, а то, ты такую чушь несёшь, слушать не хочется.

Лелька выпроводила Наталью Павловну из комнаты и ещё раз взглянула на фотографию. Да, где же ты, Сонечка Шойхет? Где твой миленький веснушчатый носик, где копна

каштановых волос, вьющихся «мелким бесом»? У красотики на фото носик был идеально прямым, а длинные, гладкие пряди с эффектом «выгоревших волос» спадали на обнажённые плечи. И – ни единой веснушечки! Это у Сонечки-то!

А Рейчел действительно выглядит вызывающе. Ну что же, возраст видимо такой, трудный, все они в этом возрасте чудят... Хотя... Лёлька вспомнила себя, когда после школы ей пришлось работать продавцом на оптовом рынке – тут уж не до самовыражения. Однако всё обошлось. Правда, личная жизнь так и не сложилась ни с первым, ни со вторым мужьями.

Она долго не могла уснуть, перебирая в памяти детские годы. Вспомнилось, как Сонечкина бабушка тётя Поля кормила их вкусными пирожками со смешным названием «уши Амана» [2]. Кем был этот Аман, Лёлька тогда понятия не имела, знала только, что пирожки эти она пекла на какой-то праздник. А когда на стареньком примусе в общей кухне тётя Поля готовила «рыбу фиш», (Лелька ещё смеялась тогда: рыба рыбная?) аппетитный запах наполнял всю огромную коммунальную квартиру. Но больше всего Лёлька любила янтарный куриный бульон с хрустящими булками (так тётя Поля называла мондалах – шарики из теста, обжаренные в масле до золотистого цвета).

Лелька с ужасом посмотрела на часы – светящееся табло показывало четверть пятого. А завтра встать нужно пораньше – в записке Сонечка приглашала приехать в гостиницу, где они остановились. «Что бы такое надеть, попримечнее?..» Лелька начала мысленно перебирать содержимое своего шкафа и незаметно уснула.

В небольшом ресторанчике на первом этаже гостиницы было многолюдно и шумно.

– Ну, подумай сама, разве так можно жить, как вы живёте? Ютитесь в коммуналке, ты вкалываешь сутками за копейки. О маме подумай, она же на несколько лет моложе моей, а выглядит дряхлой старухой. А моя, как вышла на пенсию, – весь мир объездила. Вот и сейчас, в Швейцарию укатила. Решайся, Лёль. Насколько мне известно, мать Натальи Павловны – твоя бабушка, была еврейкой, ведь так? – Соня говорила с лёгким акцентом, и буква «р» горошинкой каталась в словах.

Лелька утвердительно кивнула.

– Значит, с выездом проблем не будет. Что тебе здесь терять?

– А мама? – Лёлька и представить себе не могла, чтобы Наталья Павловна согласилась уехать в Израиль. Во всяком случае, реакция её на отъезд соседей была крайне негативной.

– Вот странная! Да она тебе только благодарна будет, а может, со временем и её перетянешь. Устраиваются же люди как-то, находят лазейки. И ты найдёшь; будешь ты там «Леля хадаша», – рассмеялась Соня.

– Сонечка, а может мне сначала стоит в гости приехать? – неуверенно спросила Лёлька, – посмотреть всё, а вдруг мне не понравится...

– В гости? – улыбку с Сониного лица как ветром сдуло, – не потянешь, мотек [3], слишком дорогое удовольствие. К тому же, если вызов я буду делать, мне залог вносить придётся.

– Какой ещё залог?

– Кругленькую сумму, и пока ты не покинешь страну, мне её не вернут. А если проблемы какие-нибудь возникнут, виза просрочена или с полицией трения, так я вообще денег не увижу.

– Да что ты, Сонечка?! – Лёлька крепко обняла подругу. – Разве я могу тебя подвести? И потом, я же могу работу найти, зачем же мне на шее у тебя сидеть.

– Можно, конечно, – усмехнулась Соня, – горшки выносить в доме престарелых или квартиры убирать. Многие ваши так устраиваются, два-три никайона (уборка квартир) тянут.

Лёльку неприятно резануло слово «ваши», но

она промолчала.

– Только имей в виду – там вкалывать надо! Никто тебе за «просто так» платить не будет, это не «совок».

– Я работать умею и никакой работы не боюсь, если ты не забыла. – В голосе Лёльки слышались нотки обиды.

– Ладно. Бэйсэдэр! Я постараюсь.

Спустя три с половиной месяца, Лёлька спустилась по трапу самолёта в аэропорту имени Бэн-Гуриона и попала в, прямо скажем, не слишком горячие объятия подруги детства. Соня вела машину уверенно, так, будто бы с пелёнок только этим и занималась. Путь их лежал в Рамат-Ган, и Соня решила изложить план Лёлькиного пребывания на Святой Земле.

– Домработницу я уволила, слишком возомнила о себе, олимпика [\[4\]](#), а тут как раз ты подросла. И знаешь, как здорово я всё придумала? Будешь работать у меня – никакой работы тебе искать не надо. Жить будешь в комнате для прислуги. Ты не думай, это только название такое, а на самом деле – комната большая, светлая, с мебелью; туалет и ванная свои, отдельные. По сравнению с твоей каморкой – шахский дворец.

Лелька слушала невнимательно, всё больше глаза по сторонам.

– Сонь, это что? Фикусы? – взвизгнула она, заметив деревья со знакомыми листьями. Они что, здесь прямо на улицах растут? А это что, неужели бананы?

– Подумаешь, нашла чему удивляться, – равнодушно пожала плечами Соня. – Не отвлекайся, слышишь? Так вот, платить я тебе буду десять шекелей в час, заметь – это очень много, обычно вашим платят шекелей шесть-семь. В день получается – сто шекелей, но за питание, воду, свет, телефон буду высчитывать, понятно?

До Лёльки, похоже, только сейчас дошло, что, хотя и бывшая, но всё равно лучшая и единственная подруга нанимает её на работу.

– Сонечка, да я бы тебе и так помогла, зачем платить-то?

Соня поморщилась.

– Оставь, пожалуйста, свои совковые замашки. Тут другой мир, другая жизнь, понимаешь? Я в твоей помощи не нуждаюсь, я в состоянии тебе заплатить. – Заметив, как обиженно дрогнули Лёлькины губы, Соня чуть мягче добавила, – Не обижайся, так все делают, и это правильно.

Прислуга из Лёльки получилась вполне приличная, хотя поначалу она была насмерть перепугана обилием бытовой техники в доме



Сони. Из знакомых ей бытовых приборов был только пылесос, да и тот подлец, при попытке воспользоваться им, удивил Лёльку отсутствием мешка для пыли. Вместо этого у него имелся небольшой контейнер, куда заливалась вода. Но постепенно Лёлька освоила всю премудрость управления бытовой техникой, и в доме воцарились чистота и порядок. У неё был даже выходной, начинался он в пятницу после обеда, а заканчивался в субботу. Лёлька смогла выбраться и в Иерусалим, – уж очень хотелось там побывать; и в Хайфу, где ей очень понравилось, и к реке Иордан... Но больше всего Лёлька любила бродить по шумным арабским базарам. Она чувствовала себя так, будто бы попала в сказку из «Тысячи и одной ночи». Соня её увлечений не разделяла, да и отношения между ними сложились так, как и должны складываться отношения между хозяйкой и прислугой. Совершенно неожиданно Лёлька подружилась с Рейчел. Девочка оказалась очень дружелюбной и доверяла Лёлька сердечные тайны, взяв с неё обет молчания: «Маме – ни слова!» Рейчел делилась с ней самым сокровенным, и Лёлька всегда внимательно выслушивала её, давая иногда кое-какие советы. Однажды Рейчел пришла с прогулки заплаканная и против обыкновения не заглянула на кухню, где Лёлька, как обычно, возилась у плиты. Поздно вечером она осторожно постучала в

комнату девочки.

– Можно войти, Рейчел?

Ответа не последовало. Тогда Лёлька тихонечко приоткрыла дверь и увидела, что Рейчел, уткнувшись в подушку, горько плачет. Лелька подошла, молча обняла девочку, и та, обхватив Лёльку за шею, прошептала сквозь слёзы: «Скажи, Лёля, я – красивая?» «Конечно, маленькая моя, ты самая красивая!» – ответила Лёлька, гладя Рейчел по голове. «Да нет, я не о том... Я понимаю, для тебя и для мамы – да, а вот для мальчика... В меня можно влюбиться?»

«Конечно можно, глупенькая. И, поверь мне, очень скоро так оно и будет – в тебя влюбится самый лучший парень на свете!»

«Правда? – Рейчел всхлипнула, – а я думала, что никто меня не полюбит. Мне ведь скоро шестнадцать, а я ещё даже не целовалась ни разу по-настоящему... Леля, а ты меня очень любишь?»

«Что за вопрос, солнышко? Конечно, люблю».

«А мама говорит, это потому, что у тебя своих детей нет. Чужих любить легко – никаких забот, а вот своих – труднее всего. Ой, прости, прости пожалуйста, я не хотела тебя обидеть». Рейчел ещё крепче обняла Лёльку и вскоре уснула, успокоенная. А Лёлька потом долго не могла

уснуть, пытаясь разобраться в себе, в своих чувствах к Рейчел. Она действительно всей душой полюбила эту взбалмошную и колючую девочку, безошибочно угадав под внешней грубостью и заносчивостью доверчивое, ранимое сердечко. Оттого ли это произошло, что своего ребёнка не было или по каким-то другим причинам, Лёльке было неважно. Рейчел стала для неё и дочерью и, как ни странно – подругой. Ведь только ей Лёлька могла теперь рассказать то, о чём Соне уже никогда бы не рассказала.

Приближалось девятое января – день рождения Рейчел, и Лёлька никак не могла придумать, что бы такое ей подарить. У Рейчел было всё, о чем только может мечтать девочка в её возрасте. Зная об её увлечении тату, Лёлька решила оплатить дорогую цветную наколку в виде дракона с огромной огнедышащей пастью. Девчонка была на седьмом небе от радости. Дома она гордо продефилировала перед Соней с оголённым плечом, где и разместился красавец-дракоша, и умчалась в свою комнату. Соня же пришла в ярость.

– Ну, мать, ты даёшь! Я тебе наличные зачем выдавала? На карманные расходы. А ты на что тратишься? Да и где это видано, чтобы прислуга делала подарки детям хозяев?!

– Я не прислуга, Соня, – побледнев,

возмутилась Лёлька.

– А кто же ты, позволь узнать? Может быть, английская королева здесь у меня посуду моет? Королевские подарки моей дочке делает, а я и не знаю, что сказать, Ваше Величество. – Соня склонилась в издевательском реверансе. – Деньги транжиришь? У моей дочери есть всё!

– Мне хотелось девочке сделать приятное, что в этом такого? Да и не твоё это дело, на что я трачу свои деньги.

– Нет, дорогая, это как раз моё дело. Я же для тебя стараюсь, как ты понять не можешь? Что у вас у русских за манеры такие, вечно лезете со своей душой нараспашку.

Лелька встала, вышла на кухню и принялась загружать грязную посуду в машину, но Соня не унималась.

– Чего ты фыркаешь? Подумала бы лучше о своей матери. Учти, будешь и дальше так себя вести – никогда не приживёшься здесь. Мало ли, что было когда-то, сейчас это не имеет значения. Подругами мы были «там» и в детстве, пойми! Нет, странный вы народ, «совки».

Лелька достала моющее средство, залила его в дозатор и запустила машину. Затем, резко развернувшись, спросила:

– Давно ли ты перестала быть «совком»?

Видимо, давненько, а может, память у тебя короткой оказалась. Иначе, ты бы не забыла, как мы жили в одной квартире, как ездили к моей бабушке на дачу. ...А ещё ты бы не забыла наш двор, нашу улицу. Плохо тебе тогда жилось, Сонечка? Отчего же ты ревела белугой, когда уезжала, а? Отчего письма мне писала на полтетрадки? Теперь я понимаю, почему ты вдруг замолчала – ни одного письма, – в израильтянку превратилась.

– Хватит! Устроила мне здесь вечер воспоминаний. – Соня отвернулась и подошла к окну, чтобы скрыть непрошенные слёзы.

– Да нет, Сонечка, ты послушай. Может и вспомнишь свою жизнь в «совке»; конечно, в ней было и плохое, но хорошего, светлого было куда больше. Так зачем же ты отрещиваешься от своего прошлого, ведь это твоё детство, твоя юность, Соня. Стыдно тебе, что ты из «совка»? Только чего же здесь стыдиться.

– А ты думаешь, мне легко здесь было. Это Рейчел моя – сабра [\[5\]](#), а я была «оля хадаша», тебе не понять, что это такое. Я была такая же дура, как и ты, тоже бегала со своей русской душой нараспашку. А мне говорили: убирайся в свой занюханный совок, жидовка. Это я сейчас поумнела, а тогда мне очень тяжело было. Вот я и хочу, чтобы ты сразу знала, как здесь надо

вести себя, иначе – в люди не выбиться.

– Ладно, Соня, – Лёлька подошла к подруге, обняла её и вытерла выступившие слёзы, – через три дня я уезжаю, ты там вычти всё, что я должна тебе. Спасибо тебе, несмотря ни на что. А с переездом повременю, – вряд ли я приживусь здесь. Я хоть и еврейка, да душа у меня – русская, это ты правильно сказала.

– Я хотела спросить, что тебе в подарок купить? Или, может деньги лучше? – Соня отстранилась, но тон был совсем другим, примирительным, даже заискивающим.

– Нет уж, Сонечка, лучше что-нибудь купи; всё равно, что – я буду рада любому подарку, память всё-таки, – Лёлька вздохнула, – слушай, я завтра не пойду в ресторан, хорошо? Ну что я там буду делать?

– Мне всё равно. – Соня пожала плечами. – Но вот Рейчел... Она может обидеться. Знаешь, я даже ревную немножко её к тебе. И почему ты не завела себе ребёнка, ведь была возможность. Из тебя бы вышла замечательная мама. А в ресторан тебе придётся пойти, я себе представляю, как Рейчел отреагирует на твой отказ».

– Потому что завести можно собаку... Или кошку. И это тоже ответственность большая. А дети должны рождаться в любви.

Рейчел чуть не расплакалась, когда узнала, что Лёлька не хочет идти в ресторан, поэтому пришлось пойти. Гостей было много – в основном друзья Рейчел, но были и знакомые Сони. Ави, отец именинницы, приехал с опозданием, поздравил дочь, что-то сказал Соне и уехал.

Почти весь вечер Лёлька просидела за столиком, наблюдая за гостями. Все веселились от души, вот только одна девушка почему-то не принимала участия во всеобщем веселье и тоже сидела одна за соседним столиком. Лёлька встретила с ней взглядом, и её поразили глаза девушки, совершенно безжизненные, пустые. Девушка встала и направилась к выходу, и тут Лёлька заметила под столиком забытую сумку. Она окликнула девушку, но та лишь ускорила шаг, хотя музыка в этот миг не играла, и крик Лёлькиной она наверняка слышала. Лёлька ещё раз посмотрела на сумку, и тут в голове у неё что-то щёлкнуло, словно сложилась недавно увиденное ею: автобусная остановка, кем-то забытая сумка, взрыв... звон разбитых стёкол, чёрный дым, крики раненых, кровь... Лёлька тогда находилась как раз на этой остановке, – ждала автобус, чтобы поехать в гости к маминой бывшей сотруднице, которая теперь жила в Израиле. Страшная догадка пронзила Лёльку. Она вскочила из-за столика, но в этот момент к ней подбежала Рейчел.

– Пить хочу, Лёля. Налей мне, пожалуйста, вон тот сок, манговый.

Лелька, что было сил, толкнула девочку на пол и сама упала сверху, закрыв её собственным телом. Раздался взрыв, и весь зал заволокло чёрным густым дымом. Всё повторилось, как на той остановке: звон разбитых стёкол, крики, кровь... Только ничего этого Лёлька уже не слышала... Не слышала она и Сонин крик, и то, как Рейчел рыдала, обнимая бесчувственное тело «Лёли хадаши».

Пять лет спустя в уютной одноместной палате родильного дома лежала темноволосая девушка с татуировкой на плече в виде дракона. Вплотную к её кровати была придвинута детская кроватка, и там сладко посапывала смугленькая малышка. Дверь в палату открылась, и Рейчел (конечно же это была она) приложила палец к губам.

– Т-с-с-с... Только уснула.

– Опять мы не успели на кормление, – высокий худощавый парень присел на кресло. Соня осталась стоять у двери.

– Ты уже решила, как назовёшь девочку? – шепнула она и в тот же миг, встретив взгляд дочери, поняла, что можно было обойтись и без этого вопроса.



Конечно, мама, – улыбнулась Рейчел. – У неё давно уже есть имя. И ангел-хранитель с русской душой по имени Лёлька.

---

[1] Здесь игра слов: Лёля – Оля. Оля хадаша – репатриантка (ивр.) [к тексту](#)

[2] «Уши Амана» – гоменташен. Треугольные пирожки со сладкой начинкой, которые пекут на еврейский праздник Пурим. [к тексту](#)

[3] мотек – милая (ивр.) [к тексту](#)

[4] олимка – искажённое от оля хадаша (ивр.) [к тексту](#)

[5] сабра – коренная израильтянка (ивр.) [к тексту](#)

[Оглавление](#)

# Вторые руки

Что заставляет людей покидать насиженные места?

Почему родной, плоть от плоти которого ты есть, город, становится чужим, ненавидящим тебя и тебе же ненавистным?

Что такое происходит, после чего оставаться в родном городе невыносимо, и уезжают люди, бегут от тех, кто им причинил зло, либо бегут от себя, ибо сами источником этого зла и являются.

И те и другие забывают о багаже. Нет-нет, не о баулах и чемоданах, трясущихся в багажном отделении самого скорого поезда в мире. Люди забывают о себе, ведь багаж этот – они сами, а от себя, как известно, сбежать невозможно.

Зачастую тот, кто совершает зло, мучается куда больше, чем тот, кому это зло причинили, потому и бежит, соответственно, дальше, дольше и быстрее. Но – тщетно.

Люди играют в правосудие и в ответственность, с древнейших времён показательной публичной игрой была и остаётся смертная казнь; люди постигают правила игры под названием жизнь с детства, а когда вырастают, меняют плюшевые игрушки на... себе подобных, но все наказания – полнейшая чепуха

по сравнению с неминуемым возмездием, с моментом, когда вершится настоящий суд, вершится тем, кто вправе вершить его. Возомнившие о себе и возведшие себя в ипостась высшую, недоступную, недостижимую, не слишком ли часто мы говорим: «Никогда не прощу!», или того хуже «Я тебя прощаю...», забывая о том, что прав ни на первое, ни на второе не имеем.

«...Если вязать две лицевых и две изнаночных, чередуя, получается довольно симпатичный узор, вполне подходящий для этого свитера. Осталось самое малое – воротник, а потом сшить рукава, спинку... Пустяки. Завтра закончу.

И начну ажурную шаль. Огромную. Чтобы можно было закутаться в неё... накинуть на обнажённые плечи. И пускай бахрома свисает до самых кончиков золотистых туфель на тоненьком каблучке; сквозь ажурное сплетение будет просвечивать лёгкая ткань вечернего платья и розоветь нежная кожа... И не будет видно рук, их тоже можно упрятать в бахрому. Хотя... Нет. Без перчаток, пожалуй, не обойтись...»

Женщина отложила вязание и подошла к окну. На углу улиц Елизабетес и Тербатас, как всегда в это время, было многолюдно. Люди возвращались с работы домой, где в уютных

оранжереях кухонь расцветали васильковые розетки газовых конфорок под чайниками, и чайники, закипая, пускали облачка пара и свистели на разные голоса.

Ничего подобного в квартире женщины не происходило уже давно. Единственное существо, разделяющее с нею размеренное, однообразное течение времени, было равнодушно к чайникам и чаепитиям. Чёрный, вечно взъерошенный галчонок, в котором женщина души не чаяла, которому прощала и вытянутые спицы из вязания, и спутанные нитки, и разбитое стекло на фотографии в рамочке, попал в её квартиру самым невероятным образом: ранним летним утром он влетел в открытое окно и спикировал прямо на раскалённую сковородку, куда женщина собиралась налить масла – омлет с ветчиной и яблоками был её привычным завтраком.

Страхнув испуганного галчонка со сковородки, она рассмеялась, – впервые с того дня, как тяжкий недуг одолел её.

Галчонок получил имя – Савелий, довольно скоро научился говорить «привет», «шарман» и «кошмар», и называть себя по имени – «Савушка». Кухню Савелий невзлюбил и никогда там не появлялся, зато обожал комнату с балконом и книжным шкафом, за стёклами

которого спал целыми днями, удобно устраиваясь в промежутке между стеклом книгами.

Женщина протянула руку. Савушка уселся на ладонь и слился с чёрными пятнами, покрывающими нежную кожу.

«Восточная красавица, – дал же Господь внешность, а за ней, наконец-то, я. Два с половиной часа убить в очереди, и ради чего? Чтобы попасть к ясновидящей, которая к тому же, как говорят, совершенно слепая. Хотя... судьбу угадывать – другое зрение нужно... Ванга тоже была слепая, а видела лучше всех вместе взятых зрячих. Но эта, как её... Богдана – не Ванга. Денег не берёт. Интересно, на что же она живёт. Неужели на пенсию по инвалидности? Может не лишним будет и о Сергее узнать. Хотя... если ясновидящая – сама должна всё рассказать. Всё. Ни слова не скажу – буду молчать. Посмотрим, насколько ясно её видение. А вдруг она мне сейчас что-то плохое предскажет... Вот влипла...»

На картах или на кофейной гуще, на рунах или на картах Таро хоть раз в жизни приходилось гадать каждой женщине. Самые отчаянные гадают в ночь под Рождество, в Сочельник. Зеркала ставят, свечи зажигают, воск выливают в воду.

Другие верят, что если в Купальскую ночь венок сплести да по воде пустить, можно к своему суженому прийти; главное, чтобы не утонул венок – тогда жди беды, даже если суженый где-то совсем рядом.

Впрочем, сбываться пророчеству совсем необязательно. Погадали – и забыли... если что-то сразу происходило, может быть, ещё и помнили: ну как же, как же, тебе ведь вчера бубновый валет выпал – а это хлопоты бумажные – вот и сиди теперь с бумагами, разбирайся, пока шеф с Леночкой (вообще-то, это её, Леночки, обязанность – секретарь она, а не ты. Но шеф её всюду с собой таскает, а тебе достаются её обязанности – хлопоты бумажные...).

Но чтобы по-настоящему, осознанно в будущее заглянуть, не каждый отважится. И уж если идут люди на такой шаг, то в самых крайних случаях.

Живёшь себе – не задумываешься. Жизнь идёт обычным ходом: работа, дом; вроде бы любящий и уж точно – любимый муж, поездки по выходным за город – на шашлычок, походы в кино, реже – в театр. Сергей театры не любил, а Галка соглашалась с его нелюбовью.

Подарки ко дню рождения, ко дню ангела, к Новому году, к восьмому марта... И к очередной годовщине свадьбы, конечно же. И как только он

угадывал? Всегда дарил самое необходимое: крем закончился, значит – крем, духов осталась последняя капелька – значит духи. Правда, в последнее время, чаще всего – конверт с деньгами, «дежурный» поцелуй и фразу «купи себе что-нибудь...».

Тихое семейное, казавшееся незыблемым счастье, рухнуло с неожиданным уходом Сергея, который Галка перенесла тяжело. Махнула на жизнь рукой – ничего не интересовало. Кроме одного: почему он ушёл вот так, молча. Жили тихо, мирно, не ссорились, и вдруг...

Ниночка – школьная подруга, звонила по десять раз на день и убеждала подать на развод. Говорила, что сразу станет легче. Ведь для того, чтобы в твою жизнь пришло что-то новое, надо избавиться от старого – расчистить место.

И действительно, после того, как Галка оформила официальный развод с Сергеем, она словно духом воспрянула: похорошела, повеселела, ремонт сделала в квартире, новый диванчик купила.

Правда, после всего этого усталость какая-то странная навалилась. Да и её бы Галка перенесла, но соседка, тётя Рая проходу не давала: «...и бледненькая ты, и какая-то невесёлая, и квёлая какая-то... Уж не больна ли ты чем, Галочка?»

Галка отмахивалась: «Глупости какие – всё со мной в порядке. Подумаешь – бледная. Не выпалась – вот и всё. А невесёлая – оттого что невесело».

Сама она понимала – творится что-то неладное. Лёгкая на подъём, весёлая щебетунья, похожая на маленькую птичку женщина, тоненькая, вёрткая, с чёрной, непослушной, вечно лезущей в глаза чёлкой, с замечательной смуглой кожей и огромными серыми глазами, вдруг притихла.

А всё началось после того, как однажды в обеденный перерыв Галка забежала к Ниночке, – в огромный магазин «Секонд-хенд». Та иногда звонила ей, если попадалось что-нибудь интересное среди вещей. Подруга давно настаивала на полном обновлении Галкиного гардероба, но Галке жаль было расставаться с некоторыми вещами. Да и к вещам «чьим-то» отношение у неё было не очень хорошее. Неприятно было сознавать, что эту блузку или вот этот сарафанчик кто-то до тебя уже носил. Кто его знает, какой он, этот «кто-то»...

Ниночка относилась сомнения подруги к предрассудкам: «Подумаешь! Постирать можно. Тем более что вещи совсем новые попадают, и какие вещи! Знала бы ты, какие дамы у меня одеваются! А всё потому, что понимают: здесь



можно настоящую дизайнерскую одежду за копейки купить. А в бутиках – Китай, что бы они там тебе не рассказывали о договорах и прямых поставках».

И Галка согласилась. Времени в обеденный перерыв было достаточно, и она решила им, наконец-то, распорядиться по-своему, получив на прощание два взгляда: недовольно-тяжёлый – шефа и грустный, влажно-просящий, «со слезой» – Леночкин.

Поднявшись на второй этаж, она расцеловалась с хорошенькой Ниночкой, кивнувшей на пакет и...

Осторожно, одними кончиками пальцев вытянула умопомрачительную тунику кораллового цвета. Натуральный шёлк даже на взгляд был нежен и лёгок, «веял древними поверьями...» – не иначе.

Только в руки взяла, сразу поняла – оно.

Так бывает: самая обыкновенная, незамысловатого фасона, простенькая тряпица сразу же становится королевской мантией, если попадает по назначению. Это связано с цветом ауры. Но совершенно необязательно иметь «третий глаз», чтобы определить – вещь к лицу. А уж такая роскошь, как натуральный шёлк!

Интуитивно Галка почувствовала «свою» вещь.

Ей шли все оттенки персикового и кораллового: глаза становились жемчужно-серыми, взгляд глубоким, волнующим. А кожа начинала излучать какое-то особенное сияние, светиться изнутри, как тончайший древний фарфор.

Подошла к зеркалу, приложила тунику к груди, и сразу же молодой Ниночкин напарник, улыбочивый Рашид, восхищённо зацокал языком и начал исполнять какой-то древний ритуальный танец вокруг смущённой Галки.

– Ах, красавица моя... Бери! Подарок тебе. И как тебя только муж отпускает одну, а? Украдут ведь, Аллахом клянусь, – украдут!

– Да тише ты, – Галка смутилась, – люди кругом! Кто меня украдёт, ты в своём уме?

– На моей родине, дивная моя, тебя бы давно уже украли, – Рашид перешёл на шёпот, – ваши мужчины не умеют ценить красоту женщины!

– А ваши умеют? В паранджу прятать... Или во что вы там их упаковываете?

– Ай, нежная моя, ты не так всё понимаешь, совсем не так. Мы поклоняемся женщине, как богине! Эх, ничего ты не понимаешь... – он огорчённо махнул рукой, но тунику упаковал, и Галка могла бы просто поблагодарить за подарок и уйти, но всё-таки выложила деньги. Кто знает, что у него на уме...

– Один уже дарил, столько дарил...

Ниночка, наблюдавшая эту сцену с улыбкой, повела плечиками:

– Ты платишь? Зря! Рашидик бы заплатил... сходишь с ним в ресторан – и всё!

– Конечно, плачу, – Галка схватила пакет с туникой, – я не люблю восточную кухню. Созвонимся, Ниночка.

– Ай, гордая моя, – зацокал языком на весь павильон Рашид, – что за женщина! Всю жизнь искал... оставь телефон, красавица.

Но Галка уже неслась к выходу под перекрёстным обстрелом завистливых взглядов женщин, покупательниц ношеного, но вполне ещё приличного, европейского тряпья, которым были завалены магазины города.

А после выходных, выйдя из дому в «обновке», она встретила во дворе соседку.

– Галочка! – Тётя Рая прижала руки к груди, – да что это с тобой такое? Ты не захворала часом?

Галке было не по себе. Какая-то тяжесть навалилась со вчерашнего вечера, вялость. А ко всему этому добавилась ноющая боль в руках.

– Может, сглазил кто, – сочувственно шепнула тётя Рая, – вон сколько сейчас и пишут об этом, и говорят. Много людей развелось недобрых,

много. Позавидовал кто – и всё!

– Чему завидовать-то, тётъ Рай? – не выдержала Галка и рассмеялась. Чёрная её чёлка рассыпалась непослушными прядями-пёрышками.

– А ты послушай-ка, Галчонок, – перешла на шёпот соседка, – я тебе один адресок дам. Сходи – не пожалеешь. Вреда тебе это не принесёт, а вот польза будет – это точно. Провидицу эту Дана зовут, Богдана – полное имя. Сходи, не артачься, денег она за приём не берёт – не то, что вся эта шушера.

– А как же расплачиваться с ней? – Галка почему-то уже знала, что пойдёт.

– Там тебе всё скажут.

Восточная красавица вышла вся в слезах – видать, не много счастья посулила ей провидица. Галка уже почти была готова сбежать из маленького коридорчика-приёмной, но всё-таки вошла в открывшуюся дверь. Она попала в абсолютно белую комнату, посередине которой стоял стол; в центре стола – нефритовая, невиданной красоты чаша с водой. Два венских стула с бледно-зелёными подушками-думочками на сиденьях и ширма, ширма из чёрного атласа, отделанная перламутром и расшитая зелёным шёлком. Из-за неё-то и вышла самая обычная женщина. Не высокая и не маленькая, не полная

и не худая, в чёрном, наглухо застёгнутом, длинном платье, ничем особенным не отличающаяся. Разве что неестественной белизной кожи, которую подчёркивали чёрное платье и чёрные очки.

– Не бойся. Я – Дана.

Голос приятный, успокаивающий...

– Садись, – она указала на стул. – Положи руки на стол и закрой глаза.

Галка всё сделала так, как велела провидица и успокоилась.

– Можешь открыть глаза, – теперь Дана сидела напротив Галки. – Смотри на чашу и мысленно представляй всё, что тебя тревожит, с чем ты пришла ко мне. Только мысленно – ни слова вслух – понятно?

Галкина тревога тонула в зелёной матовой глубине... Она не знала – о чём думать. О том, что не высыпается в последнее время, хотя спит больше, чем раньше? О том, что странные, судорожные боли в руках стали привычкой? О том, что к зеркалу подходить не хочется? Разве это заслуживает внимания...

Неожиданно, на передний план выплыла коралловая туника, всё заслонив собой, и Галка увидела себя: с серебряным тюрбаном на голове, босую, изгибающуюся в каком-то страстном

восточном танце.

«У меня нет такого тюрбана, – подумалось ей, – ...красиво, – словно я сказочная принцесса... И откуда столько шёлка, неужели это всё моя туника?..»

Коралловые волны беззвучно колыхались у ног. Голова кружилась. Дышать становилось всё труднее и труднее, – казалось, что воздух стекает коралловым шёлком, обвивается вокруг и душит... она подняла руки, чтобы сорвать с себя тугие коралловые волны и закричала: нежную кожу покрывали уродливые чёрные пятна...

– Постой-ка,.. – голос Даны принёс облегчение, и коралловое удушье отступило, – она сейчас недалеко... в Москве.

– Кто? – шепнула Галка, испуганно рассматривая свои чистенькие розовые ладошки. Коралловый кошмар исчез. Она находилась за столом в абсолютно белой комнате с ширмой.

– Владелица этой туники говорит по-русски. Она её подарила... одной очень дурной женщине. Подарила, чтобы та...

Дана заслонила рукой, как от сильного удара. Провидицу качнуло, и она начала медленно оседать на пол.

– Что с вами? Вам плохо? – ничего не

понимающая Галка бросилась ей на помощь.

– Пустяки, – чуть слышно произнесла та, – а вот с тобой плохо. Ты должна как можно скорее найти её. Она в Москве... Метро «Смоленская»... Гостиница «Арбат». Зовут её Марта.

Дана коснулась тонкой прохладной рукой Галкиной переносицы, и тотчас возникла перед глазами миловидная женщина средних лет, средней полноты, загорелая, с сумкой через плечо. На сумке надпись: AGIR.

– Рассмотрела? Это твой единственный шанс. Если не найдёшь её... Должна найти!

– Сколько я вам должна?

– Найди её. Пусть отпустит. Это... всё. – Дана сняла очки, и Галка увидела, что провидица слепа. Абсолютно слепа.

И от этого стало ещё страшнее.

– И ты поедешь? – в голосе Ниночки слышалась насмешка. – Да все они шарлатаны – гадалки эти. Тоже мне – провидица Дана! Глупо, Галь! Вот уж не ожидала от тебя. Ты ж у нас девушка отягощённая интеллектом. К врачу бы лучше ходила, дело-то к сорока движется. Сама знаешь, что с нами бывает. И не такое привидится. А вот что тебе действительно необходимо, так это мужчина!

– Мужчина, это не «что», это «кто».

– Ой, да ладно! К словам не цепляйся. Кстати, Рашид так телефон твой просил, так просил. Я не устояла – дала, хотя и знала, что ты ругаться будешь. Ведь будешь, Галь?..

Галка положила трубку, не дослушав. Решила, значит – поеду!

Первая же утренняя маршрутка примчала её в Москву, где она без особого труда нашла гостиницу «Арбат». Семнадцатилетнюю француженку Марту Галка сразу же исключила из поля зрения, а вот Марта из Польши и Марта из Бельгии её заинтересовали. Ждать пришлось недолго. Вскоре подъехал автобус с туристами из Бельгии, и Галка увидела её, миловидную, с ярко-синей спортивной сумкой через плечо... «RIGA! Я видела её как в зеркале! Как же Дана это делает... Вот тебе и слепая...»

– Вы – Марта? – Галка улыбнулась женщине, и та заулыбалась в ответ.

– Марта. А вы кто? Вы из Риги? От Аннэ? – она действительно говорила по-русски без малейшего намёка на акцент.

– Нет. У меня к вам дело, Марта. Вот... – с этими словами Галка вытащила из пакета краешек коралловой туники.

Марта изменилась в лице, но тут же взяла себя в руки и улыбнулась.



– Вы не подниметесь ко мне в номер? Я передам сувениры для Аннэ, как и обещала.

В лифте она несла какую-то чушь об Аннэ, о том, что забыть не может их дружбу, о том, что годы жизни в Риге были самыми лучшими... Что сейчас у неё всё есть, но нет самого главного. Что ностальгия – существует – это не выдумки.

И только в номере, закрыв дверь на ключ, она в отчаянии выкрикнула:

– Откуда это у вас? Как давно эта вещь попала к вам? Отвечайте же скорее, ну...

Выслушав Галкин рассказ, Марта схватилась за голову:

– Невероятно! Просто невероятно! Она, – та, для которой предназначалась... эта вещь, должна была поплатиться, она причинила моей семье столько бед. Моей бывшей семье, – горько усмехнулась она. – Мы были подругами, и, конечно, я обо всём узнала в последнюю очередь, как вы понимаете... Муж ушёл к ней.

– И вы её проклинали? – ужаснулась Галка, – проклинали из-за мужа? Вы обвинили во всём её, а мужа простили. Обвинили женщину? Виноваты двое. Всегда виноваты двое! Или... трое.

– Трое, – согласилась Марта, – конечно, я тоже причастна. Нельзя быть такой доверчивой и самоуверенной. Любовь надо беречь. А ей... ей

нужно было всё рассказать мне. Понимаете? И я бы попыталась понять... Есть вещи, на которые женщина не имеет права. У женщины другое предназначение. И то, что позволено Юпитеру, не позволено, как известно, быку. А уж тем более, прошу прощения, корове. Да, ладно, я бы по-другому отнеслась к этому, будь это посторонний, чужой для меня человек. Но я не могла простить вероломства, предательства подруги. Лучшей подруги... Я ведь и уехала из-за этой истории. Мне было невыносимо стыдно смотреть им в глаза, мне, понимаете? Не им, а мне.

Я её приговорила. Я позвонила и назначила встречу в нашем любимом кафе. Сказала, что не хочу терять отношения «из-за мужа» – как вы выразились, хотя... я очень любила его. Она пришла, и мы долго говорили. Вернее, она говорила... а я слушала. Она плакала, просила прощения, но меня всё это уже не волновало. Я была одержима мстью. Получилось расцеловать её на прощанье и убедить, что я не держу зла, всё понимаю и принимаю. Думаю, что из меня получилась бы неплохая актриса...

Однажды весной мы с ней гуляли по набережной, как всегда – по пятницам – мы встречались раз в неделю, делились секретами, обменивались впечатлениями, потом шли по магазинам. Там было полным-полно таких

маленьких магазинчиков, где продавалась всякая всячина, и одежда в том числе. В одном из них она увидела эту тунику. Купить она её тогда не смогла – это довольно дорогая, авторская вещь. Идея подарить тунику сразу пришла мне в голову. А перед тем, как сделать подарок, я прокляла свою лучшую подругу.

– Вы – ведьма?!

– Нет, – горько усмехнулась Марта, – хотя... Все мы – ведьмы. Есть очень древнее знание, спящее где-то глубоко в нас. Не надо ни к кому обращаться – слово, сказанное сгоряча, в сердцах, способно убить. Знание пробуждается, и ты начинаешь делать всё так, будто всю жизнь только этим и занималась.

Я очень его любила, поймите. И он меня любил... А она...

Галке показалось, что в светлом гостиничном номере потемнело.

– Видимо, она что-то почувствовала, какую-то угрозу. Или просто решила избавиться от подарка, чтобы ничто обо мне не напоминало в их счастливой, семейной жизни. Не оправдания ради, – я довольно скоро пожалела о содеянном, но было уже поздно. Пытаясь снять проклятие с туники, ходила к ведьмам – как вы их называете... ответ везде был один: принесите тунику. И вот она у меня! Господи, если бы вы

знали, как мучительно было видеть во сне её руки. Холёные, с остро отточенными, алыми ноготками, обезображенные чёрными пятнами.

– Руки? – похолодела Галка, вспомнив своё видение на приёме у Даны. – Руки... Вы всё-таки – ведьма. Со мной-то что будет?

– О, моя маленькая русская птичка Галочка, – улыбнулась Марта, – с вами ничего не случится. Я знаю, как это нужно сделать, я пять лет подряд вижу один и тот же сон: я стою с этой туникой в руках и шепчу... шепчу.

– Шепчете?

– Это нужно шептать над проточной водой, – она вытряхнула тунику из пакета и отправилась в ванную. – зло уйдёт, – доносился её голос сквозь журчание бегущей воды, – всё плохое уносит вода. Зло уйдёт... Господи, благодарю тебя за то, что ты дал возможность мне сделать это. Прости мне, как я прощаю её. Господи...

Галке вдруг показалось, что позади неё, в кресле сидит женщина с вязанием. Спицы мелькают быстро-быстро в руках, а руки... О, ужас! Руки покрыты страшными чёрными пятнами, точь-в-точь как...

Галка обернулась, но в кресле никого не было.

– Вот теперь – всё, – Марта, войдя в комнату, протянула Галке мокрую тунику. – Она чистая –

не бойтесь. Можете смело носить – это ваш цвет, и действительно – ваша вещь. И невозможное возможно, – я простила её. Главное, чтобы она была ещё жива... и – здорова. Видит Бог – я и вправду этого очень хочу.

– Мне кажется, она жива, – прошептала Галка, глядя на кресло.

Она увидела, как далеко-далеко от Москвы, в старом северном городе, в доме на перекрёстке улиц Елизабетес и Тербатас, женщина выронила из рук вязание и прислушалась. Показалось, что хлопнула входная дверь. Она протянула руку, чтобы поднять вязание и увидела, что кожа на руке стала чистой – пятна исчезли...

Птица, недоумевая, уселась на спинку кресла: впервые за много дней, на ладошку хозяйки сесть не получилось. Хозяйка, вытянув перед собой обе руки, всё ещё не веря своим глазам, плакала.

## [Оглавление](#)

# Не встречайтесь с первой любовью...

*Не встречайтесь с первой  
любовью,  
Пусть она останется такой,  
Острым счастьем или острой  
болью,  
или песней смолкнет за рекой.*  
*Юлия Друнина*

Хирург с лицом Славки Коростылёва лихо снёс верхушку моего черепа и начал ковыряться в мозгах чем-то сверкающим и острым, приговаривая: «Белая лошадь – это не всегда хорошо...» Его манипуляции причиняли мне дикую боль, а сверкающая штукавина издавала какие-то звуки. Кстати... Очень знакомые звуки...

Я проснулся и облегчённо вздохнул – это был всего-навсего обычный кошмарный сон. Хотя, кое-что из этого сна присутствовало наяву: дикая головная боль и странные звуки. Вот чёрт! Да это же телефон!

Попытка дотянуться до трубки немедленно отозвалась новым взрывом боли, и мне пришлось

согласиться с мясником-хирургом из ночного кошмара, «Белая лошадь» действительно не всегда хорошо. Вчера мы с моим приятелем Славкой Коростылёвым обмывали его новую машину и пили виски «White Horse». А сегодня эта взбесившаяся кобылица резвилась в моей бедной голове и лихо цокала по черепу подковами.

Я всё-таки дотянулся до трубки, и теперь в мозгах буйствовал целый табун взбесившихся белых лошадей.

– Алло, – прохрипел я в обезумевшую трубку.

– Я так и знала, что ты до сих пор дрыхнешь! Я так и знала!

– Что ты знала, Кузнецова? Что ты вообще можешь знать о распорядке дня одинокого мужчины? Когда ты, наконец, оставишь меня в покое и поймёшь, что мы не в школе, и ты уже больше двадцати лет не староста?!

Лерка Кузнецова или Кузя, была, пожалуй, единственной из моих одноклассников, если не считать Славку, кто поддерживал со мной хоть какую-то связь. Она звонила мне почти каждую субботу и опекала меня так, словно мы продолжали учиться в школе.

– Какой там распорядок, – хмыкнула в трубке Кузя, – нажрался, наверное, вчера как скотина?

– Вот именно, как скотина, Кузя, как лошадь...

Кузнецова рассмеялась. Смех у неё остался прежним, звонким и заразительным, но это, пожалуй, всё, что осталось от нашей старосты Кузи Кузнецовой, да ещё неуёмное желание опекать меня.

– Это, потому что ты пьёшь лошадиными дозами, то бишь, вёдрами! Надо же, а? Лошадь...

– Белая лошадь, Лерка, – уточнил я и содрогнулся от отвращения.

– Ты – балда, Жорик! Ты хоть помнишь, сколько лет в этом году исполняется со дня окончания школы? Четвертачок, Жорж!

Слушая организационный бред Кузнецовой, я встал и попытался добраться до ванной. Из зеркала на меня смотрела опухшая физиономия мужика-мученика, ничего общего не имеющая с Георгием Николаевичем Катвицким, доктором исторических наук, преподавателем истории античности в местном художественном училище.

– Кузя, – прервал я повисшую на уши Кузнецову, – а ты не могла бы позвонить попозже, вечером, а ещё лучше – завтра вечером?

– Только и слышу от тебя: Кузя да Кузя, – обиженно отозвалась Лерка, – а я, между прочим, мать двоих детей, один из которых,



между прочим, через месяц женится.

– Кузнецова, мать двоих детей, твою! – рывкнул я. – Имей же ты хоть каплю сострадания, а?!

– На тебе твою каплю, захлебнись, – язвительно прошипела Лерка. – Аня в городе, – и бросила трубку...

Похоже, что табун белоснежных лошадок переместился из головы в сердце.

Аня... Аня Смирнова. Третья парта у окна... Чёрная длинная коса и внимательный взгляд серых огромных глаз.

Школьный театральный кружок... Белое платье Амалии (Шиллера ставили – не кого-нибудь!). Я провожал Аню домой после премьеры и нёс какую-то чушь, а она слушала и улыбалась...

Наблюдая, как в стакане с водой растворялись, шипя, две таблетки аспирина, я продолжал вспоминать.

На выпускном вечере Валерка Крючков, вырядившийся в смокинг, спутал все мои планы. Я ведь хотел признаться Ане в любви... А гад Крючков вился вокруг неё весь вечер, не отходя. А потом они и вовсе исчезли куда-то, и рассвет встречать не пошли с нами.

Потом я уехал в Москву, поступать, – и поступил в МГУ – на исторический. Я не

пропустил ни одной экспедиции, ни одних раскопок. Домой звонил редко, приезжал ещё реже. От всезнающей Кузнецовой я узнал, что Аня вышла замуж почти сразу после окончания школы за моряка-подводника и уехала с ним на Дальний Восток, что у неё уже двое детей и скоро будет третий...

А мне всё давалось как-то легко. После окончания универа предложили остаться на кафедре, затем – аспирантура, кандидатская, докторская... Женился на коренной москвичке, через три года развёлся...

После смерти матери понял, вдруг, что Москва осточертела мне хуже горькой редьки, всё бросил и вернулся в родной город, где и пребывал по сей день в полной уверенности, что сорок с хвостиком для мужика – не возраст и всё ещё впереди.

Из бывших одноклассников в городе остался только Славка Коростылёв и Кузнецова, встретив которую года три назад, я прошёл мимо. Она, попеняв мне на то, что я зазнался – своих не признаю, (а кто, скажите на милость, мог бы признать в этой необъятной бабище, проныру Кузнецову?) и выложила мне все новости, сообщив между прочим, что у Ани четверо детей. Я тогда ещё подумал, что может, оно и к лучшему, что Аня живёт так далеко. Если Лерка,

родив двоих, превратилась в толстую тётку, то что же представляла из себя Аня?

Не скрою, иногда мне очень хотелось увидеться с ней, но с другой стороны, я боялся этой встречи. В моей памяти Аня оставалась всё той же хрупкой девочкой с длинной чёрной косой, и надругаться над светлым образом этой Ани я бы не позволил никому, даже Ане сегодняшней.

Таблетки сделали своё дело – головная боль утихла, только во рту оставался мерзкий привкус вчерашнего поила. Меня передёрнуло.

Пока я заваривал чай, телефон звонил дважды. Трубку я не снимал, уверенный в том, что это Кузнецова названивает. Попив чайку и почти придя в себя, я с наслаждением вытянулся на диване и, бессмысленно гоня телеканалы пультом, продолжал вспоминать. Кузнецовская капля сострадания разрослась до невероятных размеров. Я барахтался в водовороте воспоминаний, прокручивая в памяти день за днём из моей бестолковой жизни. Не то, чтобы я считал себя неудачником, нет, просто мне почему-то в очередной раз показалось, что если бы тогда, на выпускном, я набрался смелости и признался Ане в своих чувствах, всё сложилось бы по-другому.

Не пойду я на эту встречу! С кем встречаться?

С Кузнецовой? Мне достаточно того, что она звонит каждую субботу. С гадом Крючковым? Или с Аней, которую жизнь наверняка превратила в толстую неряшливую тётку?..

Нет уж, увольте, одноклассники мои дорогие! Не пущу, не позволю грязными ножищами шастать по моему чистому и светлому прошлому. Единственный, кого я искренне хотел бы видеть, так это Славка Коростылёв, но с ним мы можем встретиться и без всяких вечеров встреч.

Размышляя так, я задремал, но вскоре был разбужен телефонным звонком. Чертыхаясь, снял трубку и только хотел осведомиться у Кузнецовой насчёт её деток, они у неё такие же настырные или переплюнули свою мамашу, как тихий женский голос произнёс:

– Алло, Георгий? Это Аня.

Могла бы и не представляться, я узнал бы этот голос из тысячи других женских голосов. Ощущая, как сердце рвануло с места в карьер, я ответил:

– Здравствуй... Здравствуйте... Слушаю Вас.

Нет, я всё-таки безнадёжный кретин... Не так нужно было отвечать ей, не так... А как?..

– Это я, Георгий, Аня Смирнова. Ты не узнал меня? Мне позвонила Лера и сказала, что ты хотел увидеться со мной?

Если бы сейчас Кузнецова попалась мне на глаза, я бы такого ей наговорил! Ах ты, миротворческая сволочь! Старая сводница!

– Аня... Я, собственно говоря...

– Я, наверное, не во время, ты извини. Просто, я улетаю сегодня в Москву, а оттуда во Владивосток. Самолёт в десять вечера. Мы могли бы встретиться в аэропорту, если ты, конечно, не против.

– Я не хочу с тобой встречаться.

Как я смог сказать ей это – ума не приложу.

– Почему? – в её голосе слышалось удивление, смешанное с обидой.

– Потому что это будет предательством по отношению к той Ане, которую я помню.

– Я ничего не понимаю. Какое предательство? – похоже, она совершенно растерялась.

– А тут и понимать нечего. Зачем нам встречаться?

– А ты, оказывается, жестокий человек, Георгий. Зачем вообще люди встречаются? Зачем встречаются бывшие одноклассники, старые друзья?

– Исключительно для того, чтобы напиться. Лучшее для этой цели подходит пойло под названием «White Horse».

Я бросил трубку. Похмельная лошадка в моей голове проснулась и лихо щёлкнула копытцем в правый висок. Я достал ещё две таблетки аспирина. Вновь зазвонил телефон. Вне себя от злости, я снял трубку и крикнул:

– Что ещё?

– Ты придурок, Катвицкий, самый обыкновенный придурок! – Кузнецова орала так, что трубка вибрировала у меня в руке. – Слава Богу, что у тебя нет детей! Таким придуркам, как ты, нельзя размножаться! Что ты ей наговорил, а?!

– Не лезь в мою жизнь, Кузнецова!

– Да пошёл ты к чёртовой матери! Кому нужна твоя жизнь? Ни-ко-му! Как, впрочем, и ты сам.

– Лерка, не кричи. Мне сложно тебе объяснить...

– Не надо мне ничего объяснять, – вопила Кузнецова, – это ты своим дебилам-студентам будешь объяснять различие между дерьмом восемнадцатого века и дерьмом века двадцатого. Сиди и ковыряйся в своих окаменелостях, и утешай себя, что роешься в культурных слоях. Там тебе самое место! Скажите, пожалуйста, какая скотина эгоистичная!

– Кузя, прекрати ругаться. Зачем нужна эта встреча? Что я ей скажу?

– Любит она тебя, Катвицкий, – горестно вздохнула Кузнецова, – столько лет прошло, а всё забыть не может, дурака. Я ведь тебе говорила тогда, что она с выпускного к маме ушла, а ты заладил: Крючков да Крючков... Ладно, чёрт с тобой, я ведь как лучше хотела. Всё. Пока, а то я из-за тебя на дежурство опоздаю.

Когда я подъехал к аэропорту, повалил снег. Крупные белые хлопья кружились в свете уличных фонарей, как в тот далёкий январский вечер, когда я провожал Аню с премьеры школьного спектакля.

«Если снег будет так валить и дальше – могут и рейс отменить, – думал я, сидя в машине. – Зря я приехал. Мало ли что Кузнецовой в голову взбредёт. Любит... У неё семья: муж, дети... Не сложилось что-то? А я тут при чём? Какой из меня утешитель? Не хочу с ней встречаться, не хочу!»

Но как озарение на миг выплыла из памяти тоненькая фигурка в коротенькой белой шубке и белой шапочке, из-под которой выбилась длинная чёрная коса...

Зал ожидания был почти пуст. У окна сидели четверо молодых парней, а ближе к проходу, спиной ко мне стояла грузная темноволосая женщина в бесформенном коричневом пальто.

«О, Господи! Только не это. Вот она, «судьбой обещанная встреча», вот оно, то, чего я так боялся! Вот почему я не хотел встречаться с нею. Бегом отсюда, пока она не обернулась, бегом!»

Я бросился к выходу и в дверях столкнулся с невысокой изящной женщиной в длинной серой шубе. Милое худощавое личико, лучики-морщинки в уголках серых огромных глаз... Чёрная коса, короной уложенная вокруг головы... Аня?

По-детски припухшие губы дрогнули в чуть заметной улыбке. Она прошла мимо, едва кивнув, словно мы расстались только вчера, словно и не было между нами расстояния в четверть века. Её каблучки наполнили эхом и оживили зал ожидания. Она подошла к окошку регистрации, а я стоял как вкопанный, не в силах двинуться с места. Неожиданно, она повернулась и направилась ко мне.

– Я всё поняла, Георгий. Не нужно ничего говорить и объяснять. Ты прав, нам действительно незачем встречаться. Я давно уже не та Аня, которую ты знал и в которую был влюблён. Конечно, я догадывалась о твоих чувствах, но мне хотелось, чтобы ты сам сказал о них, понимаешь? Пусть всё остаётся по-прежнему. Давай считать, что этой встречи не было, и моего нелепого телефонного звонка тоже



не было.

– Я вёл себя как последний подонок. Прости... Можно всего один вопрос?

– Конечно, – улыбнулась она.

– Если ты догадывалась о моих чувствах, почему ушла с Крючковым тогда с выпускного?

– Я ушла, потому что за мной прибежал сын нашей соседки. Маму забрала «скорая» – она же у меня сердечница... была. А Валера, он тоже ушёл что ли?

Шах и мат Катвицкий! И мат этот ты поставил себе сам двадцать пять лет назад. С твоим воображением, Катвицкий, нужно было в литературный поступать, сейчас бы уже, глядишь, и «Букер» отхватил!

Я не помню, о чём мы ещё с ней говорили. Кажется, я спрашивал её о детях, она что-то отвечала. Потом объявили регистрацию на её рейс, и я с идиотской улыбочкой пожелал ей счастливого полёта.

По дороге домой я старался убедить себя, что мне всё равно. Против обыкновения, я не стал ставить машину на стоянку, а припарковал её прямо у подъезда. В этот вечер я надрался так, что уснул прямо на кухне. Ключева – конечно полная дура (по её мнению Афина и Паллада – это две богини), но коньяк принесла отменный

Последнее, что я запомнил, это голос Лерки Кузнецовой, орущий неизвестно откуда: «Такие идиоты, как ты, Катвицкий, не должны размножаться!»

## [Оглавление](#)

# Кариатида

## **Часть первая. Вадим**

*Мой приятель-художник прожил на  
земле мало лет...*

*А. Макаревич*

Серый питерский рассвет разогнал остатки сырой промозглой ночи, и чад догоревших свечей, смешанный с запахом краски, стал просто невыносим. Вадим отложил кисть в сторону и осторожно, изо всех сил стараясь не смотреть на холст, вышел на кухню. Две чайных с горочкой – кофе, две чайных без горочки – сахара, щепотка корицы и несколько крупинок соли... Аромат кофе смешался с запахом сырого холста, проникшего сюда, несмотря на плотно закрытые двери. Теперь оставалось самое трудное – войти в мастерскую и увидеть то, что получилось. Или не получилось.

Он давно научился не смотреть сразу на свои работы. Законченная картина могла ждать день, два, а бывало что и несколько недель.

Эта Рыжая на холсте за дверью тревожила его

сны давно. Он запомнил каждый изгиб, каждую линию её маленькой точёной фигурки. Он запомнил всё, кроме лица – оно почему-то снилось нечётким, размытым. А вчера, во сне, Вадим наконец-то увидел и её лицо, увидел, словно наяву и, вскочив среди ночи, бросился к давно натянутому на подрамник холсту, пылившемуся в ожидании.

Будет обидно, если там, на холсте, не та. Тогда Рыжая опять будет сниться ему ночами – уж в этом-то Вадим не сомневался. Такое уже было с ним и не раз. Правда, иногда Рыжая отпускала его, и ему снились другие сны. Женщина-свеча приснилась во время короткой передышки, предоставленной ему Рыжей. Свеча снилась почти полгода, пока он не понял, как нужно писать. А когда образ женщины-свечи остался жить на холсте, Вадим испугался холодной чёрной пустоты. Сны, если это можно было назвать снами, были похожи на падение в бездну – кругом мрак и безмолвие. Он боялся этих снов без сновидений, они мучили его ещё больше чем образы, являвшиеся в ночи. Но вскоре вернулась Рыжая, и всё стало на свои места. Он видел её обнажённой и одетой, печальной и радостной, поющей и молчаливой. Он успел узнать о ней всё, но он никогда не видел её лица. Она, словно нарочно, не открывала его до минувшей ночи.

Теперь Вадим торопился покинуть свою

квартиру, две небольшие комнаты которой, объединённые в одну, служили ему мастерской. Можно было, конечно, отсидеться в третьей, совсем маленькой комнате, но он знал, что не выдержит. Слишком велико было искушение заглянуть в мастерскую и посмотреть на холст – что же там получилось. А может, не получилось...

Обычно он уезжал к друзьям в Парголово или просто бежал из города, куда глаза глядят, только чтобы не увидеть раньше времени воплощение своих снов. В сущности, он был очень замкнут, хотя и снискал в богемных кругах славу одинокого, сумасшедшего, но весьма креативного художника. То, что происходило с ним, не имело объяснения, да он и не пытался что-либо объяснять. Что-то внутри подсказывало ему, что так надо, и Вадим привык полностью доверять этому «что-то», уж оно-то его никогда не подводило.

Уже одетый, на ходу допил совершенно остывший кофе и, несмотря на мелкую противную морось за окнами, закрыл дверь и вышел в серое осеннее питерское утро.

# **Часть вторая. Рина**

*Чёрный Пёс – Петербург*

*Ю. Шевчук*

Не роскошной Северной Пальмирой, не мистическим Чёрным Псом из песен Шевчука, а бездомной рыжей дворнягой лёг у ног её незнакомый город, заглядывая в глаза и поскуливая, словно спрашивал: «Останешься? Оставайся – не пожалеешь, смотри, вот я какой!»

И она смотрела, смотрела, не в силах отвести взгляд, потому что влюбилась в Питер с первого шага на мокрый пустынный утренний перрон, едва вдохнув прохладную ветреную влагу, серебристой пылью рассыпающуюся в воздухе.

А он, город, щедро бросил к её ногам свои проспекты и улицы (как странно они назывались здесь – линии), набережные и мосты. И остатки сомнений, зацепившиеся за шпиль Адмиралтейства, (ехать или не ехать в Петербург осенью, там и так сыро, а в октябре и подавно) растрепал ветер с Финского залива, не оставив от них и следа. Она сразу почувствовала мятежный, такой близкий и знакомый ей дух незнакомого города и, едва ступив на его улицы, уже знала, что обязательно сюда вернётся. Неважно когда, –

вернётся, чтобы остаться навсегда.

Рина приехала в Питер на две недели – благо, остановиться было где, – здесь обитал её закадычный друг детства, двоюродный брат Сергей, в обиходе Серый или, как он сам себя величал – Серж. Ничего не поделаешь, так уж повелось, коль носишь такое имечко – быть тебе Серым, даже если снаружи ты вполне белый и очень пушистый. Но Серый упорно не сдавался и старательно везде и всюду напоминал о том, что он – Серж.

– Удобства – налево, кухня направо, ключи и деньги на столе. Располагайся, Арина – балерина... Да, чуть не забыл – пыль не вытирать, бумажки со стола не выбрасывать. Знаю я вашу заботливую женскую руку! В прошлый свой приезд твоя матушка – моя незабвенная тётушка устроила тут генеральную уборку, и я потом полгода после её отъезда ничего найти не мог. Роман пришлось восстанавливать почти полностью...

Серж писал холодящие кровь, детективные романы с лихо закрученными сюжетами и был весьма популярен в питерских и московских литературных и окололитературных тусовках.

– Осваивайся, отдыхай – ты ведь устала с дороги, а я вечером освобожусь, сходим куда-нибудь в приличное место, что ты там у себя в

провинции видишь-то. Бедная моя, бедная, – он шутливо промокнул глаза отсутствующим платочком, а Рина улыбнулась:

– Я – как Золушка, Серж.

– Какая ещё Золушка? При чём тут Золушка? – он лихорадочно запихивал в папку толстенную пачку бумаги.

– Я – как Золушка – в дороге отдохнула.

Но он уже не слышал. Хлопнула входная дверь, и Рина осталась одна в небольшой, захлавленной, но очень уютной комнате, с двумя огромными окнами выходящими на незнакомую тихую улочку (линию – поправила она себя мысленно).

Убедившись в полном отсутствии продуктов в холодильнике, Рина обрадовалась, что привезённые ею сальности и солёности с одесского Привоза пришлись как нельзя кстати. Подавив в себе привычное желание схватиться за веник и тряпку, она, не торопясь, распаковала чемодан и развесила свой небогатый гардероб в шкафу, отодвинув в сторону множество галстуков. Галстуки и шляпы были неизменной страстью Сержа, и Рина отметила, что в его коллекции появилось несколько новых галстуков и парочка великолепных чёрных шляп.

Часы показывали начало одиннадцатого, до



вечера оставалась масса свободного времени, к тому же Рина не знала, когда у Сержа начинался вечер. То, что утро не наступало раньше полудня, ей было хорошо известно, а сегодняшнее – просто исключение в честь её приезда. Поэтому она решила выйти и немного прогуляться по городу, а заодно и к ужину что-нибудь докупить. Она переоделась и, захватив с собой зонт, вышла в обещавший разразиться скорым дождиком, питерский осенний день.

## **Часть третья. Встреча**

*И в день седьмой, в какое-то мгновение,  
Она возникла из ночных огней  
Без всякого небесного знаменья...*  
*Б.Окуджава*

Мелкая серебристая морось собралась наконец-то с силами и превратилась в ленивый и тихий дождичек. Рина, пройдя всего два квартала, успела промокнуть и решила раскрыть зонт, хотя ходить под зонтом не любила. Она чуть замедлила шаг, нажимая тугую кнопку автомата, и столкнулась с мужчиной, выходящим из арочного подъезда старого дома. От неожиданного толчка зонт раскрылся, вылетел из рук Рины на мостовую, и немедленно угодил под колёса автобуса.

– Ради Бога, простите, – мужчина бросился было за зонтиком, но проезжавший на сумасшедшей скорости чёрный «мерс» превратил жалкие остатки в сплошное месиво. – Теперь это вряд ли можно исправить, – огорчённо вздохнул он, и Рина встретила взглядом с его серыми пронизательными глазами. Небольшая, аккуратно подстриженная борода, тонкий прямой нос...

А волосы собраны в гламурный хвостик, выглядывающий из-под берета. Рина усмехнулась: «Ну и тип! Ни дать, ни взять – творческая личность... Свободный художник...».

– Позвольте мне помочь Вам, – тип изъяснялся изысканным, «высоким штилем». – В двух шагах отсюда есть магазин. Если вы не возражаете, я куплю вам новый зонт взамен утраченного из-за моей неуклюжести.

Он так пристально смотрел на Рину, будто что-то пытался рассмотреть у неё на лице.

– Да будет вам, какие проблемы, – Рина продолжала улыбаться, в свою очередь, разглядывая третьего питерца в своей жизни. Вторым был Серж, неведомо где болтающийся, богемный двоюродный братец. А первым был тот, кому и положено было им быть – гордый медный всадник на вздыбленном коне. Его Рина запомнила с детства по рассказам бабушки и многочисленным фотографиям, оставшимся после её смерти.

– А вы – приезжая, – полувопросительно произнёс тип, но договорить не успел, – наглая морось хлынула с небес таким мощным ливнем, что пришлось спасаться бегством под спасительный свод того самого арочного подъезда, откуда десять минут назад появился гламурный тип. Там, в полумраке он лихо

щёлкнул каблуками старых, насквозь промокших туфель и, склонив голову, сказал:

– Разрешите представиться: Вадим. Вадим Демский – художник.

Рина весело рассмеялась и протянула ему маленькую ладонь.

– Рина. Просто Рина.

Он, не выпуская её озябшую мокрую руку, вновь заглянул в глаза, словно надеялся отыскать что-то, известное лишь ему одному.

– Что вы так на меня смотрите? – она поёжилась, то ли оттого, что окончательно замёрзла, то ли от его странного вопрошающего взгляда.

– Скажите, Рина, мы с вами раньше нигде не встречались? Я ведь угадал – вы приезжая.

– Совсем как в сериале, – разочарованно ответила она, – сейчас вы скажете, что моё лицо вам знакомо, что вы искали меня всю жизнь... Чушь какая!

– Да, да, именно так и скажу! И не просто скажу, а покажу! – И не отдавая себе отчёта в том, что делает, повинувшись какому-то внезапно нахлынувшему порыву, он схватил её за руку и потащил под проливным дождём к двухэтажному дому в глубине двора. Рина и не пыталась сопротивляться. В одно мгновение ливень

промочил её насквозь, ей было не просто холодно, зубы её стучали, и когда сумасшедший художник втащил её в маленькую тёмную прихожую своей квартиры, она не испугалась, а напротив, с облегчением вздохнула. «На улице дождь, а здесь тепло и тихо, и пахнет чем-то необыкновенным, то ли корицей, то ли кофе, и ещё, почему-то краской... А Серж наверное уже дома... Волнуется... А, чёрт с ним! Ему волнения на пользу идут, глядишь – и разродится очередным бестселлером, где главной героиней буду я...».

## **Часть четвёртая. Озарение**

*Он умел только то, во что верил,*

*А как же иначе?*

*А.Макаревич*

Запах свежемолотых кофейных зёрен кружил голову. Кофе был восхитительным – вкусным и крепким. «Ни за что на свете, никогда больше не буду пить растворимую бурду. Люди, вас кто-то жестоко обманул – настоящий кофе не имеет ничего общего с той жидкостью, в которой растворена вся периодическая таблица Менделеева...».

Рина сидела в кресле, уютно поджав под себя ноги, заботливо укрытые тёплым шерстяным пледом. Вадим устроился на низеньком кухонном табурете и пристально смотрел на Рину, боясь отвести взгляд. Он словно самому себе не верил, что не дававшая покоя, Рыжая властительница его снов, сидит сейчас рядом и пьёт сваренный им кофе. С того момента как они встретились, прошло немногим более двух часов. За это время они успели рассказать друг другу о своей жизни всё или почти всё, и теперь им казалось, что знают они друг друга давно. Целую жизнь. Вечность.

Дождь давно кончился, и стремительно падающее за горизонт солнце запуталось в рыжих прядях.

– А что ты мне хотел показать, Вадим? – Рина поставила кофейную чашку на подоконник.

– Тебя. Я хотел показать тебе Тебя, снившуюся мне всю мою жизнь, измучившую меня этими снами.

– ?!!

– Я не мог разглядеть твоё лицо. Понимаешь, оно всё время ускользало от меня, было каким-то размытым, нечётким. Я искал тебя на улицах и набережных родного города, я влюблялся во всех встречных рыжеволосых девушек и женщин, надеясь, что нашёл тебя. Но, увы... Рано или поздно я понимал, что ошибся, что это не ты, ведь ты продолжала сниться мне... А сегодня ночью я увидел твоё лицо. Проснулся и до самого утра писал. Закончил, вышел из дому и встретил тебя настоящую!

– Можно мне взглянуть? – Рина легко коснулась рукой щеки Вадима, – где она?

– Там, – он кивком головы указал на дверь в мастерскую, – только, иди одна. Я боюсь смотреть на неё. А вдруг я опять ошибся.

Рина осторожно сползла с кресла и как была босиком, на цыпочках подошла к двери в

мастерскую. Её взгляду открылась огромная комната, заставленная мольбертами, картинами в рамах и просто холстами, сваленными в груды. Множество тюбиков с красками, баночек, кисточек и кистей, ещё каких-то приспособлений, о которых Рина понятия не имела. На стене, единственной без оконных проёмов висели, очевидно, уже законченные работы.

И тут Рина увидела её, точнее – себя. Маленькая рыжеволосая кариатида стояла на сером камне, высоко подняв гордо посаженную голову. Одна рука её упиралась в крутой изгиб обнажённого бедра, а вторая в изящном подьёме удерживала на раскрытой ладони целый город, с хорошо знакомыми очертаниями домов и улиц. Там, на этих улицах, было полным-полно машин и людей, на балконах домов копошились дети, собаки, коты; сидя за столами ели и пили мужчины и женщины с обрюзгшими синими лицами... А внизу, у серого камня плескалось самое синее море в мире.

«Господи! Но ведь так не бывает... Как он мог увидеть?..»

Она не прошептала, не крикнула, а выдохнула: «Вади-и-и-м...», и в тот же миг ощутила на плечах его сильные, нежные руки.

Рина разрыдалась, а он, глядя её рыжую



взлохмаченную голову, смотрел на творение рук своих уже без страха, понимая, что на этот раз не ошибся. Потом Рина, как замороженная, переходила от одной картины к другой и от восхищения не могла вымолвить ни слова. Особенно поразили её три картины, они и висели рядышком, слева от камина. На первой – седой длинноволосый старик в каком-то невероятном, развевающимся балахоне с резным посохом в руках. По посоху змеились узоры и надписи, то ли руны, то ли ещё что. За спиной у старца угадывалось очертание планеты, непохожей на Землю.

– Это Альтаир, – пришёл на помощь Вадим, – есть такая звезда в созвездии Орла. Но, это нам она кажется звездой. На самом деле – это планета, и она очень похожа на нашу Землю. А если бы ты очутилась там, на Альтаире и посмотрела бы на Землю, то была бы очень удивлена – ты бы увидела звезду...

– Где-то я читала о том, что человек тянется к звёздам, забывая, что Земля тоже звезда, кажется у Ефремова, – прошептала Рина.

Со следующего полотна на Рину смотрела прекрасная бронзовокожая амазонка. Она мчалась под облаками на тонконогом вороном коне. Длинные рыжие волосы девушки, развеваясь, перепутались с иссиня-чёрной,

роскошной гривой скакуна. «И всё-таки – рыжая!» – с каким-то удовлетворением отметила Рина и улыбнулась. Ещё она заметила, что ни уздечки, ни седла на коне не было – руки прекрасной всадницы тонули в массивной гриве, да и сидела она на нём как-то особенно, полулёжа, так, что согнутые в коленях ноги её находились на спине коня. И никакой одежды, только щиколотки ног охватывали витые серебряные браслеты, рисунок на которых точь-в-точь повторял рисунок широкого пояса на немыслимо тонкой талии всадницы.

– Именно так они и держались на лошадях, – словно угадывая мысли Рины, сказал Вадим, – это Ипполита – царица амазонок.

– Я слышала легенду о ней, – Рина с трудом оторвалась от созерцания прекрасного обнажённого тела всадницы.

– О, о них существует множество легенд. Многие из них – правда, многие – вымысел, как та, в которой говорится о том, что амазонки выжигали себе одну грудь, чтобы было удобнее стрелять из лука. Они были совершенны! Впрочем, как и сейчас.

Рина удивлённо взглянула на Вадима.

– Я имел в виду внутреннюю сущность, а не то, что представляет собой человек внешне. Для того чтобы запечатлеть внешность есть великое

изобретение – фотография. Художник же должен уловить внутреннюю сущность. Это не так просто, порой за ангельской внешностью скрывается уродливый монстр. А бывает наоборот... Иногда это удаётся и фотографам, в основном тем, кто работает с чёрно-белой фотографией. Не замечала? Вот ты, например, знаешь себя? Знаешь, кто ты?

– Знаю, – печально кивнула Рина, – уставшая от груза семейных проблем, преподавательница никому не нужного языка. (Рина преподавала французский в экономическом колледже.)

Вадим посмотрел на неё как-то особенно, грустно и в то же время ласково, и осторожно коснулся рукой волос.

– А в принципе, ты уловил мою внутреннюю сущность верно. Я действительно кариатида, потому что держу на своих плечах весь этот груз. Наверное, ты прав, Вадим. Я – каменная баба, привыкшая тащить на себе семейные проблемы. Уж от амазонки во мне точно ничего нет! Знаешь, у нас в городе есть дом, у входа в который стоят две огромные кариатиды. Мне приходится частенько пробегать мимо, и вот что я заметила: одна стоит как ни в чём не бывало, а вторая сплошь в трещинах, хотя между ними всего каких-нибудь полтора метра, а такое впечатление, что целая пропасть. Так вот, мне

всегда казалось, что та, вторая – это я. Всё-таки удивительно, как ты мог угадать?

Он ничего не ответил и подвёл её к третьей картине, на которой было много ветра. Да, да, именно ветер почувствовала Рина, глядя на едва различимые вихри, вьющиеся вокруг женщины с зажжённой свечой в руках. Пламя свечи дрожало, но чем пристальнее Рина вглядывалась, тем больше ей казалось, что свеча не гасла, а наоборот – разгоралась всё ярче и ярче.

– Это «Свеча на ветру». Когда я впервые прочёл её стихи, я увидел её именно такой. Хочешь, я тебя с ней познакомлю?

– Что, прямо сейчас? – растерялась Рина, а Вадим усмехнулся и достал с книжной полки книгу в ярко-синей обложке.

Рина услышала приглушённый бой часов.

– Не уходи,.. – его глаза потемнели и стали стальными. – Я не могу потерять тебя, я так долго тебя искал.

– А как же Серж, ведь он будет беспокоиться.

Ей вдруг стало по-настоящему страшно. Она почувствовала, что Вадим, этот «гламурный тип», с которым судьба столкнула её на тихой питерской улочке, стал близок и дорог ей. И ещё она поняла, что не знает, как быть, как жить

дальше. Ей почему-то не верилось в собственное «завтра увидимся...». Кто знает, что могло случиться до завтра – целая ночь впереди, целая ночь.

– Надеюсь, ты отдаешь себе отчет в том, что делаешь? – в голосе Сержа звучала обида, к которой примешивались нотки тревоги. – Скажи хотя бы, где ты находишься, мало ли что.

– Не волнуйся, Серенький, я в порядке. Я нахожусь в двух шагах от тебя.

– Рина! Ты с ума сошла! Одна в чужом городе...

– Я не одна.

– Тем более.

– Серж, ты случайно не читаешь то, что сам пишешь? Это не сюжет твоего последнего романа, это жизнь, понимаешь? Прости. А если будут звонить из дому, скажи, что я сплю.

– Ну, ты даёшь, Арина-балерина! Вот тебе и тихоня!

Рина положила трубку. За окнами разливалась осенняя питерская ночь. Картины в мастерской погрузились в её чернильный мрак, и лишь лицо женщины с зажжённой свечой в руках излучало нежное голубое сияние...

## Часть пятая. Эпилог

*И осталось всего-ничего,  
Разве только – холсты,  
И на них неземные рассветы,  
И лошади скачут...*

*А. Макаревич*

В ночь перед отъездом Рина почти не спала и только под утро, положив рядышком книгу в ярко-бирюзовой обложке, задремала. Ей приснился огромный мост через реку, на котором стояла хрупкая белокурая женщина. Сияние, исходящее от неё, освещало тёмную громаду моста, а ветер развеивал её волосы. Казалось, ещё порыв – и угаснет, померкнет золотой ореол, но голубое свечение разгоралось всё ярче и ярче, и всё меньше холодного беспросветного мрака оставалось вокруг.

Рина улыбнулась Вадиму, который проснулся раньше и уже успел сварить кофе. Она боялась, что он сейчас заговорит о том, о чём ей не хотелось не то что говорить, а даже думать. Но Вадим, словно почувствовал её волнение и шепнул:

– Не бойся. Все точки над «i» ты расставишь

сама, если сочтёшь нужным.

Она с благодарностью прижалась щекой к его руке.

На вокзале он молчал, и когда объявили отправление поезда, на мгновение крепко прижал её к себе. Рина расплакалась...

– Я вернусь, слышишь!

– Я всегда буду ждать тебя... Всегда.

...Одесса встретила Рину ласковым осенним солнышком, и она без особых приключений добралась до дома, где попала в нетрезвые объятия, принявшего с утра на радостях граммов сто – не меньше, мужа. Раздав подарки детям и мужу, стойко выдержав расспросы о том, как съездилось и отдохнулось, как смотрелось на «европы» через «окно», она распаковала чемодан, перемыла гору грязной посуды и занялась уборкой квартиры. Дети, (двадцатипятилетний сын и дочка – на год младше сына) перебивая друг друга, рассказывали ей о том, как трудно им было без неё – столько проблем накопилось... Она выслушивала их терпеливо, а перед глазами стояла кариатида, на которой становилось всё больше трещин. Трещины ползли изворотливыми змейками, безжалостно уродуя мраморную белизну плеч и шеи, а одна из них, самая широкая, добралась до сердца.

Поздно вечером, убедившись, что все уже спят, сняла телефонную трубку и набрала номер Вадима. «Не отвечает. Нет дома? Или просто не хочет снимать трубку. Ну и правильно. Что я ему сейчас скажу? Что доехала нормально и дома всё в порядке?.. Господи, бред какой! Но как же хочется услышать его голос! Как мне теперь жить со всем этим? Вади-и-и-и-м...!»

А в северном ветреном городе на другом краю земли, в пустой квартире сидел у звонящего телефона человек и изо всех сил сдерживал себя. Слишком велико было желание снять трубку и услышать далёкий, ставший таким родным, голос.

И покатались друг за дружкой серые обыденные дни, похожие один на другой. Она сознательно изматывала себя работой, взялась давать частные уроки, даже ремонт затеяла в квартире, лишь бы не оставаться наедине с собственными мыслями. Слушая недовольное брюзжание мужа, она понимала, что сказать ему всё как есть, никогда не сможет. Она по-прежнему каждый вечер набирала номер Вадима, но к телефону никто не подходил. Рине уже начало казаться, что всё произошедшее с ней – сон, наваждение. Но, пробегая мимо дома с кариатидами, она видела, что трещин действительно стало больше, что даже лицо не пощадили уродливые тонкие бороздки. Рина



стала бояться зеркал, ей казалось, что морщины на её лице полностью идентичны трещинам на подружке-кариатиде.

Накануне Нового года приехал Серж. Смеялся и шутил как всегда, привёз кучу подарков, но когда Рина вопросительно заглядывала ему в глаза, отводил взгляд в сторону. После бурного застолья в честь приезда дорогого кузена, гости разошлись, а муж отправился спать. Рина осталась на кухне – её ждала неизменная гора грязной посуды. Серж вызвался помочь, и когда с посудой было покончено, они сели рядышком перекурить.

– Как живёшь, Арина-балерина?

– Не спрашивай... Ты что, не видишь?

Серж вздохнул, вышел в коридор и вернулся с небольшим свёртком-рулоном в руках.

– Он просил передать тебе это.

Рина дрожащими руками развернула свёрток. Там оказался холст.

– Ты видел Её?

– Видел, – закашлялся Серж, – у него недавно была выставка, так я чуть умом не тронулся, когда картину эту увидел. Что же ты молчала?

– А что я должна была говорить?

– Просто, Вадима я очень хорошо знаю. Он

очень необычный человек и очень хороший художник.

– Он что-нибудь просил передать мне?

– Только это. – Серж кивком указал на рулон.

– Ещё он просил передать, что будет ждать тебя всегда.

– Почему он не подходил к телефону? Я звонила ему каждый вечер...

– Я скажу тебе только то, что знаю. Он в больнице. Жить ему осталось недолго. Он не хотел волновать тебя, боялся, что станет обузой.

– Баллада о прокуренном вагоне...

– Какая ещё баллада? О чем ты?

– Он читал мне эти стихи в ночь перед отъездом. А я – дура, думала, что это только красивые стихи, что в жизни так не бывает.

Рина свернула холст в рулон и подошла к окну. Снегопад закончился. Рина сняла телефонную трубку и набрала номер справочной аэропорта. Торопливо побросав в сумку кое-какие мелочи, она добавила к ним тёплый свитер, а сверху аккуратно уложила свёрток с холстом. Облегчённо вздохнула и ещё раз сняла телефонную трубку – вызвала такси.

В самолёте она забылась коротким тревожным сном. Ей снился Вадим, падающий в бездонную

темноту. И когда тьма почти поглотила его, вдруг чья-то лёгкая рука возникла из ниоткуда. И падение прекратилось, – Вадим, почему-то ставший совсем маленьким, спокойно спал на хорошо знакомой Рине ладони с маленьким белым шрамом. Этот шрам у неё был с самого детства, когда она не побоялась выхватить бездомного котёнка из пасти соседского породистого пса.

Рина проснулась с ощущением какой-то лёгкой радости. «Интересно, когда они заметят, что меня нет? В холодильнике еды дня на три-четыре – не меньше, бельё выстирано, в квартире – порядок... Да, дня три пройдёт, пока опустеет холодильник, а в раковине вырастет гора грязной посуды... Привет, ребята! Я вас всех очень люблю, но пора научиться жить, не опираясь на чьё-то крепкое плечо».

А сидящий рядом человек никак не мог понять, почему эта Рыжая с античным профилем постоянно улыбается. Серебристая огромная птица уносила её всё дальше и дальше от самого синего в мире моря, от озябших кариатид на заснеженной улице к человеку, о котором Рина не знала почти ничего и знала всё. На несколько жизней вперёд.

# Посвящение

С тех пор, как его заму пришла в абсолютно пустую голову идея открыть литературную страничку в районной газете, Николай Павлович, а для всех просто Палыч, распрощался с покоем. Ну кто бы мог подумать, что в этой забытой Богом дыре, в самой глубинке России-матушки, обнаружится столько пишущей братии.

С теми, кто писал прозу, было проще. С некоторыми прозаиками Палыч подружился и, парясь в баньке у очередного из них, где-нибудь в сосновом бору на берегу Оки, подумывал о том, что грех жаловаться на судьбу, забросившую его, «городскую булочку», пижона и стилигу в захолустный уездный городок с кое-где сохранившимися ещё деревянными тротуарами. Нет, определённо, положительные стороны в этом были, и было их немало.

А вот с поэтами дело обстояло куда сложнее. И не только потому, что плотность поэтов на каждый квадратный метр этой благословенной земли превышала все мыслимые и немыслимые нормы, нет. В баньке с ними не попаришься, на охоту не сходишь... Всё-то у них не так, всё не этак. Странные существа эти поэты... бледные, печальные, беспокойные...

Но нынешний июнь выдался таким жарким, что даже самых отъявленных, самых бледных как ветром сдуло из тесного и душного кабинета главного редактора. Радуюсь в душе сезонной миграции назойливых экзальтированных личностей, коими было большинство местных стихотворцев, Палыч пришёл на работу в отличном настроении.

В коридорах – ни-ко-го! Лишь у окна маячила субтильная девичья фигурка.

– Вы ко мне? – Он распахнул дверь своего кабинета. – Прошу-с.

Девушка, надо сказать, совершенно не была похожа ни на одну из поэтесс уездного масштаба. Она вошла в кабинет и устроилась на самом краешке огромного дивана.

– Что у вас? – Палыч плотно закрыл окно: солнце уже хорошо припекало, хотя до полудня было ещё далеко.

– Стихи, – робко пискнула девушка и покраснела, словно ей стало стыдно за своё поведение: такая жара – а она со стихами.

– Стихи?! – закатывая глаза к потолку, Палыч мысленно воззвал к Всевышнему, осведомившись у него, между прочим, за что ему всё это приходится терпеть. – И на какую же тему, позвольте полюбопытствовать, а впрочем – нет,

молчите. Я угадаю: неразделённая любовь, коварная измена, вероломная подруга... и он – лирический герой, злостный неплательщик алиментов – гад и подлец!

– Ну что вы, – улыбнулась девица, не уловив иронии редактора, – я о таком давно уже не пишу. Есть у меня стихи о любви, но о любви к Родине. Хотите, прочту?

– Не надо! – испуганно выставил вперёд обе руки Палыч, – не надо, деточка, я верю, что Родину вы любите.

– И ещё, вот, – она протянула сложенный вдвое листок, вырванный из школьной тетради. – Это я вчера написала.

Палыч развернул листок.

– Это кому ж посвящение-то? Деточка, на будущее: если вы кому-то что-то посвящаете, ставьте адресата, пожалуйста.

– Хорошо, – кивнула девица и опять покраснела.

«А девица-то стыдлива, не в пример нашим поэтессам», – отметил Палыч и, дочитав стихотворение, вздохнул:

– Ну и кто у вас «нервозен аки изок...»? Кто этот нервозный? Кстати, вы хоть знаете значение слова "изок" или так, для красного словца, для рифмы вплели?

– Ой, что вы... Да как же можно для рифмы, без смысла? – обиделась девица. – А изок – это кузнечик по-старорусски. А ещё – это название месяца июня. А стихотворение я посвятила...

И тут девица назвала фамилию известнейшего поэта-современника.

– Да ты что, детка, температуришь что ли? – Палыч и не заметил, как перешёл на «ты». – Ты чем думала, когда это писала, а?

– А что, совсем плохо, да? – робко пискнула девица?

– Да как тебе только в голову пришло такое сравнение? Это ж надо, известного поэта с насекомым сравнить! – побагровел от возмущения Палыч.

– Но я ведь вовсе не о том писала, – оправдывалась девица, – вы поймите, я совсем другое имела в виду. Прыжок, амплитуда прыжков, понимаете... высота, полёт вдохновения. Скажите, вы когда-нибудь наблюдали за кузнечиками?

– Ещё чего? – рыкнул Палыч, – мне что, делать больше нечего? А ну, пошла отсюда, мелочь! Да кто ты есть такая? Сопля зелёная! Возгря! В литературу хочешь пролезть? Пошла-пошла, да не забудь внимательно изучить табличку на дверях редакции. Заучи наизусть то, что там

написано: посторонним вход воспрещён. – Палыч скомкал листик со стихотворением и запустил им в девицу.

– И всё-таки, вы не правы, – упёртая как баран, заплаканная девица стояла в дверях. – Я тут не посторонний и в литературу пролезать не собираюсь, я туда войду, вот увидите!

– Я тебе сейчас покажу, кто здесь прав. А ну, брысь отсюда!

Девицу как волной смыло, а Палыч тяжело вздохнул, открыл заветный шкафчик, где всегда держал коньячок, для случаев исключительных, (а сегодня как раз и выдался такой), лихо тяпнул рюмочку коньяку и засел за корректуру увесистой рукописи – в пору летних отпусков всё приходилось делать самому.

## [Оглавление](#)



# Оберег

Небольшая добротная изба у дороги.

На окнах резные наличники, не оттого ли так весело смотрят они в палисадник?

А палисадник весь зарос черёмухой...

В избе светло от чисто выбеленой русской печки, от дощатых, выскобленных берёзовым веником-голиком полов.

Чтобы не темнели половицы, тёрли их чистым речным песком, окатывали несколько раз водой и уж потом натирали воском. И долго стоял в избе ароматный свежий дух.

Гладкие бревенчатые стены увешаны пучками трав да корнейев.

Невысокая, ладная, ты стоишь у загнетки и бросаешь в кипящую воду щепотку какого-то зелья, приговаривая:

– Криница-водица, красная девица, на зорьке вставала... Заклинаю я, раба Божья Катерина, словом крепким, сердцем чистым, с помощью Божьей. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь...

Густой горьковатый аромат стелется по горнице, и зубная боль проходит, словно её и не было.

Я сижу на широкой лавке вся зарёванная, с опухшей щекой рядом с дедом и слышу, как он, усмехаясь в усы, бормочет чуть слышно:

«Ворожейка-душенька, зелья наварила...»

Сколько же лет было мне тогда?

Лет пять, наверное...

По холодной утренней зорьке уводила ты меня в лес, на заветные, одной тебе ведомые поляны, к заливным лугами – за травами.

Вижу тебя в белом, низко повязанном над глазами, платке, в расшитой незатейливым узором кофточке, с веткой калины в руке.

«...Каждую травку, каждый корешок в своё время срывать надобно. Сорвёшь раньше положенного времени или запоздаешь чуток, – ан, ушла сила целебная из травки той в корень, а из корня в землю-матушку. Жди теперь целый год...»

А я, замёрзшая, мокрая до последней ниточки, и слушала тебя и не слушала. Думалось мне о тёплой лежанке за печкой да о пёстром лоскутном одеяле. Вот бы забраться сейчас под него, укутаться и заснуть... Но время в лесу летит незаметно, вот уж и солнышко взошло, и полно лукошко разных трав да корешков.

...Мне было пятнадцать, когда умер дед.

Светлая тихая изба потемнела от чужих суетливых людей, не светились восковым светом затоптанные половицы, а у загнетки хлопотала незнакомая женщина, хмурая и неприветливая.

Ты сидела подле деда, лежащего на конике под иконами, а моя мать сердито вполголоса выговаривала тебе:

«Стыд-то какой перед людьми, хоть бы слезинку обронила. Полвека вместе прожили, душой тебя, старую, не назвал ни разу. Бессовестная!»

Но ты спокойная и совершенно безучастная ко всему происходящему что-то шептала, глядя куда-то в себя странным, застывшим взглядом. Я подошла ближе, прислушалась.

«...Вот и хорошо, Витенька, вот и ладно, что ты раньше меня собрался. А то кто бы тут без меня за тобой доглядывал, ты же у меня ровно дитятко малое. Ты, Витенька, по-терпи немного, я тут не задержусь, скоро к тебе приду...».

После погоста, по обычаю вымыв руки, немногочисленная родня и соседи уселись за стол помянуть покойника. Тебя среди них не оказалось, и я вышла на улицу.

На завалинке, как раз там, где любил сидеть дед, ты сидела, и снова меня поразил твой взгляд в себя. Я подошла ближе, ты посмотрела

на меня, и глаза твои потеплели.

– Почему ты не плакала. Тебе не жаль деда?

– Пустое это дело, плакать. Я с ним разговаривала, скоро свидеться обещала.

– Разве с мёртвыми можно разговаривать? Они же не слышат.

– И слышат, и видят не хуже нас с тобой, если не лучше ли.

Я присела рядышком, прижалась к тебе.

– Я не хочу, чтобы ты умирала, ба. Я боюсь.

– Глупенькая! Чего же тут бояться? Придёт моё время, и я умру. Отдыхать тоже нужно когда-нибудь. Смерть приносит избавление.

– Из-бав-ле-ни-е, – протянула я, – от чего избавление?

– Жизнь – хлопоты да суета; приходит время, и человек устаёт от жизни. Только время

это у каждого своё, и ни приближать, ни отдалять его нельзя.

– А ты знаешь, когда оно придёт, твоё время? А моё?

– Не дано человеку это знать, да и не надо.

Я приехала к тебе за месяц до твоей смерти, приехала потому что предчувствие беды не оставляло меня всё последнее время. Ты,

совершенно высохшая, встретила меня со слезами:

– Милочка, ладушко моё, я уж и не чаяла свидеться.

И вроде всё было, как всегда.

И чай душистый на травах, и пирог с черёмухой румяный и вкусный...

Вот только нездешние тени залегли у тебя под глазами, да и неземным светом светились глаза твои.

Утром я вышла в палисадник и увидела тебя с маленьким лапоточком в руках. Он был почти готов, только осталось заправить лычку, чтобы не расплёлся.

– Кому такой малюсенький, ба?

– Тебе.

– ?!!

– Собираться мне пора, Милочка, далеко я от тебя скоро буду. В лапоточке этом защита твоя. От слова недоброго, от взгляда случайного, злого, от зависти чёрной, непрошеной. Не проклинай обидчиков своих, не желай зла им, не открывай сердце своё помыслам о мести. Ну а если кто так обидит, что жить неведомогу станет – потяни за лычку, расплети лапоток. Дорого заплатит обидчик твой.

Я взяла лапоток, хранивший тепло твоих рук. А ты протянула рушник.

– С рушником этим я замуж выходила. Теперь он твой.

Она всего на полгода пережила деда. Давно уже нет её в живых, но живы и стали взрослыми дети, которых лечила она травами да заговорами.

Я вышла замуж. У меня растёт сынишка, непослушный и вихрастый, вылитый воробышек.

Много раз, задыхаясь от обиды и глотая горькие слёзы, брала в руки я лапоток. И каждый раз словно что-то останавливало меня.

И отправлялся лапоток на своё заветное место, к тетрадке с наговорами да к пучкам трав.

Не ты ли останавливала меня, родная моя?

Пройдёт время.

Мой сынишка вырастет.

И когда придёт пора ввести в дом его избранницу, я встречу их хлебом-солью на расшитом тобою рушнике.

[Оглавление](#)

# Короткая Рубашка

*Памяти капитана Уилфреда Доумена*

История не приемлет сослагательных наклонений. Происходит то, что должно произойти, безо всяких поправок на «если бы». И всё же, если бы мне посчастливилось однажды оказаться в Англии, я бы отправилась в Гринвич. Здесь, на берегу Темзы, в специально выстроенном сухом доке стоит легенда парусного флота, таинственная и прекрасная, как все легенды на свете. Латунная табличка на одной из стен дока гласит: «Здесь сохраняется «Катти Сарк», как памятник своего времени, как дань уважения людям и кораблям эпохи паруса».

Я бы коснулась ладонью обшивки корпуса, нагретой скупым английским солнцем...

– Ну, здравствуй, Короткая Рубашка!

И Вечная Нэнни, возможно, улыбнулась бы мне в ответ.

Своим появлением на свет чайный клипер «Катти Сарк» обязан именно ей, молоденькой ведьме в короткой рубашке. Своей нелёгкой судьбой, роковым невезением – ей, и только ей. В истории клипера, единственного на

сегодняшний день сохранившегося представителя великолепной плеяды «гончих псов океана», тесно сплетены события реальные и вымышленные. Окутанная тайной древних баллад и легенд, королева парусного флота и в наши дни вызывает восхищение. Да, не менее красив был и «Ариэль», трагически погибший, и «Золотая лань», знаменитое судно не менее знаменитого пирата – сэра Фрэнсиса Дрейка. Более того, в гонках чайных клиперов «Катти Сарк» ни разу не удалось прийти первой, всё время мешали досадные случайности, которые очень скоро переросли в закономерность. И всё-таки, именно ей принадлежит титул королевы парусного флота.

А начиналось всё в те далёкие и славные времена, когда Шотландия была Каледонией, и бродили по её бескрайним зелёным просторам меккеры – странствующие певцы и музыканты. На этой древней благословенной земле суждено было появиться на свет Роберту Бернсу – великому шотландскому поэту. Наверное, от матери услышал он предание о Нэнни Короткой Рубашке, а может от подвыпивших завсегдатаев кабачка в Аллоуэй, – так называлась деревенька среди гор, недалеко от городка Эйр. Именно это предание и легло в основу сюжета повести в стихах «Тэм О'Шентер».



Не знала бабушка седая,  
Рубашку внучке покупая,  
Что внучка в ней плясать пойдёт  
В пустынный храм среди болот.  
Что бесноваться будет Нэнни,  
Среди чертей и привидений!

Злую шутку сыграл с Тэмом коварный Джон  
Ячменное Зерно. Встреча с ведьмой в короткой  
рубашке чуть не стоила ему жизни, но старая  
верная Мэг, кобыла Тэма, рванулась изо всех сил  
и спасла своего непутёвого хозяина, вот только  
хвост остался в руках у ведьмы, а ведьма...

...была в рубашке тонкой,  
Которую ещё девчонкой  
Носила, и давно была  
Рубашка ветхая мала.

После выхода в свет повести «Тэм О’Шентер»  
прошло немногим менее ста лет. Английский  
судовладелец Джон Виллис (имевшего прозвище  
«Белый цилиндр») в одной из картинных галерей  
Лондона увидел полотно неизвестного худож-  
ника. На нём была изображена молоденькая

ведьма в короткой рубашке, летящая над серым пустынным болотом. Джон, влюблённый в поэзию Роберта Бернса, конечно же сразу узнал Нэнни. Узнал и... влюбился. Он решил построить корабль, такой же лёгкий и быстрый, как его мифическая возлюбленная, и назвать его в её честь.

В 1869 году с шотландской верфи «Линтон & Скотт» сошёл чайный клипер с необычной формой кормы, с невероятно пышной громадой парусов и с носовой фигурой – ведьмой в короткой рубашке, крепко сжимающей в вытянутой руке лошадиный хвост (не забыли старушку – Мэг?).

Оставалась одна проблема – название. Люди верят в приметы, а уж моряки – народ самый суеверный, и вряд ли кто из них отважился бы ступить на борт судна, носящего имя ведьмы. Слишком живучей оказалась древняя легенда, и Нэн Короткая Рубашка была хорошо известна не только в Шотландии, но и в Англии. Пришлось убрать из названия само имя «Нэн», оставив загадочное и странное «Катти Сарк», что в переводе с древнего каледонского наречия и означает «Короткая Рубашка».

Кто знает, может быть, именно это и послужило причиной неудач, преследовавших судно. Клипер неоднократно менял хозяев, порта

приписки, названия. Не раз приходилось ему вместо чая и шерсти (чайные клипера строились для перевозки именно такого рода грузов) перевозить уголь. Видимо, закончилось бы это всё для красавца-клипера печально, если бы не...

В домике, приютившемся на одной из окраин города, было холодно. На широкой лежанке у остывшего камина спал седой старик. Когда-то давно он был Капитаном. Судьба хранила его, как умеет она хранить молодых и сильных. Теперь он жил здесь со своей женой да с белым огромным попугаем – большим любителем рома. В прежние времена Капитан частенько баловал птицу, до краёв наполняя чашечку крепким ароматным напитком.

Попугай выпивал всё до капельки и принимался орать: «Браво, Короткая Рубашка!». Ещё он обожал отдавать команды, но частенько путал зюйд с вестом. За это Капитан наказывал пьянчужку – накрывал клетку тёмным платком и загонял туда совершенно окосевшего от рома попугая.

Но счастливое время это ушло безвозвратно, как уходит песок сквозь пальцы, и лишь воспоминания одинокими песчинками остаются в пустых ладонях. Капитан состарился, в плаванья больше не ходил, да и ромом давно не пахло в его бедном доме. А недавно Капитан заболел, да

так, что и вставал теперь с трудом. Вот и сидела грустная птица на подоконнике, и целыми днями наблюдала за наглой вороной, важно разгуливающей по карнизу соседнего дома.

В комнату вошла Женщина. Серые глаза её были темны и тревожны. Она подошла к лежанке и коснулась лба Капитана узкой прохладной рукой. Он открыл глаза.

– Ты совсем замёрзла.

– А ты горишь. Сейчас я растоплю камин и согрею чай.

– погоди. Присядь-ка на минутку.

Она присела на краешек лежанки и взяла его за руку.

– Пообещай мне, что ты всё сделаешь, как надо.

Ему было тяжело говорить, голос его часто прерывался хрипами, но он продолжил.

– Сделай это, пожалуйста, и пусть Нэнни поможет тебе, да простит меня Бог.

Глаза Женщины ещё больше потемнели – от слёз, она молча кивнула головой и легонько сжала руку Капитана. Он пытался сказать что-то ещё, но не мог, лишь хрип вырывался из его груди. Наконец, голова его бессильно откинулась на подушку, и он затих, а Женщина заплакала

тихо, беззвучно, лишь худенькие плечики её вздрагивали под тёплым старым пледом. Старый моряк был мёртв.

Спустя несколько лет после смерти капитана Доумена его вдова передала восстановленный парусник Морскому колледжу. В 1949 году «Катти Сарк» становится собственностью Национального Морского музея в Гринвиче, а ещё через пять лет, в 1954 году, клипер установили в сухом доке на берегу Темзы.

Именно капитан Доумен, «случайно» оказался в порту Фалмут в один из ненастных дней 1920 года, куда спасаясь от шторма, зашло судно под именем «Мария де Ампару» (по другим сведениям "Ферейра"). Но ни обрывки грязных парусов, свисающие с поломанных мачт, ни другое название не могли обмануть Доумена. Такие великолепные, изысканные обводы корпуса могли принадлежать лишь одному судну. И лишь одному судну могла принадлежать эта странная носовая фигура – девчонка в короткой рубашке с копной развевающихся волос, девчонка, сжимающая в вытянутой руке лошадиный хвост. В этом, словно явившемся с того света корабле – призраке, он узнал «Катти Сарк», на которой служил когда-то в юности юнгой.

На то, чтобы выкупить и восстановить

парусник, ушла большая часть сбережений Капитана. Что случилось потом, вы уже знаете. К сожалению, он не дожил до того дня, когда в сухом доке на берегу Темзы встало на вечную стоянку судно, спасённое им от неминуемой гибели.

Оно и по сей день стоит в далёком туманном Альбионе. На его борту создан уникальный музей носовых фигур, и всё так же рвётся навстречу морским ветрам Нэн Короткая Рубашка. И совершенно неважно, какой век бурлит вокруг. По-прежнему бредят мальчишки дальними странами и неоткрытыми островами.

Вы говорите, что не осталось белых пятен на карте? Но у каждого поколения своя TERRA INCOGNITA. Её Величество Мечта царствует вне времени, и границы её простираются далеко за пределы Зурбагана и Лисса, до самой таинственной страны NEVERLAND. Там, на просторах Мечты, несётся под парусами, полными попутного ветра, прекрасная «Нэн Катти Сарк», несётся в порт приписки по имени Вечность.

P.S.: Эта миниатюра была опубликована в 2006-ом году, когда клипер "Катти Сарк", ещё стоял в сухом доке в Гринвиче. 21 мая 2007 года на судне вспыхнул пожар, который практически

уничтожил легендарный парусник. Что послужило причиной пожара?

Думаю, что ответ знает только она – Вечная Нэнни.

И можно надеяться на то, что и на этот раз судьба будет благосклонна к судну.

[Оглавление](#)

# Ода одиночеству

Я не устаю от одиночества.

Призрачная пелена его соткана из мгновений, стекающих с кончиков пальцев, с усталых ресниц.

Вьётся золотая нить времени, сплетается в причудливый, замысловатый узор, и умещаются в нём дни и недели, месяцы и годы; – в нём умещается целая жизнь, отделённая таинственной завесой от вечно спешащего, суетного людского потока.

Я не устаю от одиночества.

Наш союз священен. Я слушаю тишину, наслаждаясь изяществом и совершенством окружающего мира, покачиваюсь на ленивых волнах сиреневой лагуны.

В шелесте листвы слышатся мне обрывки фраз, в шуме дождя угадываются неожиданные образы и лица, в лёгком дуновении ветра я улавливаю музыку небес.

Так рождаются стихи...

Я не устаю от одиночества.

Дважды я нарушала наш союз и дважды возвращалась, опустошённая. А оно, обволакивая меня золотисто-сиреневой дымкой,



зализывало мои раны.

«Время всё лечит...», – приговаривало оно, и урчание его было похоже на урчание согретшейся и согревающей кошки.

«Время всё лечит...», – шелест листвы за окном убаюкивал, и стаккато дождя разбивало в пыль обиды.

И оживали воспоминания.

О том, как...

...появилась Она. Мы были схожи лишь тем, что абсолютно были непохожи на других. Я щедро делилась своим миром, открывая самые сокровенные уголки, безжалостно сдёргивая золотисто-сиреневую завесу. Я и не замечала, что небо стало обыденно серым, а моя сиреневая лагуна превратилась в грязную лужу.

«А как же я? – моё одиночество смотрело на меня голодными, слезящимися глазами маленького бродяги-котёнка, выброшенного на улицу дождливым осенним днём. – Твоей новой пассии не нужен твой мир. Ей никто не нужен, кроме самой себя. Рано или поздно она предаст тебя, и ты будешь страдать».

...Она предала меня ни рано и ни поздно. Она предала меня в тот самый день и час, когда я более всего нуждалась в её поддержке. Предательство отрезвило и ожесточило меня.

Страдала ли я? Вероятно да, но благодаря этим страданиям я научилась ценить своё одиночество.

Мы долго залечивали раны, и прошло немало дней и ночей, прежде чем золотой покров был восстановлен, а сиреневая лагуна вновь засияла нежным изысканным светом.

И тут в моей жизни появился Он.

– Отпусти! – взмолилась я, но равнодушная сиреневая гладь лениво плескалась у ног, оставляя мои стоны без ответа.

– Отпусти меня, пожалуйста! Я не смогу жить без него. Я люблю его.

Огромная волна рассмеялась мне в лицо и рассыпалась мириадами сверкающих сиреневых брызг.

– Что ты называешь любовью? Это всего лишь инстинкт продолжения рода, инстинкт самки – не более. Сейчас ты скажешь, что хочешь родить от него ребёнка.

– Я действительно хочу родить от него ребёнка! Прости...

Сиреневая гладь вздрогнула и стала почти чёрной.

– Мне не за что прощать тебя. Ты всё равно не сможешь уйти. Ты будешь делить с ним кров,

постель и кусок хлеба. Ты родишь ему сына, ты будешь заботиться о них, возможно, станешь примерной хозяйкой и образцовой матерью. Но помни: ещё никому не удавалось уйти от себя. Ты обрекаешь себя на раздвоение. Ты будешь разрываться между кухней и тетрадью, пока одна из них не одержит победу. И вот тогда придётся сделать выбор.

– Я попробую совместить...

Вздых, исполненный сожаления, был мне ответом, и в тот же миг исчезла золотая пелена, и пересохла сиреневая лагуна.

Мы жили долго и счастливо. У нас родился сын.

Годы шли всё быстрее и быстрее, и по ночам, возвращаясь к тетради со стихами, я всё чаще и чаще ловила себя на том, что покачиваюсь на нежной сиреневой глади волн, а свет, льющийся с неба, согревает и убаюкивает меня.

Я не устаю от одиночества.

Наш союз священен.

Моя жизнь пролегла тонкой линией рядом с жизнью близких мне людей, но линии эти параллельны.

Я живу с ними – и постоянно одна.

Вокруг меня десятки, сотни, тысячи людей, но я всегда одна.

Лишь иногда моя маленькая кошка садится рядом и громко мурлычет, щуря ярко-зелёные глаза. Она знает мой мир так же хорошо, как знаю его я. Она – единственное существо, которое видит сиреневую лагуну.

Я не устаю от одиночества.

Я покачиваюсь на сиреневой глади, исполненная надежд, стихов и покоя...

Золотая нить по-прежнему сплетает минуты в причудливый узор.

Возможно, это и есть Вечность?



## Оглавление

# Мадонна

Я смотрю на её сливочно-матовую кожу, на округлый живот, угрожающе натянувший пёструю ткань лёгкого летнего платья. Светлые локоны излучают сияние, и радужный нимб дрожит над совсем ещё детским личиком.

– Наверное, будет мальчик, – говорит она, улыбаясь, но улыбка её предназначена не мне, а тому, что зреет в ней; и глаза её исполнены света и надежды.

– О чём ты мечтаешь? – спрашиваю я свою случайную попутчицу, заранее зная, что она ответит. Мечты всех таких беременных похожи, как две капли воды.

– Хочу, чтобы он родился здоровым, чтобы муж спешил с работы домой, и я кормила бы его горячим вкусным борщом.

– Разве варка борща достойна Мечты? Мечтают о чём-то возвышенном и светлом.

В её карих глазах таится мудрость, недоступная мне, мудрость жрицы, хранительницы семейного очага.

– Всё дело в том, для кого варишь борщ. Если для любимого человека, тогда это достойно мечты.

Она сошла на остановку раньше, и я невольно залюбовалась её осторожной и величественной поступью. Так ступают беременные и богини.

А ведь она по-своему права, маленькая кареглазая Мадонна!

Когда-то давно, в прошлой жизни, моя единственная подруга, глядя на то, как я готовлю очередную «вкусняшку» для своих мужичков, сказала: «Ты будешь варить борщи и печь пироги, и будешь счастлива.»

Я до сих пор не знала, чего в этой фразе больше – зависти или сочувствия.

Теперь знаю.

Спасибо тебе, маленькая кареглазая Мадонна.

Оказывается, я была счастлива.

Просто... не замечала этого?

[Оглавление](#)

# Не предавайте старые дворы...

В Одессе осень.

Вздрагивает золотой пятипалый лист на детской ладошке, льётся нежно-золотое свечение, заполняя собой самые потаённые уголки города, и город озаряется тихой светлой радостью.

Я спешу в Пале-Рояль к моей подружке – нимфе, маленькой хозяйке фонтана в самом сердце дворика. Ей здесь уютно под боком у Оперного театра. Слушает вечная наяда свою любимую «Аиду» и улыбается едва заметной улыбкой, таящейся в уголках изящных губ.

А чуть левее Амур и Психея застыли в робком прикосновении, и нет им дела до осени: у влюблённых одно время года – весна.

На скамейке под раскидистым золотым шатром старой акации – женщина. Седые пряди выбились из-под платка, полные ноги в ботиках...

Я знаю эту женщину. Когда-то она жила здесь, в одной из многочисленных квартир старого дома, и окно её комнаты выходило во двор. Только седина тогда в её волосах была не так заметна, и глаза смотрели не так безнадёжно и тоскливо.



Однажды я сидела на той же скамейке, что и сейчас, а маленькая нимфа, склонив изящную головку, грустила: в фонтане не было воды.

Женщина вышла из подъезда напротив и медленно направилась к свободной скамейке, но неожиданно присела рядом со мной.

– Ждёшь кого или просто так, передохнуть решила? Частенько вижу тебя из окна.

Голос её звучал удивительно молодо, словно жил сам по себе отдельной жизнью и ей не принадлежал.

– Передохнуть. Мне нравится сюда приходить, хорошо здесь.

Она посмотрела на меня с удивлением.

– Что же тут хорошего?

– Да всё! И этот дом, и фонтан во дворе, и Амур с Психеей.

Женщина улыбнулась:

– Я в этом доме три десятка лет живу, и так устала! Здесь же коммуналки, деточка, а мне так хотелось хоть на старости лет пожить отдельно, чтобы на кухне сама себе хозяйка, чтобы лифт в доме был, мусоропровод. А «психеями» нас не удивишь. У нас в коммуне их хватает, психушка по нам давно плачет. И «амуров» на скамейках здесь хоть отбавляй, дай только стемнеет.

Моя семья в то время жила в обычной безликой девятиэтажке, в одном из «спальных» районов, и каждый выход в город был для меня праздником. Как я завидовала людям, живущим в старых домах, где потолки не угрожают раздавить тебя, где ступени широких мраморных лестниц хранят следы Вечности!

– Здесь можно услышать, как бьётся сердце города, – неожиданно произнесла я.

В глазах женщины промелькнуло сочувствие.

– Вот я и говорю, «психеями» нас не удивишь, – она встала со скамейки и, не прощаясь, ушла.

А я осталась.

И отчего-то скверно было у меня на душе.

Прошли годы.

Мечта женщины сбылась, она переехала в отдельную квартиру со всеми удобствами: в дом, где есть лифт и мусоропровод, и где на кухне она сама себе хозяйка. Но видится ей из открытого окна её старый двор, где белеют в густом сиреневом сумраке силуэты Амура и Психеи, а тишина, к которой она так стремилась, обернулась тоской и одиночеством.

Она часто приезжает сюда и подолгу сидит на скамейке у фонтана. Ей очень не хочется возвращаться в новую квартиру, ей кажется, что здесь, в старом дворе она забыла что-то важное,

без чего жить нельзя.

Древние эллины представляли себе человеческую душу в виде бабочки.

Порхающая над цветком, она сама напоминает цветок.

Но стоит коснуться тонких крылышек руками, и поблекнет, осыплется радужная пыльца, и останутся на них уродливые тёмные пятна.

Такие же пятна остаются на душах от обид, зависти и предательства.

В поисках лучшей жизни летим мы на яркие огоньки комфорта и удобств, не задумываясь, чем придётся платить. А цена порой непомерно высока, и меркнет свет в душе, и ощущение внутренней пустоты, чёрной и пугающей, с годами всё сильнее и сильнее.

С телом проще – его можно отмыть.

А как отмыть душу?

Как сделать так, чтобы чёрных пятен стало меньше?

Женщина, измученная лабиринтами коммунальных коридоров, знает это, как никто другой.

В новой квартире удобно и комфортно её телу.

А здесь, в Пале-Рояле оживает её душа, и чёрная тень внутри отступает, и дышать

становится легче.

Не предавайте старые дворы, ведь только здесь можно услышать, как бьётся сердце города.

[Оглавление](#)

# Чеховские мотивы

Веет спокойствием от давно забытого слова "усадьба".

Кажется, вот они, составляющие антураж декорации.

Дом. Непременно белый, – и с мезонином.

Сад, а в саду пруд с золотистой россыпью кувшинок.

Да, а сад, сад конечно же – вишнёвый, и в распахнутые окна рвётся белоснежная пена цветущих вишен, и витает в доме нежный, волнующий аромат.

Вишня цветёт.

Замерли смуглые ветви под кружевным покрывалом, и лишь изредка вздрогнет самая шальная из них, и ляжет тогда на влажную землю белый шлейф опавших лепестков.

Что видится нам в упоительном белоснежном танце, о чём думается, о чём мечтается?..

О чеховском "Вишнёвом саде" ли, о трепетном ожидании невесты в подвенечном уборе, о спелых глянцеваых ягодах в ажурной зелени?

Сколько вёдер соберём! Ну что же, как ни крути, вишня – дерево плодовитое, продукт

приносит полезный и вкусный.

Ну, а перестанет приносить – не так уж долг  
век её... срубим!

И вот уже там, где плескалось белоснежное  
марево, стучат топоры.

Вишню рубят...

Пьяные мужики стучат тяжёлыми топорами,  
рубят вишню в цвету и втаптывают опавшие  
лепестки в землю грязными сапожищами, не  
оставляя надежды на чудо. И чуда не  
происходит... Что нам, живущим сегодня, до  
наивных и смешных чеховских размышлений о  
духовности, есть ли кому дело до хрупких и  
ранимых героев пьес его и рассказов?

Иные времена грянули, иные ценности в  
почёте.

Пришли на смену раневским новые лопахины,  
новые хозяева жизни.

И стучат, стучат топоры в вишнёвых садах...

А может и впрямь, не нужен нам Чехов?

Тихоня-интеллигент, неудачник-докторишка...

"Отчего люди не летают?" – бред какой-то,  
Антон Палыч, батенька, да ведь нам летать не  
надобно. Это всё Александр Николаевич  
выдумать изволили.

Оне-с... Оне-с...

Нам на земле-матушке спокойнее.

Да и птица нам нужна полезная, домашняя – курица, к примеру, или утка. Что толку в чайке Вашей, одно расстройство...

А домашней птице летать и смущать население криками не полагается, ей жиреть положено, чтобы к зиме быть зарезанной. Так что чайка Ваша, – птица никчёмная, птица вредная, тоску нагоняет своими криками. Вот так и живём с меркой "полезности".

И в ослепительно-белом сиянии видим лишь банки с вареньем.

Всё для неё, родимой, для утробушки... А ежели душа чего испросить вздумает (она тоже птица вредная, эта душа, нет-нет, да и напомним о себе), так мы ей страсти мексиканские!

Они, педры и кончиты, страдать о, как умеют, да ещё и плачут при этом всем лицом.

Мы – дилетанты супротив них в этом деле, плачем только глазами, а они – ух...

На тебе, душенька, впитывай, страдай родная, на то ты и душа, чтобы страдать.

Глядишь, и притихнет горемычная.

О вкусах не спорят.

И жаль! Коль существует понятие "дурной вкус", должно быть "нечто" ему

противоположное.

Только где оно, это "нечто"?

Не на пыльных ли книжных полках, куда заглядывает лишь вид, ныне вымирающий, "человек читающий"?

На что же уповать нам, ослепшим от безвкусных кричащих глянцевых обложек, нам, увязшим в мыльной пене бесконечных сериалов и рекламных роликов? На что же, как не на душу.

Многое сносила она на своём веку, снесёт и это смутное время, снесёт и напомним о чистом, подлинном, вечном. А что до страданий мексиканских, так страдать мы умеем ничуть не хуже.

Да и что страдания те, в сравнении с нашими?

Смех, да и только!

Остановиться бы, оглянуться.

На что смотрим, что читаем, чем живём мы сегодняшние, в сегодняшних окаянных днях? Самое время нам – по бунинским тёмным аллеям да за антоновскими яблоками, а детям нашим – на заветный Бежин луг да в Кладовую Солнца.

А там рукой подать до волнующего кипения вишен.

Вскрикнет вольная птица чайка...



Тоски и ожидания полон её крик – скорее бы...

Все мы придём туда рано или поздно: каждый своим путём и в своё время.

И ничего, что путь будет нелёгким, главное – идти, ведь только идущий его и осилит.

Апрель-май 1996 год

[Оглавление](#)

# ПОВЕСТИ

## ЗАТЕРЯВШИЙСЯ ВЗГЛЯД

*Кто сказал, что наше прошлое  
принадлежит нам?*

*Если бы это было так, то мы стали бы  
властелинами своих воспоминаний.*

*Это так просто – ...забыть...*

*Но не мы властны над прошлым – только  
оно имеет над нами безграничную власть.*

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

Трамвай плыл сквозь октябрьскую промозглую утреннюю туманность, в вагоне становилось всё светлее и светлее: где-то там, за серыми полусонными домами, медленно и нехотя вставало солнце.

Девушка, сидящая у окна, держала огромный апельсин в руках, и тонкие пальчики её казались прозрачными на фоне пылающего, источающего нежный аромат оранжевого шара. Отсветы

апельсинового чуда полыхали на щеках, вспыхивали в непослушных прядях выющихся густых волос, выбивающихся то и дело из-под спортивной шапочки.

Странное оцепенение овладело людьми. Зачарованные, они смотрели на апельсин, и глаза их теплели, согреваясь в свете, пробуждающем воспоминания о безмятежном довоенном времени.

Девушка с апельсином была оттуда, из детства, беззаботного и далёкого. Многим пассажирам трамвая пришлось повзрослеть рано, – их детство было украдено войной и теперь казалось выдуманным, приснившимся, рассказанным кем-то...

Яркие, золотисто-рыжие волосы девушки, её длинный полосатый шарф, где полоска зелёная чередовалась с полоской оранжевой, зелёная шапочка с пушистым помпоном, – всё это тоже выглядело ненастоящим, неестественным, не принадлежащим к серому октябрьскому утру одна тысяча девятьсот пятьдесят первого года.

Он уже видел раньше эту девушку, вот только не помнил где, при каких обстоятельствах. Да и она, видимо, знала его, потому что время от времени, поворачивалась к нему и вопрошала синим взглядом, недоумевая: «Ну, что ж ты? Почему молчишь, почему не помашешь мне

рукой, не подойдёшь? Мы ведь сто лет знакомы!»

Самый настоящий «апельсиновый» голод овладел им. Впервые за много дней, отдаляющих его, но не отдаливших ни на миг от страшного декабря сорок второго, ему захотелось очистить апельсин от влажной пористой кожуры и, разнимая с лёгким сухим треском солнечные прохладные дольки, медленно отправлять их в рот одну за одной, до тех пор, пока из глаз не потекут слёзы, и опомниться, когда всплывёт из темноты сознания мамин крик: «Аркаша! Что же ты наделал... А Мишеньке?»

И знакомая волна тошноты поднялась со дна памяти, куда он заглядывать боялся, но делал это каждую ночь, в каждом из своих коротких, чёрно-белых снов, в которых только апельсин был цветным – ярко-оранжевым.

В сорок втором ему исполнилось одиннадцать. А Мишеньке – шесть... Исполнилось бы шесть, если бы он дожил до своего дня рождения. Двадцатого декабря – у него, двадцать третьего – у Мишеньки.

Но Мишенька не дожил, умер, глядя, как он, получивший в подарок на день рождения неслыханную и невиданную им доселе роскошь – настоящий апельсин, съел сначала его, а потом и горькую, вяжущую рот кожуру. Из глаз лились слёзы, в горле невыносимо щипало, а он

запихивал в рот куски кожуры и судорожно прикрывал его руками – боялся: вдруг младший брат попросит кусочек.

Мамин крик вернул его в холодную и голодную блокадную реальность, и ему стало невыносимо стыдно перед мамой, выменявшей апельсин на небольшое овальное панно, привычно висевшее над их с папой кроватью. Мама и папа с гордостью говорили: «Коровин. Подлинник...». Он понятия не имел, кем был этот самый Коровин-Подлинник, но панно до слёз было жаль, оно было оттуда – из кем-то рассказанного и придуманного времени – из детства.

Стыдно было и перед папой, который не видел этой гадкой, отвратительной сцены, но обязательно узнал бы о ней, вернувшись с фронта, а более всего было стыдно перед молчаливым Мишенькой.

Потом его рвало оранжевой едкой кашцей, а Мишенька смотрел на всё это и по-прежнему молчал. Мама подошла, легонько толкнула брата в плечо, тот упал... Мама опустилась на колени и...

Она не заплакала, нет, она завывала. Сначала тихонечко, потом всё громче и громче, раскачиваясь над начинающим коченеть тельцем младшего сына.

До сих пор он просыпался по ночам оттого, что

слышал её вой.

Однажды случилось раздобыть апельсин. Он сразу пошёл к старому дому на Малой Подьяческой и оставил фрукт во дворе на скамейке, где мама часто сидела с маленьким Мишенькой, поджидая его из школы, а папу с работы.

Брата она похоронила сама, а её схоронили чужие люди в братской могиле. Отыскать в какой – до сих пор не получилось. Поэтому он и оставил апельсин у старого дома. Ему казалось, что маме тоже хотелось тогда съесть солнечную долечку. Или, хотя бы, половинку долечки.

Она умерла за пять дней до того, как в их квартиру ворвался солдат в валенках и дублёном полушубке, схватил его на руки и крикнул кому-то в дверь: «Здесь ещё мальчик. Живой...».

Солдат вынес его на лестничную клетку, где на ступеньке сидело странное существо, закутанное в огромный платок. Синие глаза на прозрачном лице казались безжизненными, потухшими. Существо шепнуло: «Я – живая. Мои все умерли...», – и потеряло сознание.

От блокадного прошлого осталось тяжёлое наследство: сны, в которых всё ещё хотелось есть, бережное отношение к хлебу, «апельсиновая» тошнота, чувство вины перед мамой и Мишенькой, и умение отличать сытого

человека от голодного. У того усача с чёрного рынка, который в обмен на панно протянул маме оранжевый шар, просвечивающий через тоненькую папиросную бумагу, и малюсенький, будто кукольный мешочек с мукой, вид был довольный, глаза блестели особым, «сытым» блеском, и румянец играл во всю щеку.

В вымерзающем, вымирающем, осаждённом Ленинграде таких людей было немного, но они были. От них и пахло по-другому, – сытостью, тёплым хлебушком, едой. И вели они себя уверенно, нагло, смело, тогда как голодные, обессиленные, измученные голодом и холодом люди, двигались медленно, рассчитывая каждый свой шаг, каждое движение, каждый вздох.

Вынырнув из холодного потока воспоминаний, он вновь встретил взгляд, синий и насмешливый. Представил, как протягивает ей апельсиновую дольку, как по нежному, округлому подбородку стекает густой, липкий апельсиновый сок, как целует её пухлые влажные губы.

Она сошла на той же остановке, что и он, пошла медленно, давая ему ещё один шанс. Трамвай давно ушёл, а он стоял и смотрел ей вслед, не переходя улицу, чувствуя, что вот-вот она обернётся. Не может не обернуться.

И она действительно обернулась, и тогда он рванулся на оранжевый зов, забыв обо всём на

свете.

В маленьком безлюдном скверике они поделили апельсин пополам и съели, беспричинно хохоча на всю округу. Оранжевое свечение не исчезло, оно проступало теперь откуда-то изнутри. Её волосы, кожа, улыбка – всё излучало живое, ни с чем несравнимое солнечное тепло.

– Рената, – она протянула испачканную апельсиновым соком, крепкую ладошку. – Меня зовут Рената. Половина знакомых называет меня Рена, половина – Ната. Отзываюсь и на первую часть имени и на вторую.

– Аркадий, – он осторожно взял её липкие пальчики в свою ладонь и поразился их цепкости.

– Давай поженимся, – неожиданно быстро сказала она.

Аркадий рассмеялся, но оборвал смех под ледяным лезвием синего взгляда.

– Прости. Шутки у тебя, Рета. Мы знакомы, – он посмотрел на отцовские часы, – сорок пять минут. Половина первой пары прошла...

– Как ты меня сказал? – Синий лёд начал потихоньку подтаивать. – Надо же, меня никто так не называл ещё. Значит – женимся! А насчёт сорока пяти минут, ты ошибаешься. Я тебя знаю



давно, ты учишься на факультете у моего отца. И мне кажется, что я тебя видела ещё раньше, в детстве. Ты на какой улице живёшь?

– На Бумажной... Я просто соединил первую часть имени с последней, опустив середину. По-моему – неплохо звучит: Ре-та. Эраст Леонидович твой отец?

– Отец. Мой отец. И, возможно, твой будущий тесть... – Рената резко поднялась со скамейки. – Моё предложение остаётся в силе до... завтра. Если надумаешь, позвони вот по этому номеру. Звонить можно и ночью – я перенесу аппарат к себе в комнату. Завтра – в ЗАГС. А вечером – в Москву.

– Зачем в Москву? – недоумевающий Аркадий смотрел ей в глаза, пытаясь убедиться в том, что она шутит.

– Хочешь прославиться? Объездить со своими картинами весь мир, продавать их на аукционах в Лондоне, Париже?

На твои персональные выставки люди будут выстраиваться в очередь, а твои работы будут скупать для коллекций в загородные дома. Ты получишь Сталинскую премию, потом – Нобелевскую...

Жить мы будем в Москве, там нас ждёт трёхкомнатная квартира. Какой у тебя размер

обуви? – поинтересовалась она, как бы между прочим, – а рост, кажется, – третий...

– Сорок третий... – Аркадий оглянулся. – Рета, а ты не боишься, что я сейчас пойду на Литейный – в «Большой дом», – и там всё расскажу. И твоего отца... Да и тебя – тоже... Как же так можно – первому встречному. И потом, насчёт моих картин, которые будут покупать для коллекций миллионеры, – а вдруг я – бездарь, обычный маляр? Ты же не видела их, а если и видела, то твоё мнение ровным счётом ничего не значит.

– Никуда ты не пойдёшь, – усмехнулась Рената. – Я тебя насквозь вижу. А картины твои я знаю – успокойся. Более того, открою тебе один ма-а-ленький секрет: одна твоя работа за прошлый курс укатила в Армению, да ещё как укатила! Папе за неё хорошие деньги заплатили. Но дело не в этом. Потом. Потом мы сядем, и на семейном совете тебе всё расскажем. Как сделать так, чтобы твои работы покупали – что для этого нужно... И что – не нужно. Я жду звонка!

И она ушла, размахивая длинными концами полосатого шарфа, а он понял, что ни на какие занятия сегодня уже не пойдёт. В происшедшее не верилось, в услышанное – тем более. Но кожа на руках ещё оставалась липкой и остро пахла

цедрой, а на губах дрожал апельсиновый, кисловато-сладкий привкус поцелуя.

Поздно ночью, когда соседи уже спали, он выскользнул в коридор, осторожно снял трубку и набрал номер. Ответили сразу, видимо звонка ждали и были уверены, что он позвонит.

Голос его, хриплый и чужой, вымолвил всего одно только слово, и слово это, смешавшись с гулом тысячи других слов в телефонных проводах, полностью изменило его судьбу, судьбу синеглазой девочки и судьбу их ещё не родившегося сына.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Такое иногда случается...

Взгляд Незнакомки, идущей навстречу, завораживает.

Ты останавливаешься, не в силах отвести глаз, никого и ничего не замечая. Кроме неё...

Ты пытаешься вспомнить, где и когда мог видеть женщину со спокойным, знакомым до сбоев в сердце, тёплым синим взглядом.

Она прошла мимо и даже не взглянула на тебя; уходя всё дальше и дальше, она сольётся с пёстрой толпой, и ты никогда больше её не увидишь.

На Земле заканчивается воздух.

Да что там, воздух, – сама Земля прекращает своё существование.

Как только это происходит, ты осознаёшь – так смотрит Судьба.

Откуда бы ни выплыл, где бы ни настиг тебя синий взгляд: в призрачном ли прошлом, в туманном ли будущем, – его нельзя не почувствовать – он особенный.

Сколько минуток-песчинок канет в небытие, пока ты начнёшь замечать насмешливые

улыбочки и слышать обидные реплики прохожих; они адресованы тебе и вызваны твоим дурацким видом: стоишь как истукан, посреди улицы, с открытым ртом.

Самым остроумным из них ты, наконец, даёшь понять, что не такой уж истукан, и улыбочки исчезают, затем исчезают и лица, а ты плетёшься домой сам не свой.

Дом изменился. Ещё утром он был родным и уютным, был тем, что называется кровом, а сейчас здесь всё чуждое – не твоё, инородное и даже враждебное.

Безуспешно пытаюсь вспомнить лицо незнакомки, ты роешься в кипах старых газет и журналов, перелистываешь какие-то альбомы, перебираешь пухлые, растрёпанные папки рисунков и фотографий.

Среди вороха старых бумаг, пожелтевших от времени, ты находишь то, что так упорно искал, опускаешься в кресло совершенно обессиленный и плачешь.

Ты вспомнил...

Незнакомка встреченная тобой сегодня на улице, как две капли воды похожа на женщину, преданную тебе и преданную тобой когда-то.

На тебя обрушиваются воспоминания... Душат... Причиняют невыносимую боль.

Если бы ты знал, чем придётся платить за сделку с собственной совестью.

За персональные выставки и мастерские в подвале, стены которого выложены голландскими изразцами, за прижизненное членство в Союзе, за дачу... за поездки в Финляндию и во Францию, за холодильник, набитый греческими маслинами, финским сервелатом, шотландским виски и итальянским мартини, французским сливочным маслом и русской чёрной икрой.

Это потом ты поймёшь, что между самогоном, абсентом, французским коньяком, итальянской граппой нет различия. Нет различия в том, какое пошло ты вливаешь в себя, чтобы хоть как-то заглушить боль... и стыд... и ненависть.

Тебе всё ещё снятся сны, в которых ты голоден. Первые годы после женитьбы, ты просыпался посреди ночи и на цыпочках шёл к холодильнику: проверял, вдруг он на самом деле пуст.

А ещё тебе снится, как мама кормит Мишеньку апельсиновой коркой. Ты рвёшься к ним, крича, что апельсинов полным-полно в холодильнике, но они тебя, как это часто бывает во сне, не слышат. Они улыбаются друг другу; мама гладит Мишеньку по голове, и по лицу её текут слёзы... они не замечают тебя и... они так счастливы.

И во всех снах ты чувствуешь на себе чей-то взгляд – кто-то смотрит на тебя, наблюдая всё это время, кто-то тебя ждёт.

Кто?...

Бесформенное нечто с блуждающей пьяненькой ухмылкой, перепачканное блевотиной нечто, бывшее совсем недавно лицом твоей жены, очень быстро сотрётся из памяти, а вот от взгляда из сновидений не так-то просто избавиться.

Ты шарахаешься от вырвавшихся наружу воспоминаний и в исступлении рвёшь рисунок, который так долго искал. Открываешь окно, – и вот уже январский ночной ветер гуляет по комнате. Он подхватывает обрывки и несёт их к тебе, но ты закрываешь окно и испуганно смотришь как за стеклом, в свете ночных фонарей пляшут частички разорванного тобой рисунка. Их хаотичный, нервный пляс похож на танец мотыльков, он так же беспечен и непредсказуем.

Некоторые из них прилипают к стеклу. Ты, вне себя, вновь распахиваешь окно и сбрасываешь их вниз, в пугающую, непроглядную темень, в самую глубину морозной январской ночи.

Всё.

Ты свободен.

Облегчённо вздыхая, устраиваешься в кресле и пытаешься согреться, но снова чувствуешь на себе чей-то пристальный взгляд... Словно во сне...

Обрывок, на котором нарисованы глаза, не улетел. Он прижался к стеклу и наблюдает за тобой. Смотрит насмешливо. Или... печально?.. Смотрит внутрь тебя и видит тебя насквозь, всё твоё гнилое, продажное нутро. От этого взгляда невозможно скрыть что-то, невозможно солгать, притвориться...

И тогда ты разбиваешь оконное стекло, и взгляд летит в ночь вместе с осколками. Он падает медленно-медленно и почему-то долго не переворачивается...

Со дна январской морозной ночи на тебя устремлён синий взгляд. Что в нём, укор? Упрёк? Ненависть?

Нет – только любовь и нежность, нежность и любовь... и тепло, робкое, живое, едва различимое тепло где-то в области сердца.

Звон, как всхлип. Всё. Взгляда больше нет.

Теперь – спать... Только обязательно завесить окно. Но поздно.

Ночной январский ветер возвращается в комнату, в душу, в сердце – в твою жизнь.

Ты замерзаешь.



## **ГЛАВА ТРЕТЬЯ**

Синельников умирал тихо, так же, как жил, – не привлекая внимания. Маленькие крепкие руки Иришки дрожали, с первого раза сделать укол не получилось, да и вряд ли он бы помог ему – крылышки носа старика уже посинели.

– Если сейчас не придёт в себя – всё! – хмыкнула Кира, старшая медсестра одного из отделений лечебницы Св. Николая Чудотворца, – старейшей психиатрической клиники Санкт-Петербурга, именуемой в народе Пряжкой.

– Кира, как же это, а? – Иришка всхлипывала, не отпуская безжизненную руку Синельникова, – Ведь делаем всё, что нужно. А он, вон какой... холодный. Зови Валерия Николаевича скорее!

Кира равнодушно посмотрела на пациента, не подающего никаких признаков жизни.

– Ну и что, что холодный. Видать, он ещё раньше околевать начал – вот и окоченел. Ты что, жмуриков никогда не видела? Чего ты рвёшься, словно он твой родственник. Первый, никак? С почином что ли тебя, Скворцова.

Она выглянула в коридор и громко, словно и не было вокруг людей, мягко говоря, нездоровых, крикнула:

– Врача во вторую палату!

Иришка глотала слёзы, отказываясь верить в смерть пациента. Действительно, за те полтора года, что она здесь работала, на её дежурствах никто не умирал – повезло.

А старика было жаль. Она вряд ли могла объяснить самой себе, а уж тем более Кире, причину этой особенной жалости.

Синельников был тихим. Он не кричал, никогда ничего не требовал, много читал, часто рисовал в тетради, которую ему принесла Иришка, потом рвал рисунки и тихонько плакал, отвернувшись к стене, никому о своих бедах не рассказывая. За диагнозом «шизофрения» всегда скрывается чья-то сломанная жизнь, исковерканная судьба, трагедия.

И те, кого принято называть психами, психи и есть, вот только слово это превратившееся в оскорбительное, ругательное, означает, что у человека есть душа, и душа эта больна.

О таких больных скорбят небеса. И существует для этих лечебниц вполне соответствующее их духу название: лечебницы для душевнобольных или дома скорби. Иришка чувствовала, что и Синельникова гнетёт изнутри какое-то невысказанное чувство вины или обиды. На все расспросы он отвечал только одной фразой: «Апельсины в холодильнике. Скажите им,

пожалуйста. И закройте окно...». А все попытки узнать о нём немного больше скупых, стандартных записей в истории болезни вызывали неизменные насмешки Киры:

«Всех их тут что-то гнетёт, и мы тоже под их гнётом ходим. Дурики – одно слово!»

Вот и сейчас, вроде бы – отмучился старик, отстрадал, но Иришка не могла смотреть на смерть равнодушно и цинично, в отличие от Киры, снискавшей себе недобрую славу, как среди пациентов больницы, так и среди персонала.

– Надо же когда-то начинать, – без малейшего намека на сочувствие хихикнула Кира, – эй, Сковорцова, да ты рано ревёшь! Гляди-ка, очухался твой дедок! Намучаешься ещё с ним сегодня.

Иришка схватила руку Синельникова и радостно выкрикнула:

– Пульс! Нитевидный!

– Пульс-с-с, – передразнила её Кира, – вот и трепыхайся с его пульсом всю смену, ясно? Послушай, Сковорцова, мать Тереза тебе часом не мамкой приходится... или... бабушкой?

– Тебе знакомо чувство жалости, Кира? Говорят, что можно привыкнуть ко всему, но не настолько же. Ведь иногда человека можно

просто пожалеть, просто так, понимаешь? Не за деньги, не за красивые глаза, просто потому что он – человек. Живое существо с душой, а значит – со страданиями своими, с переживаниями... У тебя кошка есть дома? Или собака?

– А зачем ему моя «жаль» – усмехнулась Кира.  
– Че-ло-век! Поработаешь с моё здесь, вот тогда и будешь рассуждать о человеках и жалостях всяких. Если мы всех жалеть начнём, от нас самих ничегошеньки не останется. Так что, сама я себе кошка и сама себе собака, Скворцова, и сама себе человек. А ну, разошлись все быстро по палатам, сколько повторять можно!

У дверей толпились те немногие пациенты, кому можно было покидать свои места и гулять по узенькому коридору, пол которого был устлан толстым войлоком на резиновой основе, превращающим шаги в крадущуюся, осторожную поступь вышедшей на охоту кошки.

– Тебе бы нагайку в руки или плётку, – не выдержала Иришка, – и надзирателем в концлагерь.

– Запросто! Там порядка было больше. А здесь и персонал... того! – Кира красноречиво покрутила пальцем у виска и выплыла из палаты, пропуская врача к койке Синельникова.

Валерий Николаевич облегчённо вздохнул, увидев, как Иришка растирала ледяные пальцы

старика, пытаюсь хоть как-то отогреть их, и приговаривала:

– Что ж вы всё мёрзнете, Аркадий Самсонович? Я второе одеяло сейчас принесу – будет теплее.

Она заботливо подоткнула одеяло со всех сторон и поправила подушку.

– Не волнуйтесь, – чуть слышно отозвался Синельников. – Я дома был, а там очень холодно, вот я и замёрз. Да и стекло в моё отсутствие никто не вставил... Стекло оконное разбито, – пояснил он врачу, и во взгляде его не было и тени намёка на безумие, – конечно замёрзнешь.

Нагруженная тёплым одеялом Иришка постучала в ординаторскую:

– Валерий Николаевич, вы уже здесь? Думала – всё, – не вытянет Синельников... А он пришёл в себя и как в прошлый раз – замёрз. Я вот одеяло ему второе выпросила. Почему он мёрзнет? В палате ведь тепло... И всё про какое-то разбитое окно рассказывает, про дом и про апельсины. Но рассуждает так, словно и не болен.

– Добрая ты душа, Скворушка, – улыбнулся врач, – только второе одеяло вряд ли поможет... Да. Это термические галлюцинации. Очень часто ими страдают люди, пережившие холод. Вот, например, такую страшную блокадную зиму.

Хорошо, что заботаешься о нём, ведь у него никого нет. Я его на улице в прошлом году подобрал. У меня дежурство как раз на Рождество выпало. Еду, смотрю – сидит на остановке раздетый человек и какие-то обрывки складывает. Это в двадцатиградусный мороз-то! Прямо Кай, только оч-чень постаревший. Что-то меня заставило остановиться и подойти к нему... Он тогда себе пальцы на ногах отморозил, помнишь? Но с этим мы быстро справились.

– Помню. Неужели совсем никого? А в истории болезни написано, что жена есть.

Интересно, что за обрывки он тогда сложить пытался. Может быть, прояснилось бы что.

Валерий Николаевич выдвинул ящик стола и достал прозрачный пакет.

– Вот всё его имущество. Потом выяснилось, что он жил в доме неподалёку. Соседи его узнали, а он их – нет. Приходила старушка одна, соседка его, потом ещё одна – никого не вспомнил.

Старик этот наш, местный – питерец. Блокадник... Потом женился, в Москву уехал – большим художником стал. А жена появилась один раз, как же, помню. Вздорная, размалёванная старуха, вдрызг пьяная. Закатила истерику. Справку требовала о его недееспособности. Так что, даже если он и

выздоровеет, что маловероятно, то идти ему некуда – квартира, в которой он жил, наверняка продана. А ведь известным художником был! Соседи мне о нём многое рассказали.

Иришка бережно сложила обрывки альбомного листа.

– Смотрите-ка, что получается. Женское лицо. Только вот глаз не хватает. Красивая какая... Валерий Николаевич, а можно я домой заберу – попробую дорисовать глаза.

Я неплохо рисую. В художественное поступать собиралась, да Верочке моей медсестра сейчас нужнее. А потом мы Аркадию Самсоновичу рисунок покажем, и он что-нибудь вспомнит. Пойдите-ка, а дочь? У него ведь и дочь есть. Неужели человека можно бросить в беде, тем более – родного отца.

Тут номер телефонный – я позвоню? Вдруг дочь не такая, как жена? Вдруг она ничего не знает, а? Может, это она и есть на портрете? Хоть какая-то надежда.

Иришка разглаживала обрывки пожелтевшей от времени бумаги и всматривалась в разорванное лицо, пытаясь угадать, а скорее почувствовать, какие же глаза могли быть у этой русалки. Огромные, синие... Она уже видела это лицо где-то, лицо с таким вот взглядом.

«Да, тут чувствуется рука настоящего художника – не то что я...»

Она мечтала о художественном училище всерьёз. Рисовала неплохо – это у неё от Верочки дар был. Верочка писала удивительные пейзажи, в молодости её с Куинджи сравнивали и большое будущее прочили. Но всё сложилось иначе. На последнем курсе Верочку исключили из училища. Исключили за аморальное поведение, за... беременность. У Верочки была любовь, которой она оставалась верна всю жизнь, несмотря на то, что отец ребёнка бросил её. В июне пятьдесят второго она родила – и солнечные пейзажи сменились пейзажами ночными с косыми, неодобрительными взглядами соседок, с шепотком за спиной; а натюрморты состояли сплошь из пелёнок, распашонок, подгузников и бутылочек с молоком.

Сын вырос, женился на пятом курсе института на Катеньке Данченко, старосте группы переводчиков, и вскоре у них родилась дочка, беспокойная синеглазая егоза Иришка – вылитая Верочка. Потом родители Иришки уехали в Сирию – по контракту, а бабушка забрала внучку к себе. Девочка называла её только Верочкой и не иначе.

У Верочки было больное сердце, – ей тоже пришлось пережить блокаду, блокадники



отличаются сильным духом, а вот физическое здоровье у них слабое, да и не удивительно – такое перенести.

После окончания школы Иришка поступила в медицинское училище и впоследствии никогда не жалела о том, что стала медсестрой; достаток в доме был: родители помогали, зато теперь она могла прийти на помощь Верочке в любую минуту. На работу устроиться сразу не получилось: в обычных больницах мест не было, разве что санитаркой. Поэтому, когда узнала, что на Пряжке требуется медицинская сестра, пошла не раздумывая. В больнице её любили: она никогда не повышала голос, для каждого пациента находились у неё и доброе слово, и улыбка, и шутка, а если нужно – и укол, и таблетка. Расторопную весёлую девчонку в больнице называли ласково – Скворушка, и даже Кира относилась к ней неплохо, настолько – насколько была способна на это.

– Позвони, – согласился врач, – только не рассказывай никому и не показывай обрывки, особенно упырихе этой, – Кире. А Синельников неизлечим – случай не первый в моей практике, увы...

– Но попробовать-то можно, – не сдавалась Иришка. Она схватила одеяло и, улыбнувшись на прощание, выскользнула из кабинета.

Солнечный лучик её улыбки на миг осветил весёленькие стены ординаторской, пропитанные болью, человеческими страданиями и памятью.

А Скворушка уже неслась в палату. Укрыла Синельникова вторым одеялом, раздала назначенные лекарства, полила цветы в палатах, кабинетах и в столовой и никак не могла дожидаться окончания дежурства. Уж очень ей не терпелось прийти домой и показать Верочке рисунок. Сначала глаза – вернуть затерявшийся взгляд «русалке», а потом и показать: интересно, что скажет Верочка... Фамилия-то знакомая у Аркадия Самсоновича: Синельников. В Москве художник есть с точно такой же фамилией... Вдруг – родственник.

Мысленно она уже давно держала в руках карандаш, и лицо на обрывках пожелтевшего от времени альбомного листка, проступало со дна чужой памяти.

## **ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ**

– Чем это ты там занимаешься? – Верочка расцеловала внучку в смуглые, «персиковые» щёки.

– Пытаюсь представить, как бы могла взглянуть на нас с тобой эта девушка.

Иришка почти закончила рисунок, вот только взгляд никак не приживался, казался неестественным, чужим.

– Чай-то мы будем пить? Девушка твоя подождёт полчаса, а потом как взглянет на тебя, прямо как у Некрасова – «посмотрит – рублём подарит» – уж очень я по тебе соскучилась, егоза.

Иришка, улыбаясь, повернулась к бабушке и невольно залюбовалась ею.

Всё-таки, она удивительна, её Верочка. Гладко зачёсанные назад, светло-русые волосы открывали высокий лоб и стремительный разлёт бровей, – словно чайка крылья расправила над синей стихией взгляда. Изящная, с устремлённым вперёд, тонко очерченным профилем, Верочка и в свои шестьдесят пять была красива.

От неё веяло изяществом, простотой и вместе с

тем величием, благородством. Мама Иришки с лёгкой завистью произносила: порода! и вздыхала – в ней этой породы совсем не чувствовалось. Зато Иришка пошла в отца, и сходство с Верочкой угадывалось в ней сразу, и с каждым годом проявлялось всё отчётливее, всё сильнее.

– Неужели рисуешь, Иринушка? Глазам своим не верю! – Верочка расставляла на круглом столе чайные чашки и блюда, рисунок на которых точь-в-точь повторял рисунок на скатерти. И в этом тоже сказывалась порода, сказывалась вся она – Верочка. Если чаепитие, так непременно за круглым столом, покрытым белой вышитой скатертью, отделанной мережкой; полотняные салфетки с тем же самым рисунком, только помельче, и с той же узорной паутинкой мережки. Нежно-лиловые крокусы цвели на чашках, салфетках, скатерти... Казалось, по комнате плыл едва уловимый запах весны: талого снега, клейких почек тополя и лёгкий аромат зелёного чая...

– Если бы ты знала, как я рада этому. У тебя дар, а с ним нужно обращаться бережно, дар даётся свыше. Грешно пренебрегать чужим даром, но ещё более тяжкий грех – пренебречь своим. Тебе просто необходимо поступить в художественное – я уверена!

– Как тебе эта русалка? – Иришка, не оборачиваясь, показала ей листок, на котором пыталась вернуть взгляд красавице с разорванного рисунка Синельникова.

Чашка едва не выпала из бессильно опустившихся рук Верочки. Иришка рассматривала лежащие на столе обрывки и не обратила внимания на побледневшее лицо бабушки.

– Откуда это у тебя?

Ставший чужим, хриплый голос, перепугал Иришку. Она обернулась и поразилась неожиданно бросившемуся в глаза сходству.

– Откуда? – жалобно прошептала Верочка и ласково погладила рукой обрывки.

– Ты только не волнуйся, – усадив Верочку на диван, Иришка бросилась к шкафчику с лекарствами, – это Валерий Николаевич, наш врач дал... Это у одного пациента было при себе.

– Кто он?

– Валерий Николаевич его на улице подобрал, он чуть не замёрз. Он постоянно мёрзнет и никак согреться не может. И на прошлом дежурстве моём тоже чуть не замёрз – галлюцинации такие сильные, что он на самом деле мёрзнет. Ты только не волнуйся!

– Кто... он?

Побелевшие губы не слушались, онемели, и таблетка вновь оказалась в дрожащей руке.

– Верочка, кажется, я поняла, – вскрикнула Иришка, обнимая бабушку, когда лекарство подействовало, и Верочке стало лучше. – И как я только не догадалась, ведь она мне сразу знакомой показалась. Просто отсутствие глаз с толку сбивало. А теперь я знаю, что вернёт ей взгляд.

Она сделала пару едва уловимых, быстрых штрихов, и всё встало на свои места. Сейчас этот взгляд принадлежал именно ей, девушке с рисунка, разорванного Синельниковым, девушке по имени Вера.

Иришка знала, что Верочке пришлось пережить в молодости, но сейчас всё воспринималось по-другому. Встала перед глазами она, чуть моложе Иришки нынешней, светленькая, хрупкая. И то, как её предал любимый, и его женитьба на другой, и скоропалительный отъезд в Москву... И увиделось, как проступали первые, самые горькие морщинки у рта, и первая, самая заметная седина.

Конечно же, Верочка решила ждать его, и ждала, но он не вернулся. Она узнавала все новости от словоохотливой Туси, соседки Аркадия. Потом – из газет, в которых о нём писали часто и называли талантом, гением,

мастером. Напоминать о себе не хотела, просто продолжала жить и... носить ребёнка. Его ребёнка. Самим больным, самым непереносимым было то, что и он знал об этом.

Родные Верочки умерли во время блокады, отец погиб на фронте, поэтому помощи ей было ждать неоткуда. Её исключили из комсомола, потом – из института – время такое было. И почти все делали вид, что незнакомы с ней. Все, кроме Гели. Геля – Ангелина Петровна, одноклассница Верочки, и теперь была частой гостьей в их доме. Но, несмотря на трудности, сына Верочка родила и вырастила, а замуж так и не вышла, хотя воздыхателей было достаточно, как тогда, так и теперь.

О замужестве она и слышать не хотела – всю жизнь посвятила сыну, а когда родилась Иришка, полностью взяла на себя заботы о внучке.

– Аркаша был замечательным рисовальщиком, – дыхание Верочки становилось всё ровнее, но сбои ещё чувствовались. – У меня сохранилась целая папка его ранних рисунков. Мы же с ним не разлучались с того самого дня, как меня солдат из квартиры на руках вынес и принёс в соседний дом, посадил на ступеньки, прислонив к стене, чтоб не свалилась. Я от голода так обессилела – не только стоять, – сидеть не могла. Потом этот же солдат Аркашу вынес из

квартиры напротив. И в детском доме мы старались держаться вместе. Он меня рисовать научил... и мы часто рисовали. Вдвоём... Он с одной стороны листа – я с другой. И всегда совпадало! Словно одной рукой нарисовано было.

А этот рисунок, – она кивнула на обрывки, – был сделан как раз перед самым его отъездом. Он очень любил, когда я позировала ему. Я отказывалась: зачем столько портретов – ведь есть фотографии. А он серьёзно так возражал:

«Фотография – это как смерть маленькая. Нужно обладать даром портретиста, чтобы сделать хорошую фотографию. А рисунок ...он живой. Правда, для этого тоже нужен дар...». Там, в шкафу, большая жёлтая папка. Иришка, достань.

Со всех листков, листиков и листочков смотрела Верочка. Грустная и весёлая, озорная – с двумя задорными хвостиками, задумчивая – с классическим прямым пробором, мечтательная – с книжным томиком в руках, у окна, в шляпке с вуалью на Аничковом мостике – словно Незнакомка...

«Синельников Аркадий» – надпись в уголке папки была едва различима, словно кто-то пытался её стереть, уничтожить.

– Погоди, Верочка, выходит, это тот самый



знаменитый Синельников? А я думала, что он москвич. Почему же он не вернулся? Что произошло? Ведь он тебя так любил.

Верочка улыбнулась, лицо её, подсвеченное воспоминаниями о далёких днях, казалось Иришке ликом с иконы.

– Аркаша очень нравился Ренате – дочери нашего декана. И свадьбу, и выставку в Москве, и поездку во Францию устроили родители Ренаты. Как видишь, этого оказалось достаточно, чтобы он забыл о моём существовании. Вскоре я узнала, что у него родилась дочь. Что они называли её Валентиной. Твоему отцу тогда было уже полгода, и мне очень хотелось рассказать Аркаше о маленьком Кирилле. Но я не решалась. Да и потом... какое это имеет значение. У меня рос сын от любимого человека, а потом появилась внучка, в которой я души не чаю.

Иришка смотрела на тонко очерченный, освещённый солнцем Верочкин профиль, на тонюсенькую жилку, бьющуюся у виска. Ей хотелось обнять Верочку, прижать к себе и баюкать долго-долго, как маленького, измучившегося ребёнка.

Она нежно приложила ладошку к пульсирующей жилке и поцеловала её.

Верочка улыбнулась, прижалась к Иришке плечом и продолжила:

– Лет пять назад я встретила Ренату и ужаснулась: совершенно спившаяся, грязная, оборванная... Я не стала подходить к ней, даже на другую сторону улицы перешла, а она узнала меня, кажется... Смотрела очень долго и плакала, потом плевать начала под ноги себе, бормотать что-то. В общем, я поняла, что у Аркадия не всё так гладко, как пишут в газетах. Ну, а потом Геля рассказала мне, что он вернулся. Что был ужасный скандал, связанный с подделкой всемирно известных картин – шедевров мировой живописи. Что в этом скандале замешаны отец Ренаты и... Аркадий. Отец Ренаты умер прямо в зале суда. Нанятые им адвокаты, довели дело до конца, и Аркадия не осудили, но имя своё он потерял. Доброе имя художника было перечёркнуто тёмными делишками, афёрами. Геля не раз вызывалась устроить мне встречу с ним. Но я отказывалась. Зачем...

Иришка обняла Верочку и, заглянув в глаза, тихо спросила:

– Ведь мы не оставим его теперь, после всего... Нет? Не оставим?..

## ГЛАВА ПЯТАЯ

– Господи, да что же это... – Иришка безуспешно пыталась найти пульс. – Опять он куда-то забрёл в своих сновидениях. – Вы меня слышите, Аркадий Самсонович?

– Слышу, Скворушка, – неожиданно произнёс Синельников, открывая глаза, – я узнал тебя. Не нужно было никого искать. Правильно? Она сама нашла меня.

– Нашла? – вздохнула Иришка. – Она и не теряла вас никогда. А всё-таки, что же случилось тогда? Что заставило вас оставить Верочку? Потерять и её и будущего ребёнка...

Иришке казалось, что она знает Синельникова давно, и события, которыми были насыщены последние дни, казались обычными, будто бы происходило то, что и должно было произойти.

– Глупость. Трусость человеческая... Тщеславие. Спесь. Перспективы, которые так радужно мне рисовали мой будущий тесть и его дочь – моя жена. Они почти убедили меня в том, что Верочка выдумала эту беременность, чтобы женить меня на себе – окрутить, как выразилась Рета. И я им почти поверил... но очень скоро понял, что обманулся – я не виню их, потому и говорю «обманулся».

Если бы я знал, чем придётся платить... И не только мне – Верочке тоже пришлось столько пережить всего. И мой сын вырос без отца...

– Откуда вы знаете, что у неё родился сын? – удивилась Иришка.

– Не знаю, – пожал плечами Синельников, – я почему-то был уверен в этом.

Я очень часто видел во сне, как гуляю с малышом в парке, недалеко от нашего старого дома.

Я не написал ни одной достойной картины после того, как... Всё, что выдавалось за вновь написанное, было юношескими набросками, эскизами, среди которых несколько работ можно было назвать завершёнными. Но у меня появилось всё, о чём только может мечтать молодой художник: мастерские, поездки за границу... Мне не приходилось думать о хлебе насущном. Не было только одного, самого главного: вдохновения. Свет угас во мне. Я писал мёртвые картины. Копировал работы кисти великих, доказывая самому себе, что я не хуже, нет – в тысячу раз лучше. Это и сгубило меня. И ещё... Рядом не было ни одного любящего сердца.

Синельников вспомнил солнечное майское утро, когда он пришёл в деканат, где ему и встретилась рыжеволосая красавица – Рената,

единственная дочь декана факультета, на котором он учился.. Очень скоро встреча эта забылась... Но осенью он встретил Ренату в трамвае. Что случилось потом, он до сих пор не понимает... она держала в руках апельсин и была такая яркая, манящая... Потом они целовались в маленьком скверике, неподалёку от трамвайной остановки. У неё всё было броским, ярким: лицо, одежда. И квартира в Москве, в новом высотном доме, и новёхонькая «Победа». Но самое странное то, что взгляд у неё тоже был синим. Это и сбило с толку окончательно. Завороженный синим льдом её взгляда, он забыл о самом главном: забыл заглянуть ей в глаза.

Никто не знает, сколько прошло времени, пока однажды он случайно не сделал это, заглянул и... содрогнулся. На него смотрели алчные, холодные глазёнки чудовища.

Чудовища очень часто носят маски Красавиц, это общеизвестно. Отличить их просто – нужно как можно скорее заглянуть им в глаза. А он заглянул не сразу, и когда понял, что ошибся, было уже поздно.

А решиться нужно было ещё тогда, среди шумного свадебного застолья, когда случайно услышав фразу, обронённую отцом Ренаты: «Коровин. Подлинник!», он, не дыша, повернулся в ту сторону, откуда донёсся голос и

увидел, как один из гостей протягивает Эрасту Леонидовичу небольшое овальное панно. Лицо гостя показалось Аркадию знакомым, и через минуту он его вспомнил. Меняла с чёрного рынка в вымерзающем Ленинграде, меняла с сытыми, маслянистыми глазками, достающий апельсин из большого коричневого чемодана, битком набитого консервными банками с надписью "ROSE SWEETENED CONDENSED MILK".

Этого он вынести не мог. Он отозвал новоиспечённого тестя в сторонку и всё ему выложил, на что тот только усмехнулся в ответ: «Ну и что? Что ты теперь этим докажешь? Это мой друг, – и меня не интересует, как к нему попал этот Коровин. Кроме того, это один из самых влиятельных людей в городе. Забудь. Так будет лучше для тебя и для Ренаты. Забудь!»

Но он не забыл и всё рассказал Рете – жене. Она слушала равнодушно, хмурясь и зевая, ему даже показалось, что ей всё известно.

«Успокойся! Панно всё равно к нам вернулось – считай, что к тебе. Так чего же ты ещё хочешь? Мать и брата не воскресишь. Тогда каждый выживал, как мог. А этот человек нам может быть полезен. И потом...это один из самых близких друзей отца!»

Он ещё пытался что-то объяснять, доказывать... Кричал, что этот меняла хуже фашиста, что он

мародёр, живоглот. Что Мишенька и мама умерли из-за таких, как он. Но Рета не хотела его слушать. Он понял, что всё бесполезно. И смирился.

Маленькое панно Коровина висело у них в спальне, и он часто, закрывая глаза, представлял себе, что войны не было, что сейчас в спальню войдёт мама и скажет: «Аркаша, ну что же ты. Мы тебя ждём!»...

Когда ему объяснили, что от него требуется, он поставил только одно единственное условие: панно должно оставаться с ним. Всегда.

Условие его было принято. Он снял панно со стены, завернул его в несколько слоёв обёрточной бумаги и спрятал в своей мастерской. Он стал молчаливым, замкнутым, нелюдимым... Ушёл в себя и в работу. Панно доставал часто, разворачивал, подолгу смотрел на него и плакал.

Он молча делал то, что от него требовалось, молча получал за это деньги, молча напивался в одиночку, чтобы заглушить стыд и боль.

А однажды всё закончилось. И сразу же пришло облегчение.

Был суд, но его оправдали... почему-то.

Он вернулся в родной город и сразу же отправился на поиски Синеглазой. Каждое утро,

выходя из дому, он был уверен, что именно сегодня встретит её. И однажды встретил.

И – испугался... бросился домой, нашёл старый рисунок. И разорвал его. После этого – ничего, о чём можно было бы вспоминать. Холод, ветер, звон разбитого стекла... Синий взгляд, медленно падающий на дно морозной январской ночи.

Сегодня ему впервые за много лет стало тепло. Он смотрел на молоденькую медсестру, плачущую над телом старика, над тем, что было им ещё несколько мгновений назад. Осторожно погладил её по плечу, и она, всхлипнув, замерла... Потом встала и вышла из палаты, вытирая заплаканные глаза. А на скамейке, как раз напротив окна, сидела Синеглазая. Улыбаясь, поправляла выбившуюся из-под платка прядь светло-русых волос, сидела и... ждала его. Да, он абсолютно точно это знал – она всегда ждала только его. И как он мог усомниться в этом.

К оконному стеклу майским ветерком прибило несколько шальных обрывков бумаги.

Он отмахнулся от них, как от назойливых воспоминаний и увидел, что это облетает цвет вишни. И ещё увидел небо – синее-синее такое же, как этот тёплый, родной и теперь уже навсегда обретённый взгляд...

Иришке удалось дозвониться по одному из



номеров, которые были указаны в истории болезни Синельникова. Женский голос в трубке показался Иришке знакомым.

– Приезжайте, я вам передам его вещи и свидетельство о смерти.

– А я уже здесь! – в дверях ординаторской стояла Кира и вызывающе смотрела на Иришку.

– Что, Скворцова, не ожидала? А мне и теперь не жалко его, слышишь? Он получил по заслугам! Кем бы он был, если бы не моя бабка! Неблагодарная тварь – бросил её одну в Москве! Ненавижу его. Ненавижу! У меня было бы всё, если бы не он!

Подавив в себе волну возмущения и горечи, Иришка протянула ей свидетельство о смерти.

– Возьми, это должно храниться у вас. Матери позвонила?

– Да. Только она не в состоянии – пьёт вторую неделю. А бабка уже года три как померла... Так мы, выходит, родственницы с тобой, Скворцова?

– Выходит, – отвернувшись к окну Иришка. – Ты ведь знала, что это твой дед, Кира?

– Знала – не знала, какая разница? – Кира запихнула в сумочку свидетельство о смерти. – Родственничек – кроме алкоголизма в наследство – ни-че-го... Разве что, шизофрения – она тоже, говорят, по наследству передаётся, Скворцова.

Не пугает перспектива, а? На пару будем здесь валяться – вот умора-то. А, и скорее бы. Мне скоро тридцать пять стукнет, а что у меня хорошего было?

– Жизнь, Кира. Тебе подарили жизнь, а значит, есть шанс, если не исправить ошибки, то не повторить их, хотя бы. И простить. Обязательно простить, чтобы камень с души, слышишь? Если он и виноват в чём-то, то только в слабости своей.

Кира неожиданно расплакалась. До этого никто не видел её плачущей: ни пациенты, ни коллеги.

– Увольняюсь я. А ты моё место займёшь. Я не со зла – не думай. Просто... каждый должен знать своё место, а тебе здесь – в самый раз. Они ж все тебя тут своей считают. Любят, в смысле... А меня ненавидят. Думаешь, я не знаю, что меня упырихой прозвали? И деда похоронишь. Он ведь всю жизнь твою Верочку искал, это мне и бабка рассказывала, и мать. Сломали они жизнь ему, упырихи. А я на тебя не злюсь. Прощай. Да, и вот это – тоже твоё. Бабка всё пропивала, а вот на это рука видно не поднялась.

Кира протянула Иришке небольшой овальный предмет, завернутый в газету.

Только теперь Иришка увидела, что глаза у Киры синие-синие. Такие же, как у покойного Синельникова. Такие же, как у Верочки... Такие

же, как у неё самой.

# ЭПИЛОГ

*Во всём виноваты мартовские ветра.*

*Сумасбродные, непостоянные, прилетающие под вечер и приносящие долгожданное, но обманчивое тепло. За ночь съёживаются сугробы, обнажается черная, ещё мерзлая земля, а наутро нетерпеливый краснотал уже серебрится на солнце шелковистым пушком; дела нет ему до ворчания старого дуба, потемневшего, ещё более постаревшего и, конечно, не одобряющего бесшабашного безумства молодости. Он-то хорошо знал цену этому зыбкому, нестойкому, мартовскому теплу – вот и не спешил открываться.*

*Дня через три мартовским ветрам наскучат серые лабиринты улиц северного города, и он помчится дальше, а вслед ему тотчас выдохнет холод норд-ост. И город, скованный ледяным дыханием уснёт до середины апреля.*

*Уснёшь и ты... А во сне замёрзнешь. И не согреет тебя июльское рыжее солнце, щедро льющее золотое тепло с небес, наполняя им сердца, взгляды, души, отогревая самые чёрные льды. Не отогреть твоё сердце, навеки сковали его тоска, тревога... и боль...*

*Но однажды взгляд незнакомки коснётся тебя,*

– и станет немного теплее. Ты потянешься за её взглядом, как росток тянется за солнечным лучом, но одёрнешь себя, горько смеясь: опомнись, сумасшедший, опомнись! Синеглазая, отогревшая тебя, во внучки тебе годится. А твою русалку, если только она жива, если только ты не убил её своим предательством, время не пощадило. Опомнись, старик... Остановись. Ты – смешон!

А как хотелось тогда догнать Синеглазую, расспросить обо всём. Как сладко замирало сердце, бросаясь в обманчивый омут надежд: «а вдруг...» Испугался. И был жестоко наказан за испуг и малодушие тем, что догонял её с тех пор в каждом из своих снов. Догонял, хватал за тонкое нежное запястье... И она, вздрагивая, оборачивалась к тебе, и руку не отнимала, а прижималась к твоей руке тёплой, мокрой от слёз щекой.

«Не плачь, Верочка, я вернулся. Не плачь...» – шептал, но вдруг отталкивал её в ужасе – в руку впивалась мёртвой хваткой старуха, и её коричневое, сморщенное лицо – печёное яблоко, оказывалось так близко, что ты видел грязь в глубоких складках-морщинах. Ты вырывался, пытался бежать, но... не получалось, как это не получается во сне. Ужас овладевал тобой, и ты падал прямо под ноги этой отвратительной старухе с лицом – печёным яблоком, и слышал

её хриплый, булькающий, похожий на клокотание воды в забитой сточной канаве, смех, и содрогался от тлетворного, зловонного дыхания...

Но сегодня тебе удалось то, что ты пытался сделать в течение всей жизни – и не мог. Тебе удалось завесить разбитое окно, и в комнате сразу стало тепло, и мама услышала твой крик и обернулась.

«Аркаша? Наконец-то, сынок... Иди же скорее к нам... Мы так соскучились по тебе...»

Шаг навстречу родному, тёплому голосу... но ты вспомнил об апельсинах. Бросился к холодильнику, открыл дверцу, и оранжевый поток сбил тебя с ног – холодильник был забит апельсинами.

Ты начал рассовывать их по карманам, потом сообразил: снял рубашку и ссыпал туда оранжевую солнечную россыпь.

Теперь всё. Ты вернулся в комнату, опасаясь, что мамы и Мишеньки уже нет. Но они всё ещё были там, словно знали, что ты отлучился ненадолго и сейчас вернёшься.

Вернёшься для того, чтобы никогда уже не расставаться с ними.

Мама протянула руку, и ты пошёл, и когда до протянутой маминой руки оставался всего один

*шаг, ты почувствовал синеву взгляда за спиной.*

*Верочка – тоненькая, светловолосая, юная стояла в солнечном луче, подняв ладошку, и сквозь нежную золотистую кожу просвечивало утреннее солнце.*

## [Оглавление](#)

# ДОЖИТЬ ДО ВЕСНЫ

*поколению семидесятых посвящается*

*...Шагов десять – не больше, – если идти. А если ползком?*

*Во что превратится расстояние в десять шагов?*

*Серая мазанка (на Украине... у тети Гали когда гостили, с отцом... дом обмазывали глиной, а потом – белили, отчего дом становился нарядным... и казался игрушечным, кукольным... и прохладным. Это из-за того, что в известь добавляли капельку синьки. Тётя Галя называла свой дом – хатой, а папа – мазанкой...)*

*запомнился сад вишнёвый, хотя и абрикосовых деревьев там была парочка, и одно персиковое, и три яблоньки у самой калитки.*

*А за хатой два сливовых деревца под боком у старушки-шелковицы.*

*Спать хотелось только под вишнями – самое тихое и уютное место во всем саду, хотя в хате было прохладно даже пополудни, когда жар июльского солнца стекал густым, горячим потоком, и дышать становилось трудно...*

*мазанка – это на Украине...*



А здесь что? А... здесь сакля... Нет, сакля – это в других горах, в Грузии, наверное. А здесь какая-то халупа стоит. Ну и хрен с ней! Стоит себе сарай: с крышей, со стенами; только бы до него доползти... он единственное убежище в этом песчаном поднебесье.

Если обстрел не прекратится, то ползти, всё-таки, придётся.

Если не попадут, конечно.

И если там, в этой мазанке, за мрачной враждебностью серых стен никого нет...

Чёрт!.. Слишком много «если»... Через все «если» можно пройти, а на последнем споткнуться.

Снаряд разорвался совсем близко, и сразу же из мазанки вышла девушка. Шла легко, не глядя по сторонам, словно не слыша рвущихся рядом снарядов... тоненькая, коса русая ниже пояса.

– Маша?! – обо всём забыв, он выпрямился во весь рост, – Машенька!

Девушка оглянулась на крик. Взгляд полыхнул в ответ, да так сильно, что ослепил, – пришлось закрыть глаза руками. И сразу стало влажно и горячо ладоням... Он почувствовал сырой кисловатый запах – запах свежей крови. Своей крови.

Упал, так и не отнимая ладоней от глаз. До

спасительной серой мазанки оставалось шагов пять – не более...

Она возвращалась домой первой электричкой. Убаюканная монотонным перестуком колёс, задремала, и сон её был коротким и отчётливым, как явь. Она видела себя в лесу, стоящую на коленях у маленького озерца; можно было бы подумать, что это – лужа, если бы не глубина, да не прозрачная, кристально-чистая вода в нём. Позади, в двух кругах: внешнем – большом и внутреннем – поменьше, стояли высокие тёмные фигуры, и перед каждой горел огонь. Сва-ро-жич... [1]

Сварожич – она точно знала, что огонь следовало называть только так и не иначе. Фигуры были вырезаны из тёмного дерева... или просто были очень старыми... А из глубины озерца проступало изображение синего камня-валуна. Прислонился к тому камню юноша, лица не разглядеть – кровью лицо залито; а вот и она сама рядом с камнем стоит, синие цветы в руках держит... цветы те сон-травую [2] зовутся, здесь возле капища [3] рано распускаются, задолго до того, как снег успевает сойти.

А по подолу платья узор бежит из тех же самых цветов, а на зарукавье [4] лазоревы яхонты [5] горят. – Неразумная дочь! – ...вода в

озерце заволновалась, рябь побежала как от ветра, и видение исчезло.

– За содеянное понесёшь кару, – старик в белом балахоне до пят, тяжело дыша, опирался на тёмный резной посох, – видать спешил, да не успел: заглянула дева в озеро, узнала, что на Роду написано. А книгу Рода прочесть только раз в жизни дозволено, да и то лишь тому, к кому Боги милостивы.

– Невежа, что сотворила... Чуешь? Желя [6] плачет, а сестрица Карна [7] ей вторит, космы длинные распустила.

– Что ж я такого содеяла, старче? Я заглянула в озерко, а там витязь. Ему, знать, подмога надобна, ранен он... неужто нави [8] назначен? Жаль мне витязя того, старче, я бы его выходила. Люб он мне. Только где сыскать этот камень, не ты ли ведаешь? Я и себя там, подле витязя видела. Скажи, старче, то моя доля?

– Неразумная дочь! – ещё пуще разъярился старик. – До срока не дозволено в озеро заглядывать! А кара тебе за то будет такая: будешь ходить вокруг, вокруг да не с ним – около. Ступай, пестуй своего витязя, да помни – Доля [9] вам разные нити выпряла – и ты сама в том повинна! – он ударил посохом о землю и...

---

[1] Огонь Сварожич – третьим братом Солнца и Молнии, третьим сыном Неба и Земли для древних славян был именно Огонь. [к тексту](#)

[2] Со'н-трава (лат. Pulsatilla па'tens) – многолетнее травянистое растение, первоцвет. [к тексту](#)

[3] Капище – древнее русское слово. Поляна, окруженная камнями с установленным, как правило, в центре идолом или идолами, являющаяся сакральным местом, предназначенным для ритуалов и обрядов, в том числе жертвоприношения. Также на капище должен быть алтарь, но встречается не всегда. [к тексту](#)

[4] Браслет, надевавшийся поверх рукава, служивший одновременно и украшением и застёжкой – пуговицы появились много лет спустя. [к тексту](#)

[5] Яхонт – одно из устаревших названий красного и синего ювелирных минералов корундов. Соответственно красным яхонтом называли рубин, а «яхонтом лазоревым» или синим – сапфир. [к тексту](#)

[6] Желя – славянская богиня печали и плача. Упоминается в «Слове о полку Игореве». [к тексту](#)

[7] Карна – богиня печали, богиня-плакальщица у древних славян, сестра Жели. Если

воин погиб вдали от дома, первой оплакивает его Карна. По преданиям, над мёртвым полем битвы по ночам слышен плач, всхлипывание. Это богиня Карна в чёрных длинных одеждах выполняет трудную женскую повинность за всех жён и матерей. Др.-рус. «карити» — оплакивать.

[к тексту](#)

[8] Явь, Правь и Навь — важнейшие понятия устройства мира древних славян. Навь — потусторонний мир, мир мёртвых. [к тексту](#)

[9] Доля, Среча, Сряшта, Встреча, Счастье — пряха, помощница Макоши, матери жребия, Ягишна (Голубиная книга, Афанасьев). [к тексту](#)

[Оглавление](#)

# Глава первая

...поезд остановился. Матерясь и пиная друг друга локтями, в вагон вошли четверо. Увидев девушку, один из них присвистнул:

– Ишь ты, финти-фря какая, скажите пожалуйста!

Намеренно вихляясь и шаркая подошвами, они направились к ней.

Девушка ощутила противную сухость во рту и растерянно оглянулась вокруг: вагон пуст, – присутствие плюгавенького мужичонки, безучастно глядевшего в заоконье и старательно не замечавшего происходящего в вагоне, было не в счёт

– Смотри-ка, Дьяк, – часики! – Рыжий, с мерзко отвисшей нижней губой схватил девушку за руку.

– Что вам нужно? – она попыталась вырваться. Слова застревали в пересохшей гортани...

– Грубиянка! Тебя чё, мама с папой не учили, как надо вести в об-честве? Так мы это... – он рыгнул и оглянулся на своих дружков, – счас научим!

– Да отпусти, больно же! Часы нужны – забирай! – Голос девушки срывался от страха.

– Ку-ку, девочка, приехали! – Рыжий дёрнул её к себе. – Часы можешь оставить на память о сегодняшней встрече, которую ты никогда не забудешь, это я тебе обещаю. Можешь спасибо сказать, я тебе их дарю. Ага? – он подмигнул девушке, отчего губа его съехала набок, и физиономия стала ещё противнее.

– Ладно, Гиря, кончай базар! – маленький, стриженный наголо, занервничал. – Что ты в ней нашёл: два мосла и стакан крови! – он презрительно сплюнул.

– Грубиянка, – пояснил Гиря, притворно вздыхая, – воспитать надобно.

Дверь всхлипнула, распахнулась от резкого удара, и в вагон вошёл высокий черноволосый парень.

– Что, развлекаетесь смерды?

Он увидел дрожащие ресницы девушки, полные слёз серые глаза, прищурился на миг, будто оценивая её... или успокаивая.

– Отпусти, – неожиданно приказал он Гире.

– Да вот, понимаешь, пристала,.. – заулыбался тот, – никак отвязаться не могу, с тобой, говорит, хочу... Во, видал? Вцепилась, клещака!

– Я сказал, отпусти! – Парень нахмурился. – И пошли отсюда... Быстро, ну!

– Грид, ты не выспался?! Или вообще не проснулся? – удивился Гиря, но руку девушки выпустил. – А, может ты сам, в смысле... один хочешь... Ну так сразу бы и сказал. Чё орать-то? – он гадливно подмигнул черноволосому, и вся четвёрка, хихикая и перемигиваясь, удалилась.

– Спасибо. – Девушка отвернулась к окну, потирая ноющее запястье.

В этот момент из динамика сквозь треск и шум донеслось: «Платформа триста сорок третий километр. Стоянка электропоезда две минуты.»

Электричка остановилась, зашипели рассерженно разбуженные двери, и в вагоне повеяло лесной утренней свежестью. Вытекая из насыпи, узкая тропинка вилась змейкой и убегала в берёзовую белоствольную бесконечность.

Дух захватило от танцующего берёзового хоровода, растворились, пропали куда-то слюнявые Дьяк и Гиря, словно и не было их никогда; душу охватило предчувствие светлой радости. Она даже забыла, что черноволосый спаситель её стоит за спиной.

– Что, приглянулась наша роща? – В карих глазах парня вспыхивали золотистые искорки.

– Понравилась, – кивнула девушка. – А вы –



местный?

– Я-то? Неподадёку деревня есть, Меленка называется. Не слыхала?

– Нет.

– Весной в гости приезжай! Подснежников здесь видимо-невидимо. Место это древнее, заветное; снег лежит везде, а они уж цветут. И немудрено, – когда-то давно капище тут стояло. У нас говорят, что весна отсюда начинается.

– Капище? – удивилась девушка. Вспомнился сегодняшний сон: поляна с двумя кругами, с изваяниями-идолами, озерко, злой косматый старик.... А ведь это и было капище.

Но... четвёрка ублюдков, и то, как он вёл себя с ними... Главарь – не иначе, вон как они его слушаются, уважают или... боятся.

Выплыло лицо из короткого странного сна. Парень был как две капли воды похож на витязя, лежащего у синего камня. Бывает же такое. Хотя, во сне и не то привидеться может, наверное я его уже видела раньше, потому и лицо знакомым кажется. Верховодит он тут – это ясно, но... – капище?!

– Ну что, ждать в гости-то? Меня Гридом кличут, любого в этих краях спроси, – сразу дорогу к моей избе укажет.

У выхода всё-таки оглянулся и бросил

грубовато: «Езжай спокойно. Никто не тронет! »

Она увидела, как он спустился с насыпи и направился к вьющейся тропинке, уводящей в берёзовую бесконечность.

Электричка быстро набирала скорость. Ещё миг – и исчезнет за поворотом светлая, пятнистая карусель, и потянутся вдоль дороги брянские леса: дремучие, сумрачные, древние.

– Меня Машей зовут! – девушка высунула голову в открытое окно, и Грид, обернувшись на её крик, покачал головой...

Нет, мол... А что нет-то? Она сама удивилась собственной смелости. Ей почему-то хотелось верить этому парню, более того, она уже поверила ему, и уверенность, что всё самое плохое позади не покидала её вплоть до самого родного дома.

*...стало понятно, что значит «вне времени». Время потеряло всякий смысл и значение здесь, на выжженной чужим солнцем, земле. Он с удивлением осознал, что вокруг тихо. Вот только тишина эта была лживой. Земля под ним продолжала сотрясаться и дрожать. Тогда он стал звать Машу, правда уже шёпотом, без крика... Он верил, что она обязательно услышит. Для того чтобы тебя слышали, вовсе не*

обязательно кричать. Молчаливый зов будет слышен тем, кто верен тебе, кто ждёт, кто всегда готов отозваться и прийти на помощь.

И она услышала. И пришла... и присела рядышком. И ладонку свою прохладную на горячий лоб положила: белый, расшитый синими цветами рукав блузки коснулся лица, зарукавье приятным холодком коснулось глаз.

Он осторожно отвёл её руку.

– Грязный я... пыль да копоть, да кровь...

Догадка о невозможности, нереальности происходящего обожгла изнутри, и он даже привстал, чтобы разглядеть её, заранее приготовившись к тому, что никакой Маши нет рядом. Но она была, была, и руку его в своей баюкала, точно дитя малое, и улыбалась печально, будто прощалась.

– Так откуда же ты здесь взялась, Машенька? – прошептал он, бессильно уронив голову на горячий песок.

Маша оглянулась, прислушалась к чему-то, встала и медленно пошла к серой мазанке. – Куда же ты? Почему уходишь... Не уходи, слышишь? Не уходи... Раз уж отозвалась и пришла... Лучше бы вовсе не приходила.

Собрав остатки сил, не обращая внимания на боль и рвущую сознание на части тишину, он

пополз вслед за ней, потому что знал: только она могла вытащить его из этого пекла, только она... – Лада [10], и выпряла им Доля ровную золотую нить, длинную и крепкую-прекрепкую... Одну – на двоих.

---

[10] Лада – Славянская богиня счастливой любви, весны.

## **Глава вторая**

Родители встретили Машу спокойно, без упрёков. Даже слишком спокойно, и это ничего хорошего не предвещало.

– Ничего, доченька. У тебя целый год впереди. Подготовишься, как следует, и поступишь, – суежилась мама, накрывая на стол.

– И правда, Маш, – добавил отец, – не унывай. Подумаешь – не прошла по конкурсу, с кем не бывает. Поработаешь годик – а там и вне конкурса сможешь пойти, со стажем-то. На заочном проще учиться, мы с матерью так и делали.

Отец Маши работал инспектором РОНО, мать преподавала русский язык и литературу в местной школе-десятилетке, и другого пути кроме как в педагогический, родители для единственной дочери не видели.

– Поработаю в школе? – удивилась Маша, – Кем, интересно?

– Учителем, кем же ещё, – нарочито бодро ответил отец, старательно избегая Машиного взгляда. – В Меленке вот, вакансия есть. Да... Школа там начальная, малокомплектная, неужели с кучкой ребятишек не справишься?

– Да какая же из меня учительница? Мне ещё самой надо учиться.

– Не бойся, дочка, не боги горшки обжигают. Возникнут трудности – помогу. Как-никак – больше двадцати лет в педагогике.

– Как ты сказал, деревня эта называется?

– Меленка. Маленькая, тихая, речка рядом, лес... А жить будешь у Антонины Тихоновны, у школьной технички. Я уже обо всём с ней договорился. От нас автобусом полчаса езды, а там ещё через поле километра два – не больше. Рукой подать...

Отец ещё что-то говорил о кадровых проблемах, о сельских малокомплектных школах, но Маша его совершенно не слушала. Она и об обиде своей на родителей забыла, надо же – без неё всё решили; плыла перед глазами светлая берёзовая бесконечность, звучал голос Грида, – утреннего знакомого из электрички. И стучалось в сердце первое, неосознанное ещё, чувство и к нему и к тихой, незнакомой деревушке с ласковым названием – Меленка.

Наутро напомнила о себе осень: только-только Ладино полетье [\[1\]](#) началось, а уж росы упали холодные, туманы стыли в низинах. Как ни старался Догода [\[2\]](#), как ни посылал на землю ясные тёплые деньки, но и по солнцу было понятно – настоящего летнего тепла уже не

будет.

На золотисто-рыжем коне торопился вестник Авсень [3] рассказать всем о том, что осень пришла.

Сидя у обочины автотрассы, Маша рассматривала дорогу, ведущую к лесу. Там, у самой опушки, приютилось десятка два домиков, которые отсюда казались игрушечными. Разувшись, она пошла по этой пыльной дороге, огибающей картофельное поле, и вскоре оказалась у деревенской околицы. Сама дорога не исчезла, а как ручеёк впала в деревенскую, надо полагать единственную, улицу.

Домики и вблизи были как игрушечные. Аккуратные, с весело глядящими окнами из-под кружевных капорчиков наличников. В садах всё больше яблони да сливы, и рябины почти у каждого крыльца.

Посреди дороги, у огромной лужи копошились два мальчугана лет восьми-семи.

– Ребята, здравствуйте, – остановилась Маша, – а где живёт Антонина Тихоновна?

– Какая это Антонина Тихонна? – переспросил похожий на цыганчонка мальчишка, усердно ковыряя пальцем в носу.

– Палец сломаешь, – улыбнулась Маша, – она в

школе работает техничкой.

– Тончика, штоль? Так бы и сразу и сказала. Вон ейная хата.

Грязный мальчишеский палец оставил на мгновение недра носа и указал на опрятную избу, стоящую особнячком, на пригорочке.

– Спасибо, – Маша направилась к небольшому палисаднику. Второй мальчуган, светленький и веснушчатый, которого Маша про себя назвала одуванчиком, хлопая огромными пушистыми ресницами, крикнул вслед:

– А ты кто ей будешь?

– А я не ей буду, я вам буду скоро... учительницей.

Последние слова Маша произнесла как-то неуверенно. Заметив огоньки недоверия в глазах ребятишек, она подошла к ним поближе.

– Что, не похожа?

– Не-а, – протяжно отозвался «одуванчик», – нисколечко не похожа. Учительницы в юбках ходят, а ты в штанах. Да и портфеля у тебя нет...

И окинув насмешливыми взглядами Машины вытертые добела, подвёрнутые до колен джинсы, босые ноги и волосы, стянутые на затылке в хвост цветной резинкой, мальчишки в один голос повторили: «Нисколечко не похожа!»



– Машенька! Мария Александровна! Что ж в избу-то не заходите, я с самого утра дожидаясь.

На высоком крылечке стояла сухощавая миловидная женщина лет пятидесяти. – А вы, анчутки [4], что рты разинули? Не видите, – человек с дороги, уставши! – Она погрозила кулаком мальчишкам, и те, переглянувшись, бросились наутёк – только пятки засверкали.

– Куда это они, – рассмеялась Маша, – неужели и вправду испугались?

– Испугались, как же, – Антонина Тихоновна подошла ближе, – они теперь не угомонятся, пока всех новостью не обнесут, ну чисто скаженные. Проходи, Машенька, – она распахнула низенькую калитку, и Маша попала в черёмуховые заросли.

После душистой баньки, за чаем с пирогами с той же вездесущей черёмухой, Антонина Тихоновна, (Маша уже называла её тетя Тоня) поведала ей обо всех деревенских жителях, о том, что деток на этот год в школе будет немного: всего шестеро, что дров в школе припасено года на три – и что дрова берёзовые, сухие, – песня, а не дрова! Жару от них много даже с пятка поленьев бывает. Бросишь в печку – и тепло льётся в избу солнечное, доброе да лёгкое.

Маша слушала певучий, протяжный голос тёти

Тони, доносящийся откуда-то издалека, и покачивалась перед слипающимися глазами лёгким облачком берёзовая роща...

– И-вой-я! – запричитала вдруг нараспев тетя Тоня, – тебе-то с дороги поспать надобно, а я – дура старая – язык без костей: знай себе, мелет да мелет.

Утопая в пышно взбитой перине, Маша успела подумать: «Совсем как у бабушки... и перина... и подушки солнышком пахнут...»

Но уже уносила её, кружила берёзовая карусель и покачивала на смуглых гибких ветках, и баюкала.

– Куда не евши-то, Александровна! Гляди-ко, олады как зарумянились! Да и молочко парное...

– Не хочется, – виновато пожала плечами Маша, – я после, ладно? После уроков...

– Волнуешься, бедная... Ну да ладно, с Богом, – тётя Тоня сделала какое-то странное движение рукой, не перекрестила Машу, а словно опрокинула на неё что-то.

Маша перешла через дорогу, вошла в калитку, отделяющую школьное подворье от подворья тёти Тони и оказалась в школьном саду. Здесь, как и по всей округе, в основном, росли яблони, нижние ветки почти касались земли – столько на

них яблоч!

За широким окном бревенчатой избы шесть пар внимательных детских глаз, шесть приплюснутых носиков.

Войдя в светлую просторную комнату, которая и была единственным классом в школе, Маша увидела, что на её столе, в самой обычной литровой банке, стоит букет полевых цветов. Она улыбнулась и произнесла, наконец, то, что повторяла всю ночь напролёт:

– Доброе утро, дети. Поздравляю вас с началом учебного года. Давайте знакомиться: меня зовут Мария Александровна – я ваша новая учительница.

Собственный голос показался Маши каким-то чужим и очень далёким. «Господи, а дальше-то что?

Вон те двое, старые знакомые, – нарядные, чистенькие, в белых рубашечках... остальных не знаю...»

За партой у окна большеглазый мальчуган шмыгнул носом. Маша, достала платок, подошла ближе и протянула ему:

– Тебя как звать?

– Сашка, – буркнул большеглазый и снова шмыгнул носом.

– Первоклашка? – рассмеялась Маша.

– Угу. Не надо, платок у меня свой есть, мамка положила в карман, да я позабыл про него.

– О нём, – поправила она Сашку, и стало легче, и нашлись сами собой нужные слова, и растаяли настороженность и недоверие в детских глазах.

Четыре урока пронеслись как один. Класс опустел...

Журнал был заполнен, планы уроков на завтра составлены, а Маша всё ходила между рядами парт и вспоминала сегодняшний день. Ничего из того, что собиралась сказать, не сказала, а ведь готовилась и в толстую тетрадь старательно записывала мамины наставления в последний вечер перед отъездом.

– Эдак и умом тронешься, дожидаясь, – тётя Тоня держала в руках Машин плащ, – надевай-ка, Александровна, да пошли домой. Надевай-надевай – там дождик моросит... А дожди сейчас холодные идут, как и ночи – рябиновые.

– Почему рябиновые, – Маша надела плащ и они, закрыв школу, вышли на улицу.

– Старики говорят, что в такие ночи рябина цветом наливается, вот и отбирает всё тепло. А ещё эти ночи воробыными зовут. Сказывают, что чёрт меряет воробьёв четвериками, убивая

всех, кто войдёт в меру. А кто не войдет – того отпускает... это им за то, что когда Спасителя распинали, воробыи гвоздики подносили. У них лапки верёвицей с тех пор перевиты – вот они и прыгают. Пошли вечерять, – дело к ночи, а ты с самого утра маковой росинки во рту не держала.

И покатались под горочку ясные сентябрьские деньки, покатались золотым веретеном и исчезли – как в воду канули, уступив место хмурому, дождливому октябрю.

Дорогу размыло, ребяташки приходили в школу с опозданием, промокшие и продрогшие и Маша, прежде чем усадить за парты, отпаивала их горячим чаем с сушёной малиной. У жарко натопленной печки выстраивались в ряд для просушки сапожки и ботиночки, полы были тщательно вытерты тётей Тоней.

И только после того, как дети согревались, начинался урок. Особенно нравилось им слушать рассказы о древних славянских богах, о домовых, леших да банниках, о русалках да кикиморах. Даже боги и герои древней Греции не вызывали такого интереса у детей, да оно и понятно – на сотни вёрст вокруг раскинулась древняя великая земля их пращуров – русская земля.

---

[1] Ладино Полетье – "молодое бабье лето", черед святодней, посвящённых Богине Ладе, одни из последних тёплых дней лета. "Бабье лето" – период тёплой сухой погоды в преддверии осени. [к тексту](#)

[2] Догода – славянский бог тихого, приятного ветра и ясной погоды, полная противоположность своему свирепому брату, покровителю ветров Позвизду. [к тексту](#)

[3] Авсень (Овсень) – в славянской мифологии бог смены времен года, покровитель пастухов. [к тексту](#)

[4] Анчутка – нечистый дух у славян, бес, чертенок. [к тексту](#)

## **Глава третья**

Сковали декабрьские морозы осеннюю распутицу, в хрупкое серебро упрятали речку, в снега укутали леса и поля.

По широкому санному следу прикатил в школу из районного центра инспектор – с проверкой. Горел в глазах его нехорошим огоньком незаданный вопрос, да не простой – с подко-выркой.

– А скажите, по каким дням проводятся уроки внеклассного чтения?

– По пятницам, – Маша почувствовала подвох. – Я объединяю три класса, так интересней потом обсуждение проводить и впечатлениями делиться.

– А это правда, что Вы им былины какие-то древние рассказываете, сказки?

– Рассказываю. Это древние славянские былины, предания, сказания – мне их и моя бабушка рассказывала, и от Антонины Тихоновны я много услышала и записала, да и дети от старших слышат и пересказывают. Это же наша история. Наши далёкие предки – пращуры – и слагали эти былины.

– Наша история! – не сдержался инспектор. – У

нас с Вами, Марья э-э-э... Александровна, одна история. Утверждённая Министерством Просвещения и... Я просто обязан доложить заведующему! Представляю, что начнётся, когда он узнает, что тревожные сигналы подтвердились!

– Сигналы? – переспросила Маша?

– Да, деточка, – сигналы, и своевременные сигналы, заметьте. А уж когда я ему расскажу, что Вы и планы не пишете, и уроки начинаете не вовремя. Ох, не завидую я Вам, не завидую.

Маша растерялась. Хотела было ему объяснить, что не до планов тут, пока всех детей разденешь, сто одежек с них снимешь, пока отогреешь...

А сказки – они и есть сказки. Ну что плохого в том, что её ученики знают о Перуне и Купале, о Ладе и Магуре [\[1\]](#), о птицах: Сирин, Алконост, Гамаюн [\[2\]](#).

Ведь и контрольные и диктант были написаны хорошо, а глазастый Сашка вполне уверенно прочёл небольшой текст, выбранный самим инспектором.

– Невероятно! – Инспектор был вне себя. – При абсолютно дилетантском подходе к учебному процессу, при полном отсутствии педагогических приёмов и методов – налицо знания, и знания



неплохие, выше удовлетворительных! Но, это ещё ни о чём не говорит! Никто, слышите, никто вам не давал права пренебрегать методикой преподавания и программой.. Вы что же думаете, в министерстве у нас дураки сидят? Тоже мне, Макаренко в юбке! У вас будут серьёзные неприятности, Мария, э... Александровна! И скажу вам по секрету, на папу не надейтесь – не поможет! Сказочница!

Разъярённый инспектор метался по классу, преисполненный обиды за министерство образования. Машино пренебрежительное отношение к методике преподавания вывело его из себя, и он никак не мог понять, как эта девчонка, не успевшая оторваться от школьной скамьи и отмыть обкусанные ногти от чернил, смогла научить детей главному – думать, размышлять. Ответы их были осознанными, продуманными... И это при вопиющем нарушении правил педагогики, дидактики.

Маша сидела за первой партой рядом с Сашкой и чувствовала себя провинившейся школьницей. Но, оглянувшись, увидела испуганных детей, встала и тоном, не терпящим возражений, заявила:

– Извините, я должна дать домашнее задание и отпустить учеников. Время уроков давно закончилось. А потом вы скажете мне всё то, что

ещё не сказали.

Инспектор даже голову в плечи втянул от такой неожиданной перемены, но возразить не посмел.

Когда класс опустел, он уже мягче, назидательно втолковывал:

– План – основа урока, поймите Мария Александровна. На вас лежит непростая задача, и министерство всячески помогает вам и другим педагогам решать эту задачу. А вы что делаете? Устроили тут непонятно что, прямо секта какая-то. Это же дети, Вы бы им лучше рассказы о Ленине почитали, о его детстве, о семье, в которой он рос. Чему Вы улыбаетесь? Это, между прочим, идеологически важный момент воспитания подрастающего поколения, идейной закалки, так сказать... Вот, что значит отсутствие элементарных педагогических навыков. Вы ведь на первом курсе учитесь, если не ошибаюсь? Заочница?

– Что плохого в знании истории? – не сдавалась Маша, – если люди будут знать, кто они и откуда, будет хуже? Да, я – заочница. Ну и что?

– Кто писал эту вашу ис-то-ри-ю? Какой летописец? Геродот? А может быть ваш батюшка, Александр Яковлевич, извиняюсь?.. Он ведь тоже историк, кажется. Кто утверждал эту

историю, я Вас спрашиваю? Откуда Вы знаете, что эта Ваша история принесёт подрастающему поколению. Нам нужна достойная смена строителей коммунизма. Это чуждая идеология, поймите Вы...

– Что ж ты, Марья Александровна, человека голодом моришь? – Маша облегченно вздохнула, услышав голос тёти Тони, ставший за это время родным. – Милости просим отобедать, а там и за дело можно приниматься.

Всю напыщенность инспектора как рукой сняло. За столом Маша с удивлением наблюдала, как вместе с настоящей на зверобое, янтарной самогонкой, убывал его пыл. Хрустя солёным огурчиком и цепляя на вилку очередной увесистый шмат жареной свининки, он глядел куда-то мимо Маши, совершенно окосевшими, красными глазами и тихо икая, бубнил:

– Вам, девочка, надо придерживаться плана. А самое главное – следовать программе. Что ж это вы, отсебятиной детишек пичкаете...

Результаты... э, я хотел сказать – знания, э... неплохие, но планы, планы... И эти сказки средневековые. Хотя, если вдуматься, Марусенька... ничего, что я вас так, по-домашнему величаю? Так вот, с другой стороны... на кой чёрт всё это нужно? И кому, главное кому? Детям уж точно не нужна эта писанина...

На вас поступила анонимка, деточка. Кому-то очень не нравятся ваши эксперименты. И отец ваш, Александр Яковлевич уже был вызван «на ковёр». Так что – тссс! Будьте бдительнее. Эх-хх, я бы сам эти сказки слушал, уж больно интересно...

При слове «анонимка» Маше почему-то вспомнилось, как недавно приехала Нина Феоктистовна – здешняя бывшая учительница. Приехала неожиданно для всех. Сказала, что книги нужно забрать, напросилась к Маше на уроки, а потом и на обед к Антонине Тихоновне, но неожиданно уехала, не попрощавшись и так ничего и не забрав. Не понравились её бегающие глазки ни Маше, ни тётке Тоне, да и дети как-то странно смотрели на свою прежнюю учительницу, и радости в их глазах совсем не было.

Инспектор бормотал что-то о призвании, о Макаренко, о бабах-училках, и когда шофёр старенького «уазика» вывел его из-за стола, говорить он был уже не в состоянии. Руки крепко прижимали к груди бутылочку настойки на зверобое, портфель приятно тяжелила банка с солёными огурчиками, а на губах блуждала пьяненькая бессмысленная улыбка.

*Сколько прошло времени? Почему так тихо*

*вокруг, неужели обстрел всё-таки закончился?  
Он выжил... Из всех – один.*

*Теперь главное доползти до этой серой  
мазанки, а там... Там спасение, там – Маша.*

Глаза Лидочки Соловьевой, хохотушки и непоседы, были полны слёз.

– Ну, давай, рассказывай, кто тебя обидел? – Маша взяла девочку за руку и отвела в сторонку, к окну.

– Новый год скоро, – всхлипнула Лидочка.

– Ты не любишь Новый Год?

– Что вы, Мария Александровна, очень люблю! Только у нас как всегда будет...

– А как это – «как всегда»?

– Подарки через родителей передадут – и всё! Нина Феоктистовна так делала... И вы тоже ... делать вам больше нечего, кроме как с нами возиться... так папа сегодня утром маме сказал...

И снова Маше вспомнилась неряшливая женщина с остатками маникюра на толстых коротких пальцах, дававшая ей напутствия в тесной приёмной заведующего РОНО.

– Скажу вам, как интеллигент интеллигенту, коллега, это ужасно! Это невыносимо, хуже Сибири. Я прозябала в этой глуши пять лет по

вполне понятным причинам, – я уже в том интересном возрасте, когда и о пенсии нужно подумать. А там, всё-таки, зарплата неплохая.

Но, вы-то! Вы-то зачем согласились? Неужели Александр Яковлевич не мог ничего лучшего для вас подыскать, чем Меленка? Мужики там, бабы... все пьют. Вспомнить не могу без содрогания. Да ещё дети эти... сопливые, грязные... примитивные. Вот где понимаешь истинное значение слова «приматы».

– Вы же педагог! – возмутилась Маша. – Разве так можно о детях? Да и о взрослых тоже. Какие же они приматы! Мужики да бабы вам не понравились? А вы сами откуда родом будете, не из деревни ли часом?

Бровки Нины Феоктистовны сложились в страдальческий домик.

– Какая же вы ещё молоденькая и оттого – глупенькая. Предположим что я из семьи сельских интеллигентов. Мне искренне жаль вас, девочка. Очерствеете там среди мужичья, замуж выскочите за скота-скотника какого-нибудь, а там... Сами не заметите, как обабитесь и наплодите таких же сопляков, грязных, конопатых и примитивных...

– Извините, но вы никакого отношения к сельской интеллигенции не имеете, раз позволяете себе так отзываться о людях, с

которыми живёте рядом. Я сама из семьи сельских интеллигентов, родители мои – учителя, отец только два года как здесь – в РОНО, а до этого в школе преподавал. Но чтоб такое отношение к детям... Я не хочу больше это слушать!

Маша вышла в коридор, а во взгляде, брошенном ей вслед, вспыхнула злость. Вспыхнула и... не улеглась, нет.

Затаилась.

Она только теперь заметила, что её ученики – все шестеро – стояли и ждали.

– Что нахохлились, воробышки? Будет и у нас в школе ёлка, да ещё какая! А ещё мы колядки устроим! Только, чур – помогать! Одна я не справлюсь.

– И дед Мороз будет? – пролепетал глазастый Сашка.

– Какая же ёлка без деда Мороза? Будет обязательно! И Снегурка будет!

Ребятишки загалдели, закричали наперебой, и глаза у них уже светились предощущением праздника, настоящего, светлого, приносящего радость и надежду.

«Папу попрошу. Не откажет, ведь обещал

помогать... А кроме деда Мороза ещё и Снегурку надо. И Коляду [\[3\]](#)...»

Маша так размечталась, что чуть остановку свою не проехала.

Выпросив у мамы ёлочную гирлянду, коробку мишур и немного елочных игрушек, она заторопилась к последнему автобусу, чтобы вернуться в Меленку. Остаться дома не хотелось – родители просьбу её выслушали без особого восторга и желания помочь не проявили.

– Куда же ты, на ночь глядя, доченька? – мама не то виновато, не то встревожено пыталась заглянуть Маше в глаза.

– Дел много, мамочка. Да ты не волнуйся, меня тётя Тоня встретит.

И, расцеловав маму на прощание, Маша побежала на остановку, представляя себе, как мама сейчас подходит к отцу. Как просит его... как отец встаёт и швыряет газету...

– Может и правда, поехать бы, помочь... – мама знала, что он сейчас ответит, и всё-таки спросила...

– И ты туда же! Я педагог, историк – а не массовик-затейник! – он раздражённо отбросил газету в сторону. – Ты что, одобряешь весь этот балаган? Ёлка... Ладно, пускай устраивает им



ёлку! Но бред о древних славянских богах здесь при чём... А знаешь, что это? Плоды твоего свободного воспитания! Вбила твоя матушка эту дребедень девочке в голову! Я со стыда чуть не сгорел, когда меня «на ковёр» вызвали. Глупостями она там занимается! Два притопа – три прихлопа... шла бы в культпросветучилище, чего же такому дару пропадать-то!

Он встал и ушёл к себе в комнату, сердито хлопнув дверью, и кукушка, живущая в часах, высунулась из домика, чтобы кукнуть своё «ку-ку» в седьмой раз, но не кукнула – передумала.

---

[1] Древние славянские божества. [к тексту](#)

[2] Птицы из мифологии древних славян. [к тексту](#)

[3] Коляда' – дохристианский славянский праздник (21 декабря), связанный с зимним солнцестоянием, позднее вытесненный или слившийся с Рождеством и Святками. Неотъемлемыми атрибутами праздника являлись подарки, переодевания (ряжение с использованием шкур, масок). [к тексту](#)

## Глава четвёртая

...под руками возник камень. Холодный, влажный...

Несмотря на горячую землю и горячий воздух – настоящий холодный камень... Он подполз ближе, привалился боком. Сразу стало легче, словно вместе с жаром, камень и боль в себя вобрал.

А Маши всё не было...

Он закричал, но снова не услышал своего голоса. А она услышала. Пришла, присела рядышком, улыбнулась.

– Принесла бы ты мне попить, Машенька, – даже шепот причинял невыносимую боль; губы растрескались, язык в пересохшем рту распух...

Она кивнула и убежала...

«Как же это... как же это, я вижу... улыбку её,.. глаза-то у меня закрыты... Точно, закрыты, и их не открыть. А видеть и без глаз можно, оказывается...»

На этот раз Маша вернулась очень быстро и принесла запотевший глиняный кувшин, будто из погреба, с ледника достала. Он сделал несколько глотков и обессиленный то ли от усилий этих, то ли от счастья, охватившего всё

его существо, провалился на миг в небытие.

– Молоко! Холодное... Где же ты взяла его? Неужели к мамке в погреб слетать успела?

Она не ответила, только ладошку свою прохладную снова на лоб положила.

Странно. Раньше он видел только Машу, а сейчас увидел и себя, привалившегося к огромному серо-синему валуну. Она, сидящая рядом на корточках, хлопала его по щекам и что-то кричала... Видел он всё это откуда-то сверху, словно был птицей и кружил над этим местом. Но более всего его поразили две белые струйки стекающие у него изо рта, пока он пил... Значит не привиделось ему это молоко.

Костюм деда Мороза был давным-давно готов, подарки сложены в мешок, сшитый из красного плюша, плюш этот раньше верой и правдой в роли скатерти тёте Тоне служил, а теперь начиналась новая жизнь, яркая и необычная. Маша всё ещё надеялась, что отец приедет, поможет – роль деда Мороза на себя возьмёт.

Видя её отчаяние, тётя Тоня не выдержала:

– Не кручинься ты так, Александровна, я буду дедом Морозом!

Маша посмотрела на неё: маленькую, сухощавую и не выдержала – рассмеялась.

– Баба Мороз! А может нам и правда двадцать первого всё сделать, а?

Вчера тётя Тоня рассказала ей о Коляде, о колядках, о праздновании «Ночи матери» [1], которая приходилась на двадцатое декабря. К этому празднику все готовились заранее, особенно женщины и девушки: убирали дом, стирали, стряпали. В самый канун праздника обязательно ходили мыться всей семьёй – чтобы и тела очистить перед таким важным событием. В Ночь матери происходит таинство – открываются врата другого мира. На еловый венок ставят четыре свечи, которые означают четыре времени года, четыре стороны света, четыре элемента...

Венок ставят прямо у «сердца» дома – у очага. Свечи зажигают, а потом гасят по одной – это знак того, что солнце теряет свою силу. Спустя некоторое время – в ночь зимнего солнцестояния, свечи зажигают: «Солнце на весну – зима на мороз»...

– Уж и не знаю, Александровна, – покачала головой тётя Тоня, – гляди, чтоб неприятностей себе не нажила – не помнят люди обычаи дедовские, ведьмовскими считают, от лукавого мол.

– А что же в них плохого, в обычаях этих? Мы попробуем... А если что – скажем, что это пьеса такая, для школьных и народных театров. Но и

от деда Мороза отказываться не будем. Раньше дети на каникулы зимние уйдут – ничего плохого в этом нет.

В сенях раздался грохот, дверь распахнулась, и по полу за клубился морозный воздух, из которого выглянул кареглазый парень в чёрном тулупе. Грива чёрных густых волос, стянутая тонким кожаным ремешком на лбу, сверкала инеем.

– Изыди, окаянный! – тётя Тоня потянулась к печке за кочергой. – И кой леший тебя по ночам носит, рожа твоя бандитская!

Узнав в непрошеном госте знакомого из электрички, Маша виду не подала, а он, не обращая внимания на кочергу в руках тёти Тони, подошёл ближе.

– И-вой-йя! – издала тётя Тоня воинственный клич и замахнулась кочергой.

– Цыц, тётка! – быстро сказал парень. – Цыц, кому говорят! По делу я, понимаешь? И не к тебе, а к Марье... э...

– Александровне, – пришла на помощь Маша.

– По какому-такому делу, анчутка! Что у тебя за дело к учительнице может быть! Учиться тебе поздно – плетью обуха не перешибёшь! – не сдавала оборонительных позиций тётя Тоня.

– Да замолчи ты, ведьма старая! – возмутился

парень и совсем близко подошёл к Маше.

– Видишь, как оно вышло: позвал в гости, ты и пришла. Точнее, я пришёл... Правда, меня никто не ждал. И не звал... Ну что, не нашла Деда Мороза?

– Не нашла, – вздохнула Маша. – А ты откуда знаешь, что нам Дед Мороз нужен?

– Невелика тайна, – усмехнулся парень, – вся деревня знает. В деревне всё про всех знают. Иной раз языкатая тётка только соберётся шептуна пустить,.. – он хитро прищурился и подмигнул тёте Тоне, – а в деревне уже только об этом и судачат на всех углах.

Что такое «пустить шептуна» Маша не знала, но, судя по тому, как сверкнули глаза тёти Тони, было ясно, что речь шла о чём-то стыдном, тайном, тщательно скрываемом.

– А это подарки в мешке? И шубка для дедки? Ну-ка, прикинем, впору ли придётся...

Откинув густую гриву резким движением головы, он напялил костюм Деда Мороза поверх тулупа:

– Ну как?

От непрошеного, задиристого гостя не осталось и следа: смотрел на Машу русский витязь добрыми, грустными глазами. Казалось, ещё миг, и поплывёт за окнами светлая берёзовая сказка.

– Здорово! – Маша захлопала в ладоши, а тётя Тоня, поджав губы, присела на краешек табуретки, но кочергу из рук не выпустила.

– Тебя как зовут? – спросила Маша парня, – Грид – ведь это не имя?

– Вовкой его кличут, – подала голос тётя Тоня, – а Грид – оттого что фамилиё – Гридин.

– Доложила, спасибо! Фа-ми-ли-ё! Ну что, гожусь в деда Морозы?

– Конечно, Володя! У тебя улыбка замечательная, только вот, улыбаешься ты редко. И костюм этот тебе маловат. А мы ещё Ночь Матери хотели отпраздновать...

– Это не беда, – тряхнул гривой Грид, – я отцовский тулуп возьму, он из белой овчины, до самых пяток достаёт. Настоящий дед Мороз позавидует.

А Ночь Матери – старый праздник...если помнит кто. Мне отец о нём говорил.

При упоминании об отце, улыбка исчезла с его лица, и сразу же погасли золотые искорки в глазах, и глаза стали холодными и тёмными, почти чёрными.

– Так это когда, завтра уже? Если Ночь Матери хотите отпраздновать – то завтра. Потом – солнцеворот зимний... Венок из лапника привезу утром, а свечи уж сама раздобудешь, слышь,

языкатое величество, Антонина свет Тихоновна! Ладно, пора мне, – он как-то сразу заторопился и засмутился, – вечером часам к пяти подъеду, так ты детишек в сени выведи.

– Как это «подъеду», на чём? – удивилась Маша.

– Ну не на козе же, – ровные белые зубы сверкнули, – на лошади, как и полагается деду Морозу. В розвальни сена свежего положу... Эх-х!

И Машино сердце понеслось стремительно в этих розвальнях, хотя она их в глаза не видела...

Хлопнула входная дверь, и вновь закружился холодный морозный воздух по полу.

– Дыши, тётка, можно уже! – донеслось с улицы.

– Отец у него хороший мужик был. Настоящий. А мать – пьяница, – тётя Тоня выглянула в окно.

– Почему был?

– Егерем работал, ну, видать, перешёл дорогу одному из начальничков – подстрелили на объезде, да не простой пулей – разрывной какой-то, жакан называется. С ним на медведя ходят, а человека, говорят, на части рвёт...

Маша только головой покачала – слёзы душили. А тётя Тоня продолжала свой рассказ.



– Он-то, вишь, баловать никому не позволял, хоть ты всем начальникам начальник будь. Своих районных в строгости держал, а уж заезжих тем паче. К зверью, к живности всякой ровно к детям малым относился... лет десять уж с тех пор прошло. И что теперь с Володьки взять-то, безотцовщина – одно слово!

А баба одна, она что может? Натаха и раньше рюмочку, коли в руки шла – не пропускала, да только Олег её в строгости содержал. А как вывалился, всё прахом и пошло. Верно говорят: мужик пьёт – полдома горит, а коли баба пьёт – весь дом полыхает.

Только и осталось от батьки его, что роща у разъезда.

– Какая роща? – встрепенулась Маша.

– Берёзовая. Саженцы сам из лесхоза привёз, штук триста – не меньше... За каждым, ровно за дитёнком малым ходил. Аккурат к Вовкиному дню рождения высадил. И ни одно деревце не пропало – все прижились. Красота там неопишуемая, вот весна придёт – свожу тебя на то место. Там же и порешили отца-то его душегубы... Могилка там. Натаха не ходит – кому там идти... А Вовка... Эх, да что говорить! А про какие это гости он тебя спрашивал, Александровна?

– Да так, – улыбнулась Маша, – я с ним раньше

познакомилась, в электричке, когда ещё не знала, что здесь буду работать.

– Вот-вот, девонька, – подтвердила тётя Тоня, – по электричкам он и промышляет. Лёгкий кусок хлеба сыскал себе. И как только в глотке не застрянет. Одно слово – анчутка! Ему бы в армию, злыдню. Глядишь – и человеком бы сделался. Да только всё никак: отсрочка за отсрочкой – всё под следствием ходит.

Тётя Тоня плотнее прикрыла форточку и повернулась к Маше:

– Ты вот что, девонька, держись от него подальше. Не ровен час, что худое сотворит с тобой.

– А мне кажется, – он хороший, – вздохнула Маша, – глаза у него добрые, понимаете...

– Хороший, как же. Калина тоже себя хвалила: хороша я, только сахарку добавь!

Тётя Тоня, поворошив угли в печке, задвинула заслонку и закрыла трубу.

Тёплый воздух пошёл в избу, и несмотря на то, что за окнами к ночи мороз крепчал, в избе было тепло и уютно, то ли от потрескивания крепкого добротного сруба – ишь разошёлся морозец, то ли от урчания Коти – серого толстого кота, растянувшегося во весь свой невеликий кошачий рост на лежанке за печкой и ставшего Котей

совсем недавно – месяца два назад и Маша и тётя Тоня называли серого котёнка-подростка Катей и пребывали в полной уверенности, что к весне кошка выловит всех мышей в сарае.

...Молоко он выпил залпом. Большая часть пролилась на грудь; ледяные струйки приятно охладили пылающее тело. А Маша уже и рушник откуда-то принесла, не иначе как с божницы сняла. Ох, и попадёт ей теперь от матери. Не велела она никому божницу трогать, сама лампадку зажигала, да рушник поправляла. Нарядный, с кружевом, красной да чёрной нитками расшитый... а Маша им лицо вытерла, грудь... Нет, не материн рушник, но такой знакомый. Расшит красной ниткой по краям: солнышко катится посолонь... Чёрные точки в середине ромбиков – поле засеяно... Отец так говорил. А ещё – жено непраздна, если точка в ромбике. Жено непраздна... выходит, что праздный – значит пустой? А праздник что же? Тоже пустой день, получается. И недаром отец праздник всегда святом называл. Свято – свет.

– Скажи, ты-то как здесь очутилась? А может, это мне привиделось всё... Молоко... Рушник... Камень холодный... и не синий он, и не серый.

Он говорил, но голоса своего по-прежнему не слышал... она улыбалась, отвечала что-то: слов

не разобрать, но всё понятно.

– Постой, выходит, ты и не Маша вовсе, а просто похожа на неё?

– Я и Маша, и... не Маша. Тебе сейчас этого не понять, но потом всё станет на свои места.

– Как же это, – заволновался он, – как же... Я что, умер? Кто же ты тогда? Ангел?

– Ты не умер. Но ты и не жив. Ты сейчас на тропе Траяна [2] находишься.

– Где это? Я никогда не слышал о такой тропе... Где-то в горах?

Она рассмеялась:

– Это нигде. Это между небом и землёй, между жизнью и смертью. Как на Калиновом мосту. Слыхал небось, от отца-то? Отец твой этой тропой шёл, да и тебе суждено было идти ею. Да изрочили [3] отца твоего в недобрый час.

– Кто ты?

– Я – Милана. Я стану Машей. Буду носить имя чужое, но ты признаешь меня.

– Мне непонятно... Почему чужое?

– Маша сиречь Мария – имя пришлое [4]. А вы его русским считаете. Теперь – помолчи. Сейчас вершится твой рок. Пусть Доля допрядёт свою нить. Пусть исполнится то, что написано в книге Рода [5].

---

[1] Ночь матери – это ночь перед днем зимнего солнцестояния. Очень древний языческий праздник. Главный атрибут праздника – это венок Йоля. Его делают из веток ели в форме круга. Это символ того, что все в мире циклично: смерть и рождение. Венок означает, что все в мире сменяет друг друга, что-то погибает, а что-то рождается. Выбор зеленых веток можжевельника или сосны не случаен, ведь именно этот цвет можно считать символичным началом возрождения. [к тексту](#)

[2] Троян (Траян; Трояк (укр.), Trzy (польск.), Эскулап (лат.)) – славянский бог здоровья, целебных трав, знахарства. Связан с огнем и водою. Покровитель времени и пространства. [к тексту](#)

[3] Изменить судьбу, погубить до срока. [к тексту](#)

[4] Мария. Имеет несколько значений: «горькая», «любимая», «желанная», «упрямая» или «госпожа» (древнееврейское). [к тексту](#)

[5] Род — древнеславянский единый Бог, создатель всего живого и сущего. Отец Сварога и Лады. [к тексту](#)

## **Глава пятая**

На школьную ёлку собралась вся деревня от мала до велика. Больше всех радовались, конечно, дети, но и у взрослых глаза сияли. А день и вправду был светлый, праздничный. С самого утра, когда Маша нашла у двери еловый пушистый венок, и до наступления сумерек не покидало её ощущение праздника, как в детстве, когда она засыпала в своей кроватке, зная, что завтра зажгутся свечи на именинном пироге, яблочно-коричный дух которого проникал в детскую.

Маша знала, что там, на маленькой кухоньке, колдует над тестом бабушка, мелькают коричневые, сморщенные её руки, и растёт под руками диво дивное – именинный пирог с яблоками и с корицей.

И свечи загорелись, как и положено. И погасли – по очереди... И загорелись вновь...

Никто из взрослых не проронил ни слова, а уже дети – и подавно, затаив дыхание следили они за горящими свечами, словно где-то в глубине памяти пробуждались воспоминания о давних обычаях их пращуров.

Приближалась самая длинная ночь в году – люди называли это время Корочун. Умирало

солнце. Умирало, чтобы возродиться самому и подарить всему живому надежду на возрождение...

Маша подошла к окну. Темно, тихо... Луна где-то за крышами домов прячется. И звон колокольчиков слышится, будто кто-то на тройке мчится... всё ближе, ближе... Когда влетела на школьный двор белоснежная красавица-кобыла, запряжённая в широкие сани-розвальни, Маша глазам своим не поверила. А когда опомнилась, помчалась детишек одевать, чтобы те своими глазами это чудо увидели.

Из саней вышел настоящий дед Мороз в овчинном тулупе до пят, с бородой, с мешком подарков за плечами. Из-под ватных бровей весело сверкали знакомые карие глаза. А дети уже тянули его за длинные полы тулупа, наперебой спрашивали, что он принёс им. И для каждого нашлись у него и шутка, и слово ласковое, и шлепок... Когда мешок опустел, дед Мороз взглянул на Машу и спросил:

– Кататься все поедут?

Взрослые испуганно переглянулись, а дети завизжали от радости и повисли на нём.

– Одевайтесь потеплее, а я в санях подожду, – но за ним уже неслись, запахивая на бегу шубки, дети. Пока Маша одевалась, тётя Тоня зря времени не теряла. Обойдя сани с другой

стороны и уперев руки в бока, она грозно двинулась на Грида.

– Чего удумал, шалопай! Покататься ему... Я вот тебя сейчас как прокачу!

– Растеряешь детишков-то по дороге, – прошамкала беззубым ртом старенькая Лукерья, прабабушка Сашки-первоклашки.

– Не растеряет, – Маша, успевшая одеться и выйти во двор, пришла на помощь, – я с ними поеду. Да вы не волнуйтесь, мы недолго, вокруг деревни прокатимся – и всё.

– Так, если с Вами, то пускай, пускай... – одобрительно закивали родители.

– Ребятишкам радость... Вам-то мы доверяем, Марья Александровна...

Маша уселась в сани, крепко прижав к себе детей. Вспыхнули золотые искорки в карих диких глазах, взметнулась из-под полозьев снежная искрящаяся пыль, и полетела красавица-Белянка по скрипучему, накатанному санному следу, мимо дремлющих домов, сверкая елочной мишурой в развевающейся гриве.

Вот и околицу миновали. Притихли ребятишки, замороженные открывшейся перед ними сказкой. Искрилось в лунном свете белое царство безмолвия, крепко спали деревья, укрытые снежным покрывалом, и снилась им Жива-Весна



[\[1\]](#), и лишь бубенчик под дугой пел, не умолкая, да поскрипывала под широкими полозьями снежная дорога.

Какой век, какое время на дворе? Сто веков тому назад... а может, вперёд... пролететь птицей над снежными просторами да над лесными чащами – ничего не изменится здесь. Вековые сосны да ели будут окутаны снегом, околдованы зимней дремой... И будет им сниться Жива-Весна.

А между тем показалась околица деревенская, только теперь уже с другой стороны. Вот и поворот знакомый, а вот и школа светится праздничными огоньками гирлянд.

– Получайте ваших чадушек целыми и невредимыми! – Дед Мороз помог высадиться детям из розвальней и протянул руку Маше. – Ну, всё получилось? Как обещал, Марья Александровна...

Не отнимая руки, – не хотелось ей отнимать руку, да и теплее было озябшей её руке в большой ладони, – Маша улыбнулась:

– Спасибо, Володя. Если бы не ты, не было бы у детей такого праздника. Они этот Новый год на всю жизнь запомнят.

– Я тоже, – заплясали золотые искорки,.. – я тоже на всю жизнь... С Новым годом, Марья Александровна, – сказал громко, почти

прокричал – увидел, что люди прислушиваются. Вскочил в розвальни, – и только пыль снежная взметнулась из-под полозьев, – умчался в непроглядную ночь, словно и не было чарующей сказки, им придуманной и подаренной. Только бубенчик заливался вдалеке перезвоном, и всё дальше становился звук его, всё глуше.

Этой ночью Маша долго не могла уснуть, всё ворочалась, вздыхала... Даже тётя Тоня проснулась:

– Машенька, не простыла ли? Может сушеную малину заварить?

– Станный он, правда?

– Да ты, девонька, влюбилась никак? – ахнула тётя Тоня, – ...Чур тебя, девонька, чур тебя! Станный – не странный, но шептунной – это точно. Не пара он тебе, Машенька. И думать о нём забудь, – она погладила Машу по голове. Но Маша не унималась.

– В нём столько хорошего, только никто этого не видит. А если и оступился человек, так что теперь... Может он и сам жалеет, что таким был.

– Может, милая, может... Давай-ка спать – утро вечера мудренее. А там, – на свежую головушку и поговорим.

Ранним утром, когда Заря-Живана [\[2\]](#) только-только зарделась, а из печных труб в соседских

избах повалил дым, смешиваясь с низко нависшим, тёмным небом, заторопилась Антонина Тихоновна на другой конец деревни. Пахло свежесвепеченным хлебом, парным молоком и ещё чем-то необъяснимо родным, исконно-русским, домашним. Она подошла к большой, добротной ещё избе с покосившимся крыльцом и стукнула в маленькое окошко.

– Натаха! Вовка! Спите что ль?

В сенях сразу зажёгся свет, и дверь отворилась.

– Тончика? – заспанная грузная женщина с удивлением смотрела на раннюю, незваную и уж точно – нежеланную гостью.

– Вовку покличь, – сухо велела гостя, – в избу не пойду, пускай ко мне выйдет. Или он опять по электричкам шляется?

– Дома он, дома... Я сейчас, – засуетилась Натаха, и через несколько минут в сени вышел Грид.

– Чего тебе с утра пораньше не спится, тётка Тончика?

– А вот чего, – тётя Тоня скрестила руки на груди извечным охранительным жестом, – ты девке-то голову не морочь! Не ровня она тебе, шалопай, не по Сеньке шапка!

– Тебе-то что? Она дочка твоя? А может –

внучка, а?

– Молчи, анчутка! Не по себе дерево срубить надумал, ох не по себе.

– Может, я по-другому жить решил... По-человечески.

Промелькнуло в его глазах что-то настоящее, похожее на правду, промелькнуло на миг, и блеснули слёзы.

– Далеко тебе ещё до человека, ох как далеко, – вздохнула тётя Тоня, – и до Маши далеко, дойдёшь ли? Сил-то хватит с пути не свернуть?

– Дойду! – тряхнул гривой Грид.

– Вот потом и поговорим. А пока – не тронь!

– Иди отсюда, защитница, сам разберусь!

Но после этого разговора он исчез, и больше около Маши его никто не видел. Тётя Тоня, зная настырный нрав парня, со дня на день ожидала, что он объявится, но даже и она ждать перестала.

А Маша надеялась, что он зайдёт в школу или на улице её встретит, но пропал куда-то Грид – как в воду канул.

Пролетели зимние каникулы, а с ними и остаток января мелькнул – как один день.

Прошёл февраль. Зима шла на убыль, всё жарче пригревало днём солнце, все темнее

становился снег. А когда подули тёплые ветра, разрывая в клочья снежное зимнее покрывало, обнажились чёрные, влажные островки сонной земли – проталины. И сразу появились важные, большие, тёмные грачи...

Они расхаживали по проталинам, раскланиваясь друг с дружкой, – не виделись целую зиму, соскучились.

Маша часто просыпалась по ночам... Откуда-то, словно из прошлой жизни, доносилось:

«...весной в гости приезжай, подснежников здесь видимо-невидимо!» Плакала, и сама себе не могла признаться в том, что тоскует без диковатых карих глаз с золотыми искорками.

Однажды утром, когда она собиралась в школу, тётя Тоня вздохнула вслед:

– Взял, видать, сердечко он твоё, Машенька, крепко взял. Да и держит – не отдаёт. В лесу он живёт, в отцовской сторожке. Не хотела я тебе говорить, да вижу, как ты сохнешь, ночами не спишь. Если хочешь, тропинку укажу, только чур, одну не пущу.

– Не надо, – Маша едва справилась с горячей волной радости внутри, – не надо, если он так решил, значит, пусть так и будет.

– Смотри, девонька, сама, теперь я тебе плохой советчик, – покачала головой тётя Тоня,

а в глубине души порадовалась за Машу – молодец девка, не чета другим.

Этой ночью Маша впервые за последнее время спала крепко. Только под утро сон странный приснился. Будто она в одежде белой, льняной, с рушником расшитым идёт по каменистой, выжженной земле, ищет кого-то.

А кого ищет – неведомо, да и нет здесь ни одной живой души, только камень серо-синий, огромный на краю обрыва стоит, а у камня-то... витязь. И не понять: живой ли, мёртвый ли... Подошла ближе, ладошкой лба коснулась – живой... Вгляделась – да это же он, Грид...

И проснулась с тревожно бьющимся сердечком, и целый день места себе не находила.

С этого дня стала она ждать. Непонятное, неясное чувство внутри становилось всё сильнее и сильнее, с каждым весенним днём, с каждой набухшей почкой, с каждой новой проталиной.

*...на миг всё прояснилось. Маша сидела рядышком, словно и не исчезала никуда. Он вспомнил их разговор, и переспросил:*

*– Как тебя зовут, я забыл. Повтори.*

*– Миланой кличут.*

*Повторила спокойно, строго, без улыбки.*

Знакомый аромат волновал и в то же время успокаивал, до слёз знакомый, родной.

Из каких закоулков памяти выплывают запахи детства? Где хранятся они, где сберегаются. Вспомнился отец – молодой, весёлый и мать – совсем девчонка ещё; косы длинные, до пояса спускаются, в синих глазах лучики солнца пляшут; отец несёт его на руках, а мать идёт рядом, заглядывает отцу в глаза и улыбается.

Он счастлив – он хорошо помнит и никогда не забудет, как это: быть счастливым...

Он знает, как пахнет счастье. А пахнет оно пирогами с черёмухой да грибами, жарко натопленной печью, свежевывытыми дощатыми полами...

А ещё у счастья дух мятно-малинового кваса да щей наваристых, да топленого молока.

Мать накрывала на стол ближе к вечеру, и глаза её лучились синью.

А в доме пахло счастьем.

Но помнится и тот день, когда беда пришла в дом. Потухли глаза матери, – всё чаще и чаще взгляд её бессмысленно блуждал. Она и на него – на чадо своё ненаглядное – смотрела, как на пустое место – не видела; и, наконец, выцвела синь, превратилась в бледно-серую, грязную тряпку. Отец старался бывать дома как можно

реже, и его, не маленького уже, брал с собой в лес. Он навсегда запомнил, как пахнет беда... давно нетопленной печью, сырой и грязной хатой, стойким запахом перегара и чужого крепкого табака – отец никогда не курил.

А вскоре отца не стало...

Убили его прямо в той роще, которую он выпестовал своими руками. И он поклялся, что отомстит. Там, в роще по руке ножом полоснул, и пока руда змейкой сбегала по тощему отроческому запястью, шептал обет. Земля жадная до руды, впитывала – словно из жил тянула. Да, место там не простое, отец много разного о нём рассказывал.

Но мстить за отца не пришлось: по осени убийц его под старой берёзой мёртвыми нашли. Прямо на том месте, где ещё были видны впадины от огромного круга. Потом рассмотрел – в этом же месте руда в землю ушла, когда обет давал...

Что с ними случилось – никто не мог сказать. На первый взгляд – медведь-шатун порвал... Но люди шептались и о месте колдовском, и что отец не простым егерем был, а ведуном – древним богам служил, для этого и рощу возродил; и отомстили за смерть его боги древние.

Грид помалкивал. Много со временем стало



понятно, но ещё больше было непонятого, необъяснимого.

А голову всё кружил и кружил запах из счастливого времени, в котором он встретил Машу... вот же она... Спасти его прилетела, да только выйдет ли у неё. И кличут её теперь Милана... знал он это имя. Когда она крикнула вослед: меня Машей зовут, он услышал другой голос, будто ветер выдохнул где-то далеко: Милана...

только сейчас разглядел, что прижимает она к груди охапку влажных, темно-сиреневых цветов с мохнатыми бархатными стеблями. От них-то и плыл этот аромат, такой непривычный на выжженной чужой земле, терпкий, пьянящий, родной...

– Значит, весна, – обрадовался... сон-трава только весной ранней расцветает... в нашей... роще... Помнишь?

Она в ответ кивнула, бросила цветы, сложила ладошки лодочкой и поднесла к его губам:

– Пей.

– Что это?

– Не спрашивай, просто пей.

Вяжущий, сладковатый вкус с горчинкой...–

Сок. Берёзовый... Видать и вправду – весна. Я ведь хотел дожить до весны? Теперь и умереть не страшно.

Она обернулась. За спиной никого. Но долетел откуда-то не то крик птицы, не то женский плач: «Уж лучше бы в тюрьму, но жил бы... всё ты, змея подколодная, вмешалась, из-за тебя он в это пекло попал... на тебе его кровь!»

И на миг увиделось: небольшая кучка людей у избы с покосившимся крылечком. А у гроба женщина, причитает на всю округу. И девушка светленькая... тоже плачет, только тихо, беззвучно.

Из будущего ли долетел крик... Из прошлого ли...

– Пойдём. – Взяла за руку и повела мимо синего камня-валуна, мимо серой мазанки, по чужой, выжженной беспощадным белым солнцем, земле... Он удивился, – как легко идти, вот так, когда рука в её руке.

– Открой глаза, – голос её доносился откуда-то изнутри, но всё было слышно. Он увидел смуглые берёзовые ветки, дрожащие капли первого весеннего дождя на них и сиреневое буйство сон-травы на проталинах под берёзами.

– Здравствуй, Владимир, – она поклонилась в пояс. – Имя твоё суть – владеть миром. Вот он –

*твой мир, – владей!*

*Слезами заполонили очи.*

*– А ты... ты останешься со мной? Зачем мне этот мир без тебя.*

*– Не сейчас, – она вдруг стала совсем прозрачной, – мы ещё не раз с тобой встретимся, и однажды я останусь. Но не сейчас.*

---

[1] Жива — «дающая жизнь», славянская богиня жизни, она воплощает жизненную силу и противостоит мифологическим воплощениям смерти. В правой руке держит яблоко, в левой — виноград. Жива является в образе кукушки. В начале мая ей приносят жертвы. Девушки чествуют кукушку — весеннюю вестницу: крестят её в лесу, кумятся между собою и завивают венки на берёзе. [к тексту](#)

[2] Зевана, Живана – славянская богиня утренней зари. [к тексту](#)

## Эпилог

В звенящий капелью, тёплый апрельский вечер, Маша засиделась в школе допоздна. Задумавшись о том, что учебный год кончается, что нужно определяться, как быть дальше, она не услышала, как скрипнула дверь и вздрогнула, когда перед ней на стол, прямо на тетрадь со злополучными планами, легла охапка влажных сиреневых цветов.

– В роще у разъезда их видимо-невидимо.

Гроза окрестных деревень и пригородных электричек, Грид, стоял перед ней, улыбаясь, а в карих глазах его вспыхивали золотистые искорки.

Маша осторожно поднесла к лицу цветы и вдохнула свежий, пьянящий аромат талого снега, проснувшейся от зимнего сна земли, смешанный с тонким запахом цветов. Голова закружилась... Она увидела, что вместо непослушной львиной гривы, на голове у Володи торчит смешной мальчишеский ёжик.

– И не жаль было волосы срезать? Ты и на себя-то не похож.

– Это верно, – я теперь другой. В армию я ухожу, вот оно что. Уж сколько раз призывали – всё никак: то драка, то разбой... А теперь всё –

точка.

Рассеянно перебирая влажные мохнатые стебли, Маша молчала. Сердце сжалось от предчувствия чего-то тревожного. Сразу вспомнился сон. Видать не зря такие сны снятся... И камень сине-серый, и витязь раненый, и она рядом, у камня.

– Хочешь, я тебя в рощу отведу? – Не дожидаясь ответа, он склонился к ней. Золотые искорки оказались совсем рядом. Вот так, глаза в глаза, как в омут. – Здесь недалеко, – услышала она, возвращаясь к реальности, – ты только не бойся меня, ладно?

– Я и не боялась тебя никогда. Я просто за тебя боялась...

Они шли, держась за руки, пока не вышли, наконец, к железнодорожной насыпи. По узенькой тропинке он провёл Машу к поляне, где в густом тумане весенних сумерек, дрожали крупные капли влаги на смуглых ветвях берёз, а под ними расстиралось сиреневое полотнище сон-травы.

– Рощу эту отец мой посадил, – в подарок, – он говорил чуть слышно, почти шёпотом, – я ведь в апреле родился... Здесь он и погиб,.. тоже в апреле... день в день.

– Что это звенит, – прислушалась Маша.

– Дай руку. – Он приложил её руку к стволу берёзы, и Маша ощутила, как под прохладной шелковистой кожицей дерева что-то пульсирует. – Это сок, берёзовый сок. Гудит, играет... Я сейчас.

Он достал из-за голенища высоких охотничьих сапог складной нож и точным движением сделал аккуратный надрез на стволе. Тотчас же прозрачная влага заструилась по стволу.

– Ну, что же ты стоишь, пей!

– Как? – растерялась Маша.

Он приник губами к надрезу: «Вот так, пробуй...»

Маша осторожно коснулась губами сочащегося надреза и ощутила терпкий, чуть сладковатый, древесный привкус.

– Понравилось? – в сумерках глаза его казались совсем чёрными.

– В жизни ничего вкуснее не пробовала.

Он взял горсть талой влажной земли и бережно замазал ранку. Улыбнулся, обнял её и закружил, приподнимая над землёй.

– ...Идём, я тебе сторожку отца покажу.

В сторожке было чисто, уютно и пахло какими-то травами.

– Чай будешь пить? – он хлопотал у маленькой

печки. Маше показалось, что он прячет лицо, не хочет взглядом встречаться, но он повернулся к ней, и в карие глаза его стали совсем золотыми – так много искорок вспыхнуло в них. – Я ведь не думал, как живу, пока тебя не встретил. Милая... Ты знаешь, что тебя так зовут? Милая... Правда-правда. Это я точно знаю. А уж как в шубе деда Мороза побывал... Стыдно стало перед тобой, да ещё вот перед отцом. Знаешь, какой он у меня был.

– Знаю, – улыбнулась Маша и подошла совсем близко, так, что голова закружилась от золотого мерцания.

Губы его пахли берёзовым соком, талой водой и примешивалась к поцелую какая-то едва уловимая, тревожная горечь влажных сиреневых цветов, сон-травы, расцветающей ранней весной одна тысяча девятьсот семьдесят девятого года, в берёзовой роще у разъезда триста сорок третий километр.

## [Оглавление](#)

# ЛЕКЦИИ ПРОФЕССОРА КАМЕНЬКОВА

*Лекции по истории архитектуры проходили в аудитории номер семнадцать – самой сонной в институте. Как только я попадала в это унылое, тёмное помещение, меня тут же начинало клонить в сон.*

*Читал историю профессор Каменьков; не читал, а блял: тоненький, дребезжащий голос его вгонял в тоску с самого первого слова.*

*Вот и сегодня, едва он начал «дребезжать» что-то об эллинах, атлантах и кариатидах – об опорах в виде человеческих фигур, я уже с трудом сдерживала зевоту.*

*Чтобы хоть как-то себя отвлечь от крамольных мыслей о сне, я принялась исследовать «пиктограммы» на столешнице, сделанными задолго до моего появления на свет, судя по датам, проставленным под некоторыми из них, но вскоре и это занятие меня утомило.*

*Вздохнув обречённо, я принялась конспектировать «дребезг» Каменькова, зная из собственного опыта, что на зачёте наличие конспектов с его лекциями играло важную, едва ли не главную роль...*



«...он лежал на пустынной, усыпанной пеплом равнине, под нещадно палящим, синим солнцем.

Растрескавшиеся сухие губы шептали как заклинание: «Я должен это сделать. Я – последний, оставшийся в живых...»

Невероятным усилием он сконцентрировал память, и с последним выдохом от тела отделился сверкающий синий шар, завис на мгновение над солнечным сплетением, а затем стремительно взмыл и исчез.

*Я ещё раз вчиталась в написанное моей рукой: откуда это взялось?*

*Прислушалась... бляенье профессора протекало в обычном, нудном и сонном режиме.*

*Может быть, я записала какое-то отступление, в виде отрывка из повести или романа...*

*Может быть, профессор таким образом решил хоть как-то разнообразить свои лекции?*

*Что он там опять бормочет – вот несчастье-то...*

*Надо спешить, иначе потом придётся просить конспект у Димки и переписывать...*

## ***Часть первая***

Ральф курил у входа в приёмное отделение родильного дома и не замечал ничего и никого вокруг. Там, за дверью, умирала его жена...

Послышались тихие всплески детского плача, потом снова всё стихло. Потом какие-то крики, лязг металла... Кто-то бежал по коридору, за ним ещё... ещё...

Ральф влетел в помещение и чуть не столкнулся с врачом.

– У Вас родилась дочь... – снял очки врач и зачем-то начал протирать абсолютно чистые и сухие стёкла.

– Элина... – только и смог вымолвить Ральф, цепляясь за край стойки регистрации.

– К моему глубокому сожалению... Мистер Норд, поймите, у неё не было ни одного шанса. Странно, что ей вообще удалось выносить ребёнка. Вам нужно смириться, мистер Норд... И ...теперь Вы в ответе за жизнь девочки.

– Она очень хотела дочку, – прошептал Ральф. И вдруг, словно вспомнив что-то, схватил врача за руку, – могу я её увидеть?

– Девочку? Дочь?

– Жену! Мою жену! – заорал Ральф, но осёкся

под сочувствующим взглядом врача. – Извините, извините меня, ради Бога... Мне некого винить – Элина знала, на что идёт.

– Понимаю, мистер Норд. Не нужно извинений. Идите за мной.

Она лежала на столе, только лицо было чужим: равнодушным, от неё веяло какой-то особенной, ледяной красотой... «Красотой смерти?»

Ральф наклонился и поцеловал Элину в губы.

– Прости. Не удержал тебя... Не уберёг.

– Мистер Норд, – в дверном проёме возникла молоденькая медсестра, – хотите взглянуть на девочку?

– Не сейчас, – покачал головой он, – как-нибудь потом... Вы ведь сделаете всё, что нужно?

– Разумеется, мистер Норд.

Именно в эту минуту в палату интенсивной терапии, где стояло несколько специальных детских кроваток, по внешнему виду больше похожих на аквариумы, только без воды, влетел сияющий синий шар. Покружив над кроватками, он завис над той, где спала малышка, родившаяся два часа назад, завис около крошечной головки и... исчез.

Девочка сморщила нос-пуговку, открыла на мгновение глаза и вновь погрузилась в сон.

На крохотном запястье проступило очертание розы на длинном стебле. Лёгкие сполохи пару раз пробежали по нему и исчезли, а вскоре исчезло и само очертание.

– Вы полагаете, моя дочь когда-нибудь заговорит? Ей уже почти три года, а она до сих пор не произнесла ни одного слова.

Ральф сидел у окна, в своём любимом кресле.

Его собеседник, крупнейший в стране специалист по детским болезням неизвестной этиологии, профессор Тиккрей, нахмурился.

– Боюсь, мистер Норд, Вы поняли меня слишком буквально. Я не имел в виду разговорную речь. Попытаюсь объяснить Вам суть своих предположений.

Видите ли, как любому разумному существу, девочке необходимо общение с себе подобными, а общение всегда предполагает обмен информацией, эмоциями... Вы меня понимаете?

Ральф утвердительно кивнул.

– Так вот, рано или поздно, она найдёт способ общения. Каков он будет – сейчас определить невозможно. Природа чаще всего никого не лишает тех либо иных возможностей, не дав чего-то взамен.

Слепые от рождения люди наделены тонким слухом, я бы сказал, даже – чутьём, да и те, кто остался слепым в силу травмы либо заболевания глаз, понемногу начинают слышать лучше.

Глухота компенсируется уникальной способностью восприятия мира, совершенно отличной от восприятия человека слышащего нормально. Зачастую глухие люди обладают музыкальным слухом, и тому есть немало примеров среди мировых знаменитостей: Бетховен, Гленни, Сметана...

И даже такие отклонения в развитии, как кретинизм, либо болезнь Дауна ни в коем случае не остаются без компенсации.

Взгляните-ка на этих несчастных! Они обладают недюжинным физическим здоровьем – так природа возмещает ущерб, нанесённый здоровью психическому. Да и так ли уж они несчастны?

Нет-нет, не торопитесь возражать мне, мистер Норд! Это ведь только с нашей точки зрения они – сырые и убогие. С нашей позиции, которую мы возвели в норму.

Весь парадокс заключается в том, что они о нашем понятии «норма» ровным счётом ничегошеньки не знают и, возможно – считают убогими и несчастными нас с вами.

В этом мире всё относительно, друг мой!

И если Ваша дочь живёт в несколько ином измерении, чем Вы, не стоит её извлекать оттуда насильно. Физически девочка абсолютно здорова, что же касается умственного развития, то и тут – я уверен – нет никаких причин для опасений: её ясный, осмысленный взгляд, веское тому доказательство. Нам остаётся только вооружиться терпением и ждать. И ничего более...

Ральф тяжело вздохнул, поднялся с кресла и прислонился лбом к холодному оконному стеклу. Там, за окном, шёл снег, и огромные, мокрые хлопья превращали деревья в причудливых персонажей фантастической повести.

– Мистер Норд, Вы уже, наконец, дали имя дочери? В мой последний визит, а это было около двух месяцев назад, если не ошибаюсь, она всё ещё оставалась без имени.

– Увы... – развёл руками Ральф, – каждая моя попытка назвать её оканчивалась неудачей. Я словно натыкался на невидимую преграду, физически вполне ощутимую. Её взгляд был этим барьером. Я даже пробовал называть её именем матери – Элиной.

– А Вы не пробовали...

Ральф предостерегающе поднял руку.

Профессор обернулся и увидел на пороге кабинета девочку. Ступая чуть слышно крохотными ножками в пушистых носочках, она подошла к отцу и прижалась к его руке щекой.

– Ты соскучилась, жизнь моя? – Ральф, улыбаясь, взял малышку на руки. – Смотри, снегопад уже прошёл, и мы с тобой можем отправляться в путешествие в страну Снежанию. И Цезаря с собой возьмём, он – бедняга, тоже засиделся дома, с утра с ним никто не гулял.

Девочка обвила шею Ральфа ручками. Сейчас, когда она улыбалась, глаза её были похожи на маленькие лагунки – таким чистым и сияющим был их цвет, а радость наполняла их изнутри живым, тёплым сиянием.

Она заглянула Ральфу в глаза, затем посмотрела на профессора Тиккрея...

– Не волнуйся, моя дорогая, профессор Тиккрей скоро уйдёт, ведь ты именно это хотела узнать?

Девочка сползла с рук отца на пол, подбежала к профессору и поклонилась так изящно, что тот прослезился.

– Дитя моё, Вы – само совершенство! Вы – светлый ангел, сошедший с небес на нашу грешную землю.

Малышка выбежала из кабинета, а профессор

поднялся с кушетки.

– Позвольте откланяться, мистер Норд. Да, вот ещё что... Мне только что пришла в голову идея, и кажется, она не лишена смысла. Вы не хотите устроить для девочки праздник?

– По поводу?

– О, повод здесь совсем необязателен, поверьте! Это может быть бал Первого Снега с маскарадом и танцами. Пускай стены Вашего старого дома осветят огни сотен фонариков и свечей. И стаи Коломбин, Пьеретт и Арлекинов танцуют до полуночи в холле...

Пусть, не умолкая, звучит музыка! А ваша маленькая дочка будет королевой этого бала.

– Вы полагаете, что это даст какой-нибудь толчок?

– Не просто толчок, друг мой! Водопад, лавину эмоций!

– Даже не знаю... – Ральф в замешательстве обдумывал неожиданное предложение профессора. – У неё скоро день рождения, но мы никогда не отмечали этот день по вполне понятным причинам. Может быть, Вы правы. И стоит нарушить размеренную, как ход часов, жизнь нашего дома, именно в день... смерти Элины. Она так любила жизнь!

– Решайтесь, мистер Норд!



– А я уже решил. Элина мечтала о дочери, так что праздник в этот день не станет оскорблением её памяти.

– Да, друг мой, Ваша жена заплатила за воплощение своей мечты самым дорогим, что у неё было – жизнью. И Вы должны сделать всё, чтобы её жертва не стала бессмысленной.

В день смерти Элины, Ральф проснулся рано, – хотелось всюду успеть. Отдав последние распоряжения управляющему, он направился к гаражу. У дверей гаража стояла малышка и пристально смотрела на него.

– Я ненадолго, доченька, не волнуйся. Иди в дом – скоро придут гости. Ты не забыла о празднике?

Взгляд девочки упал на огромную тёмно-бордовую розу, покоящуюся на переднем сиденье...

– Послушай, – тихо сказал Ральф, – если хочешь, мы с тобой поговорим об этом, но немного позже, а пока, иди, пожалуйста, в дом и помоги Ричарду встретить гостей.

Он увидел, как крошечная слезинка катится по смуглой щеке малышки...

– Ты хочешь поехать со мной?

Девочка кивнула и, не дожидаясь приглашения, устроилась на заднем сидении. Повинуясь какому-то внутреннему чувству, Ральф осторожно переложил розу назад.

Дорогой он не проронил ни слова, но, похоже, девочку это ничуть не огорчило. Всё её внимание было целиком и полностью поглощено цветком. Она прикасалась крошечными пальчиками к нежному бутону, гладила шершавые листья, осторожно пробовала на ощупь гляцевую остроту шипов...

Ральф, наблюдая за девочкой в зеркало, в сотый раз мысленно обзывал себя ослом.

«Завтра же... Нет – сегодня же прикажу соорудить оранжерею. Выпишу самые лучшие сорта роз! Элина любила розы, а я после её смерти распорядился уничтожить все цветники...»

Машина подъехала к воротам старого католического кладбища, и Ральф не смог сдержать слёзы, видя, как бережно малышка несёт розу в покрасневших от холода ручках. Они направились к фамильному склепу Нордов, который располагался недалеко от центральной аллеи. Здесь покоилось несколько поколений предков Ральфа, здесь же была похоронена и Элина – над её могилой возвышалась миниатюрная нимфа с арфой в руках. Казалось,

девушка лишь на миг присела на надгробие, ещё миг – и она вспорхнёт. И оживут струны арфы, и печальная, нежная мелодия прольётся грустью над последним приютом...

Элина часто играла на арфе вечерами – и она и Ральф любили этот красивый, необычный музыкальный инструмент, с тонким и нежным звучанием...

Ральф опустился на колени и положил руку на мраморное надгробие. Девочка смотрела то на отца, то на нимфу с арфой и задумчиво поглаживала стебель цветка. Она обошла могилу с другой стороны и точно так же, как отец, опустилась на одно колено. Потом, опершись ладошкой о холодную плиту, она положила розу к ногам нимфы и закрыла глаза.

Ральф поднялся первым.

– Пора... Ты говорила с мамой?

Она открыла глаза и кивнула, затем подошла к Ральфу и поцеловала его руку.

– Ну что ты, родная... что ты... Я должен был сделать это раньше. Ты – умница, что помогла мне понять это. Я никак не мог решиться...

Но теперь мы будем приезжать сюда вдвоём, правда?

Когда они вернулись домой, на них обрушился шумный, сверкающий разноцветными огнями

праздник.

Сидя в сторонке и наблюдая за раскрасневшейся от восторга дочуркой, Ральф был счастлив как никогда. И прежде всего оттого, что барьер, разделяющий их, сегодня был окончательно разрушен. Они и раньше прекрасно понимали друг друга, но сегодня в их понимании возникло нечто особенное...

Гости разошлись далеко за полночь. Королева бала Первого Снега давно уже спала в своей маленькой кроватке, а у двери в её комнату расположился мраморный дог исполинских размеров, верный и преданный паж по кличке Цезарь.

## **Часть вторая**

– Нет-нет, профессор, рисунок действительно уникален! Во всяком случае, раньше я такого не видел. Приезжайте, я очень хочу услышать Ваше мнение. И привезите с собой художника, графика... Я дилетант во всём, что касается кисти и полотна, но здесь случай уникальный!

Ральф положил трубку телефона и окинул взглядом свой кабинет, который располагался в самой тёмной комнате дома – на первом этаже. Когда-то давно здесь была библиотека, но с появлением Элины в доме всё изменилось. Ей доставляло радость всё переделывать, переставлять на свой лад, и дом – старое родовое гнездо одной из самых древних фамилий в округе, наполнился светом её молодости и радости.

Элина...

Ральф и сейчас отчётливо помнил каждую морщинку на её милом, открытом лице...

Вот она поворачивает голову на его оклик, и длинные русые волосы падают на плечи...

Вот она выходит из воды: длинноногая, стройная; по гладкой, смуглой от загара коже стекают капельки морской воды...

И последний день... побелевшие, пересохшие губы шепчут что-то ему, бессвязно, умоляюще... Что... Что она хотела сказать...

Ральф вздрогнул – таким громким показался ему голос управляющего.

– Почему Вы так кричите, Ричард. Что-нибудь случилось?

– Я вовсе не кричу, сэр. Я несколько раз обращался к Вам. Но вы меня не слышали.

К Вам мистер Тиккрей. Прикажете принять?

– Проси скорее. И прикажи подать кофе со сливками для мистера Тиккрея и чёрный – для меня.

– Слушаюсь, сэр.

– Мистер Норд, добрый вечер! Прекрасно выглядите, друг мой. – Профессор, как всегда был полон энергии. – Позвольте представить: мистер Лоуренс. Он преподаёт графику в академии Художеств и любезно согласился приехать со мной и быть нашим консультантом.

– Прошу вас, господа. – Ральф указал на кресла и прошёл к столу. – Ричард, будьте добры, для мистера Лоуренса... – он выжидательно посмотрел на художника, – ещё один чёрный кофе – без сахара.

Взяв со стола рисунок, и в который раз

порадившись его чёткости, Ральф передал его Лоуренсу.

На бледных впалых щеках художника проступили алые пятна. На рисунке был изображён мужчина, простирающий руки к огромному синему солнцу. Серые, безжизненные равнины вокруг... Чёрная, растрескавшаяся земля...

Но более всего поражали глаза мужчины: молящие, почти безумные от отчаяния и безысходности.

– Сколько лет Вашей дочери, мистер Норд? – голос Лоуренса дрожал от волнения.

– Три с половиной года.

– Невероятно! – Лоуренс вскочил и начал метаться по кабинету. – Это сделано рукой талантливой, я бы даже сказал – гениальной, но... рукой взрослой, опытной. Взгляните на твёрдость, на завершённость линий! Трёхлетнему ребёнку, пусть даже и одарённому, такое не под силу – здесь всё говорит о руке мастера.

– И, тем не менее, Лоуренс, – профессор просто сиял, понимая, что его идея с балом-маскарадом принесла свои плоды, и этот рисунок – лучшее тому доказательство, – рисунок сделан трёхгодовалой девочкой. Да вот и она сама! Прошу любить и жаловать: перед вами мисс

Норд.

Малышка вопросительно посмотрела на отца и, получив одобрителный кивок, вошла в кабинет. Она улыбнулась как старому знакомому профессору Тиккрею и перевела взгляд на Лоуренса.

– Это мистер Лоуренс, милая, он – художник. – Ральф усадил дочурку в кресло, – он специально приехал для того, чтобы взглянуть на твой рисунок, и, кажется, рисунок произвёл на него впечатление.

– Вы позволите задать ей несколько вопросов?  
– Лоуренс подошёл ближе.

– Разве профессор не рассказал Вам? Дело в том, что моя дочь не говорит.

Но, я думаю, что на общение это не повлияет – Вы всё поймёте. Дорогая, покажи мистеру Лоуренсу свои розы – там вы и пообщаетесь...

– А как её зовут?

– Пока не знаю, – рассмеялся Ральф, но, видя недоумение на лице художника, пояснил – мы перебрали тысячу имён: ни на одно из них она не отозвалась.

– Прошу прощения, я боюсь показаться невежливым, но, всё-таки... Как же она может отозваться, если не говорит...



– Может, Лоуренс, ещё как может, – заверил художника профессор, – и Вы убедитесь в этом в самое ближайшее время.

– Так ты видела этого человека во сне?

Малышка кивнула и погладила огромную белую розу, распустившуюся утром.

– А почему у него такие глаза? У него что-то случилось, какое-то горе?

Вновь лёгкий кивок, – и Лоуренсу показалось, что он действительно слышит детский голосок, тоненький и тихий. – Скажи мне, ты ещё будешь рисовать?

На этот раз девочка пожала плечами.

– Если будешь, позови меня, пожалуйста. Мне очень хочется увидеть, как ты рисуешь. Можно?

И лёгкое движение очаровательной детской головки превратило Лоуренса в счастливейшего из смертных.

– Твои розы великолепны! А ты знакома с сортом «Кария»?

При этих словах девочка вздрогнула и как-то странно посмотрела на художника.

– Незнакома, – догадался Лоуренс, – а между тем, это один из лучших сортов роз. Я пришлю тебе несколько кустов в подарок.

Малышка схватила его за руку и умоляюще заглянула в глаза. Затем она прижала свои крохотные ладошки к груди и указала на цветок.

– Постой... я начинаю понимать... Ты хочешь, чтобы тебя называли Кария?

– Я вижу, вы подружились, – в оранжерею вошёл Ральф.

– Мистер Норд! – Лоуренс бросился к Ральфу, – Кажется, Ваша дочь нашла своё имя!

Малышка подбежала к отцу, и тот с радостью подхватил её на руки и закружил.

– Это правда, дорогая?

Девочка кивнула и указала на розы.

– Это связано с цветами?

– Мы беседовали о розах, и я пообещал подарить несколько розовых кустов сорта «Кария» – это любимый сорт моей матушки.

Девочка приложила ручки к груди и поклонилась Лоуренсу, отчего тот чуть не разрыдался.

– Так значит, Кария? – спросил Ральф. – Красивое имя... Я Вам признателен, мистер Лоуренс и очень надеюсь на то, что вы будете частым гостем нашего дома. Я и... Кария – будем вам всегда рады.

И в привычном, размеренном укладе жизни

обитателей старого дома наступили перемены.

Лоуренс приезжал почти каждый день – он полюбил малышку. Бедный художник был одинок, кроме старенькой матери у него никого не было. Он рассказывал Карию удивительные истории, читал стихи и баллады, приносил свои эскизы, наброски... Иногда они рисовали вместе, иногда – только Лоуренс, а девочка устроившись неподалёку, наблюдала, как из-под его руки проступали черты чьего-то лица или проглядывал зимний солнечный день.

Февраль подходил к концу – близилась весна. Деревья в парке стояли притихшие – в ожидании тепла, готовые взорваться зелёными клейкими брызгами молодой, нетерпеливой листвы. Все семь розовых кустов сорта «Кария», подаренных Лоуренсом, принялись и уже радовали глаз свежими, тёмно-зелёными листочками. И, хотя Лоуренс утверждал, что в первый год они цвести не будут, вскоре на одном из кустов появился маленький крепкий бутон. Кария боялась пропустить момент, когда он раскроется, и приходила в оранжерею даже по ночам.

Рисовать ей больше не хотелось – тот рисунок оказался единственным, и Лоуренс уже начал опасаться, что новых рисунков не будет.

Но майской тёплой ночью, в полнолуние, расцвёл первый розовый бутон «Кария».

Девочка от радости захлопала в ладоши и собралась было бежать за отцом, как вдруг остановилась – перед ней проносились ожившие видения из её снов: дома из белого камня, улицы, мощёные лазурной плиткой, висячие сады, фонтаны и... розы, розы на каждом шагу...



Одно удивило её – прекрасный город казался вымершим. Ни на улицах, ни в парках, ни на балконах – нигде не было людей. Только чайки высоко в небе кричали тревожно о чём-то.

Ей захотелось оживить улицы сказочного

города и, вытащив из кармашка блокнот и карандаш, с которыми никогда не расставалась, она начала рисовать.

Утром Ральф, встревоженный отсутствием дочери, которая всегда прибегала к нему по утрам, – нашёл её в оранжерее. Кария спала прямо на полу, положив руку под голову, а поодаль лежало несколько рисунков.

Отец бережно поднял малышку на руки, но она не проснулась – так крепок был её сон. Он коснулся детского лба губами – жара нет... Значит, просто спит...

Ральф отнёс девочку в спальню и вернулся. Он долго рассматривал рисунки и не мог понять, откуда в очаровательной детской головке взялись такие фантастические сюжеты. Где, в каком из её снов, живут эти люди, широкоплечие гиганты и стройные, гордые девы – им под стать.

Он вернулся в комнату дочери и увидел, что Кария уже не спит.

– Доброе утро, жизнь моя, – ты меня напугала. Ты видела – роза расцвела? Мистер Лоуренс не преувеличивал – это действительно уникальный сорт. А теперь скажи, кто эти люди на твоих рисунках? И где находится город из белого камня с лазурными мостовыми и тротуарами?

Карри подняла верх руки.

– Не на Земле? Я правильно понял тебя? Мне тоже всё это напомнило рай Господень.

Что же ты хмуришься, дорогая? Это не рай?

Ральф внимательно смотрел на малышку, пытаясь понять движения её рук.

– Знаешь, Кария, скоро придёт Лоуренс. Я уверен – он лучше, чем я поймёт тебя. А сейчас – завтрак – Цезарь, наверное, уже сходит с ума, он же без тебя не прикасается к еде.

## ***Часть третья***

– И Вы, верите в переселение душ, Лоуренс? – Ральф пристально смотрел на художника.

– Я имел в виду не переселение душ, а память, память наших прошлых воплощений, прошлых жизней. На рисунках Карики мы видим прошлое.

– Чьё прошлое? Выходит, моя дочь была когда-то одной из этих дев? Они похожи на ожившие античные статуи... А этот город... знаете, Лоуренс, я когда-то довольно серьёзно занимался археологией и могу Вас заверить в том, что на Земле ничего подобного не существовало. Во всяком случае, пока не найдено никаких подтверждений тому, что здесь была такая цивилизация.

– Не могу с Вами не согласиться, мистер Норд. Но, есть одно маленькое «но». На одном из последних рисунков Карики, эти «ожившие статуи» пытаются удержать разрушающийся свод дворца на площади. Взгляните-ка, вам они ничего не напоминают? – Лоуренс протянул Ральфу рисунок.

– Ну, конечно же! – воскликнул Ральф, – Атланты и кариатиды... Как мне раньше это не пришло в голову! Пойдите-ка, имя Кария... Вы думаете, что оно как-то связано с этим?

– Уверен. Рисунки Вашей дочери, не просто плод детской фантазии, это свидетельство о существовании древней цивилизации, о расцвете и о катастрофе, постигшей её. Если бы Кария могла говорить, она бы многое нам поведала, хотя... рисунки говорят вместо неё.

– Разгадка возникновения атлантов и кариатид..., – улыбнулся Ральф, – утопия самой чистой воды... Думаю, что рисунки моей дочери всего лишь плод необычайно развитого воображения. Фантазия, Лоуренс, просто фантазия!

– А техника этих рисунков Вам ни о чём не говорит? У девочки в четыре года рука зрелого мастера – как Вы это объясните?

Ральф пожал плечами и подошёл к окну. Отсюда открывался прекрасный вид на парк, и ему хорошо было видно, как Кария играла с Цезарем. Было уже совсем тепло, и Мэг – няня девочки, позволяла не надевать капор. Длинные, тёмно-русые волосы малышки развевались за плечами, щёки разругались...

«Как она похожа на Элину. И почему судьбе было угодно разлучить нас... И я ничего не хочу никому объяснять – я просто хочу. Чтобы моя девочка была счастлива. И всё...»

– Мистер Норд, а что если я напишу рассказ по рисункам Карри. Я напишу так, как чувствую её



мир, который оказался мне не чужд. А потом мы прочтём его девочке. Вы не возражаете?

– Что Вы, я буду только благодарен Вам.

Художник ушёл, оставив Ральфа в полном смятении чувств. Он рассеянно перебирал рисунки, вглядывался в прекрасный, но всё-таки, странный, чужой мир, и пытался понять, что же может быть общего с этим миром у его маленькой дочурки...

Лоуренс и Кария шли по каштановой аллее старого парка, взявшись за руки. Неумолимо приближалась осень – желтых листьев становилось всё больше и больше, и на прогулки няня уже не отпускала девочку без тёплого тёмно-синего капора и перчаток.

Лоуренс что-то рассказывал ей, а она внимательно его слушала и лишь изредка кивала головой.

Вдруг он остановился...

– Я догоню Вас... идите вперёд. Прошу Вас...

Достав из кармана пальто платок, он приложил его к губам и зашёлся в долгом приступе кашля.

Кария обернулась и с тревогой посмотрела на художника.

– Всё в порядке, мисс Норд, не волнуйтесь. Это

обычная простуда. Матушка оказалась права – мне ещё рано выходить из дома. Но я очень соскучился – из-за этой болезни мы не виделись две недели.

Кария укоризненно покачала головой и, попросив его наклониться, коснулась ладошкой лба Лоуренса.

– Вы хотите сказать, что у меня жар? Пустяки...

Он изо всех сил пытался скрыть слабость, внезапно навалившуюся на него, но обмануть девочку не удалось. Она решительно направилась к дому, не отпуская руки художника.

Усадив его в гостиную, она побежала к отцу и сразу же вернулась, но уже с Ральфом.

– Лоуренс, друг мой, что с Вами? – Ральфа поразила смертельная бледность художника.

– Ничего особенного, это моя старая подружка – простуда... – он вновь закашлялся и потерял сознание. Из кармана пальто выпал платок с пятнами крови.

Кария расплакалась...

– Ну что ты, дорогая, не пугайся. Сейчас мы уложим его в постель, и пошлём за доктором. Ничего страшного не случится. Иди к себе, пожалуйста.

Мэг увела перепуганную девочку, а Ральф, отдав все необходимые распоряжения, стал дожидаться врача.

Врач приехал через час, мельком взглянул на Лоуренса, сразу же сказал, что нужна срочная госпитализация, и художника увезли в госпиталь, который находился неподалёку, в монастыре Святой Елены.

Чуть свет Кария прибежала к отцу в спальню и робко постучав, вошла. Ральф не ложился этой ночью.

– Всё в порядке, дорогая. Через недельку наш друг навестит нас – вот увидишь. И вы снова будете гулять в парке, беседовать и любоваться розами.

Но ни через недельку, ни через месяц Лоуренсу не суждено было появиться в доме Нордов – всё оказалось намного серьёзнее, чем обычная простуда. Зная о стеснённых жизненных обстоятельствах художника, Ральф взял на себя все расходы по его лечению, а два месяца спустя и все расходы по организации похорон.

Он никак не решался сказать об этом дочери, пока случай не расставил всё по своим местам.

Кария часто и подолгу стояла у окна в кабинете отца – отсюда хорошо просматривалась вся центральная аллея парка. В надежде увидеть

нескладную, долговязую фигуру своего лучшего друга, она и с Цезарем не играла и рисунки забросила.

В воскресный день её ожидание было, наконец, увенчано успехом: на аллее показался кто-то, но из-за плотного тумана невозможно было разглядеть, кто.

Кария выбежала навстречу долгожданному гостю и остановилась в недоумении: пожилая худощавая дама, одетая во всё чёрное, приближалась к ней.

– Здравствуйте. Вы ведь Кария – я не ошиблась? У меня есть кое-что для Вас.

Дама протянула конверт. Кария открыла его и узнала почерк Лоуренса.

Слёзы выступили на глазах девочки. Она вопросительно посмотрела на даму...

– Будет лучше, если Вы отведёте меня к Вашему отцу, мисс.

Ральф сразу понял, кто перед ним – Лоуренс был очень похож на мать. Он указал на кресло:

– Прошу Вас, миссис Лоуренс.

– Я вижу, Вы узнали меня, мистер Норд. Да, я мать бедного Стива. Я пришла, чтобы поблагодарить Вас за всё, что Вы сделали для моего мальчика и чтобы передать Вам вот это, –

она указала на конверт в руке Кари. – Стив часто писал мне о Вас, о том, что подружился с Вашей дочерью, об её удивительном даре...

Всё это я нашла в его комнате, квартирная хозяйка сохранила все его бумаги и холсты.

Я взяла на себя некоторую смелость и отправила их на Ваш адрес. Думаю, что и Вам и маленькой мисс Норд будет приятно иметь у себя частичку сердца своего бедного друга.

Кария подошла к миссис Лоуренс, обняла её крепко – она всё поняла без слов и объяснений. Мать художника ошеломлённая столь неожиданным порывом, не смогла произнести ни слова. Её руки гладили худенькие вздрагивающие плечики малышки, а по впалым, морщинистым щекам катились слёзы.

## **Часть четвёртая**

– Ну что ж, друзья мои, я начинаю.

Миссис Лоуренс открыла великолепное издание: книгу с рисунками Кари и небольшой повестью Стива.

С того дня, как мать художника появилась в доме Нордов, прошло более полутора лет, и Ральф с дочерью привязались к этой одинокой, немногословной женщине. Ральф уговорил её продать дом в Керокке и переехать к ним. Деньги, вырученные от продажи дома, были положены в надёжный банк под хорошие проценты: теперь это был фонд Стива Лоуренса, созданный в помощь одарённым, но бедным людям: художникам, поэтам, музыкантам...

Миссис Лоуренс обрела настоящую семью, ей доставляло удовольствие заботиться о Ральфе и Кари, и они платили ей взамен теплом и любовью.

Сегодняшний день был особенным: вышла книга, которую ждали давно.

Все собрались в гостиной, за празднично накрытым столом. Здесь были развешены картины Лоуренса. На двух была изображена Кари, но совсем не такая – более взрослая, задумчивая и печальная, гораздо печальнее и

серьёзнее, чем в жизни.

В распахнутые окна майский ветерок доносил аромат цветущей белой сирени... и роз, конечно же, роз.

Была середина мая...

«...была середина мая – время, когда уже достаточно тепло, но ещё нежарко, и можно целыми днями писать пейзажи цветущих склонов Кари.

Мы лежали в густой, молодой траве... Я смотрел, как ты покусываешь травинку, и вспоминал день, когда увидел тебя впервые.

Ты бежала по лазурной мостовой, распахнув гибкие руки-крылья, и синее солнце сияло за твоими плечами...

Я и не заметил, как мой мольберт слетел вниз – ты, пробегая, зацепила его кончиками пальцев. Пейзаж был безнадёжно испорчен – внизу тянулась песчаная отмель, и тысячи тысяч песчинок, словно того и ждали – прилипли к свежим мазкам масляной краски.

Ахнув, ты приложила руки к груди и шепнула:

– Прости меня, пожалуйста, я не хотела... правда...

– Пустяки, – отмахнулся я и удивился, с какой

лёгкостью расстался с кропотливым, упорным трудом двух недель.

– Спрячь меня... спрячь меня скорее, – встревожено оглянулась ты, словно расслышав что-то далёкое и опасное...

В двух шагах отсюда, у излучины реки стояла моя хижина – туда я и отвёл тебя.

– Как здесь уютно! – восхитилась ты. – Ты – художник?

– Я – художник. А ты?

– Как тебя зовут, художник? – лёгкая тень пробежала по твоему лицу, спрятав на миг улыбку...

– Стив. – Я безуспешно пытался оттереть руки, испачканные краской.

Белое платье качнулось, точно колокольчик на тоненьких стебельках...

– Скажи мне, Стив, ты умеешь хранить чужие тайны?

– Не знаю, – пожал плечами я, – наверное, умею...

– Я принцесса Кария. Да ты наверняка обо мне слышал! Меня ищут... и... я не хочу, чтобы нашли.

– Принцесса? – недоверчиво посмотрел я на твою руку.



– Ты ищешь знак, художник? – нотки надменности неприятно изменили твой голос, – тебе должно быть известно, что знак могут видеть лишь посвящённые. Он находится под магическим покровом и скрыт от праздного любопытства и от чужих глаз.

...Отбросив травинку, ты потянулась ко мне:

– Вспоминаешь, как мы встретились?

И сразу же на тонком запястье проступил контур розы. Я поцеловал твою руку, чуть выше знака.

– Спрячь его. На службе у твоего отца множество магов, и тебя быстро обнаружат.

– Знаю, любимый... – знак исчез. – Иногда он проступает сам – помимо моей воли, защита, почему-то, не срабатывает. Чаще всего, это происходит, когда я очень волнуюсь или испытываю невероятный накал чувств, вот как сейчас.

Ты наклонилась надо мной, и прикрыла глаза...

– Кария, что нас ждёт? Я не могу представить, что тебя найдут, и нас разлучат...

Я согласен пойти в тюрьму, на плаху – куда угодно, только бы ты была счастлива. Слышишь?

– Мы не расстанемся, художник. Что бы ни случилось – мы уже никогда не расстанемся –

это невозможно. Мы будем вместе через сто лет, через тысячу, через десятки тысяч...

Только бы ты узнал меня, только бы не прошёл мимо.

Видишь ли, мой отец – себе не хозяин. Душа его давно принадлежит Верховному жрецу, хотя он по-прежнему меня любит – я знаю. Думаешь, легко ему было дать согласие на то, чтобы меня принесли в жертву Эйсону – отвратительному богу сумерек.

Ты приподнялась на локтях и насторожилась...

– Что-то не так?

– Какая-то магия, Стив. Я кожей чувствую... Похоже, эти ищейки всё же выследили меня. Тебе нужно бежать... скорее. Я помогу – ты будешь невидимым для них некоторое время.

– Я не оставлю тебя, – вытащив из заплечного мешка арбалет, я выпрямился во весь рост. – Где эти отродья, пусть попробуют только сунуться со своей магией!

Вокруг было тихо, подозрительно тихо... И странный жёлтый туман напал на лощину – из-за него-то я ничего и не видел.

Голова закружилась... Последнее, что я услышал – твой крик...

Очнулся я в тёмном, сыром помещении, руки

мои были связаны. Сильно хотелось пить, голова раскалывалась от дикой боли.

Но ещё более сильную боль мне причиняла мысль о тебе. Где ты... Что с тобой...

Снаружи загремел засов, дверь распахнулась, и на пороге возникла сгорбленная фигура в ядовито-жёлтых одеждах. Сам Верховный жрец пожаловал... Старый колдун...

– Здравствуй, Стивен.

Он протянул мне свою сморщенную руку для поцелуя – раскрытой ладонью – по обычаю.

И я, из самых последних сил, плюнул в эту чёрную, обтянутую кожей-пергаментом, ладонь...

Колдун рассмеялся, и своды подвала задрожали от этого смеха.

– Напрасно, художник, напрасно, я ведь не причинил тебе никакого вреда. Пока... пока не причинил... Но, коль ты так враждебно настроен, изволь – я отвечу тем же.

А ведь мы могли бы быть полезны друг другу.

– Что ты сделал с Карией?

– Ничего. Вот уже целый месяц она живёт себе в своих покоях и о тебе не вспоминает. Завтра – слияние трёх звёзд, такое бывает лишь раз в сто лет. Принцесса была бы принесена в жертву, как ей и предназначалось. Но, ты вмешался,

художник. Ты лишил её невинности, ты – простой бродяга из касты художников, посмел смешать свою кровь с кровью высокородной принцессы Кариин. Ты знаешь – какова будет расплата за содеянное.

Но я могу оставить тебе жизнь, если ты согласишься принести в жертву младенца. Вспорешь ей живот и убьёшь младенца. Она останется жива. Согласен?

Кровь ударила мне в голову...

– Так она ждёт ребёнка! Моего ребёнка... Нашего! И ты думаешь, что я соглашусь отдать её и сына злобным, слюнявым тварям, которых ты называешь богами?

Я убью тебя, и пускай эти кровожадные гады сожрут твою гнилую плоть!

– Глупец! – зашипел он, – У тебя была единственная возможность спасти свою шкуру, но ты её только что потерял. Теперь ты сдохнешь на глазах у высокородной потаскушки!

Но сначала ты увидишь, как ей вспарывают брюхо. Да, художник, я доставлю тебе такое наслаждение...

Тяжёлая дверь захлопнулась за ним, а я принялся лихорадочно думать, как мне выбраться отсюда. Утешало только одно: Кария не может быть принесена в жертву – она носит

под сердцем дитя. Моё дитя... Нашу с ней плоть и кровь. Значит, завтра на алтарь взойдёт другая несчастная...

После нескольких попыток развязать руки, я почувствовал, что верёвка ослабла. Наконец, узел поддался. Я попытался дотянуться до маленького окна – тщетно – стена была гладкой: ни трещинки, ни выбоинки. Я начал подпрыгивать, пробуя зацепиться за небольшой зазор между решёткой и стеной, но дотянуться до него было непросто.

А когда мне, наконец, удалось это сделать, голова моя закружилась, я упал на ворох гнилой соломы и снова потерял сознание.

Не помню, сколько прошло времени, прежде чем я очнулся. Пол подо мной ходил ходуном. Стены подвала разваливались на глазах, будто какой-то исполин раскачивал их из стороны в сторону. После очередного толчка стена возле двери рухнула, образовалась огромная брешь, и я ринулся к неожиданно образовавшемуся выходу.

Выбравшись на свободу, я увидел ужасную картину: лазурная плитка на мостовых и тротуарах вздыбилась и потрескалась, от великолепия царского дворца остались одни руины, серебристые фонтаны задохнулись под обломками зданий...

Кария... если старый колдун не врал, то она во дворце, вернее, в тех руинах, что остались от него...

Я скорее почувствовал зов, чем услышал. В южной части дворца, под одним из уцелевших сводов, я увидел тебя и бросился к центральному входу.

– Сюда нельзя, Стив! Ты – погибнешь! Уходи скорее, слышишь меня, уходи! Здесь мой отец – он ранен... Эту часть стены удерживает только моя магия... Силы мои на исходе...

Я подбежал совсем близко и увидел, как вибрирует стена.

Ты протянула руки, и даже издали было видно, как контур розы на запястье пылает багровым цветом: зловещие кровавые круги расходились от него. Это означало, что все запасы магической силы пущены тобой в действие.

Я сам не обладал магической силой, но хорошо знал, что когда её обладатель использует всю силу сразу – он проживает свою жизнь за считанные часы.

– Видишь, как всё хорошо. Мне даже ничего не нужно тебе объяснять, Стив – я скоро умру. Не пытайся меня спасти – это бесполезная трата времени, позаботься о моей душе и о душе той жизни, что зреет во мне. Я знаю, что ты –

знаешь. Это твой ребёнок. И не оставляй здесь отца – любимцы Верховного жреца только и того и ждут...

Когда я, наконец, пробрался к тебе, ты лежала, свернувшись, у ног отца, почти без признаков жизни, и контур розы мерцал всё слабее и слабее.

Я вынес тебя на улицу, уложил у чаши задохнувшегося фонтана и бросился за отцом. К счастью, он пришёл в себя и, хоть был очень слаб, пошёл сам, опираясь на моё плечо. У самого выхода я услышал оглушительный треск, посмотрел вверх и понял, что мы обречены – арка центрального входа разваливалась над нашими головами.

И в этот момент ты встала, воздев руки к безжалостному небу, и запела заклинание на древнем карийском языке...

Я отчётливо видел, как твоё лицо покрывалось сетью морщин, кожа съёживалась на теле, как седела и превращалась в клочья волна густых, светло-русых волос...

В тот момент, когда голос твой умолк, я уже стоял на улице, а твоёму отцу оставалось сделать один шаг... Я попытался удержать рушившуюся каменную глыбу руками и каким-то внутренним зрением увидел, как ты встала рядом и подставила руки под камень

Твой отец успел выйти и упал замертво...

Чья-то невидимая рука буквально вытолкнула меня на мостовую. Когда пыльная завеса рассеялась, из-под рухнувшей арки выплыл синий шар.

Он покружил над руинами, затем резко подлетел ко мне и... я ощутил только странное покалывание в груди.

Что было дальше – я помню плохо... нещадно палящее, синее солнце, растрескавшаяся земля... и то, как я лежал на этой земле.

И ещё: синий шар, покидающий моё тело. Он покружил надо мной. Завис, видимо, прощаясь, и воспарил, чтобы через минуту исчезнуть.»

Миссис Лоуренс перевернула последнюю страницу...

За окном давно уже стемнело, воздух стал густым, влажным – приближалась гроза, и аромат роз с каждой минутой становился всё насыщенней.

– Вот и вся история, дорогие мои. Нам остаётся только гадать, кто первым воплотил в архитектуру идею, использовать атлантов и кариатид в опорах. Кем он был? Скульптором, мечтателем и романтиком, а может быть, художником, как мой бедный сын...



– По большому счёту, это неважно, ведь так, жизнь моя? – Ральф обнял Карию, и девочка кивнула в ответ. – Важно то, что рядом с нами сегодня живут атланты и кариатиды, рядом с нами и... среди нас.

В дверь постучали. На пороге стоял юноша лет тринадцати, высокий, черноволосый, с резко очерченным, тонким профилем – неуловимо напоминающий профиль Лоуренса.

– Прошу любить и жаловать, друзья: это Кэвин. Кэвин... – тут миссис Лоуренс выдержала небольшую паузу, – Лоуренс, мой внук. Сын Стива...

– Как? – изумлённо вскричал Ральф. – У Стивена был сын?

– Я и сама узнала об этом только незадолго до его смерти. Когда-то, в очень ранней молодости, мой мальчик был влюблён в одну... вздорную особу, которая ответила на его чувство чёрной неблагодарностью – предала его. Родив ребёнка, она оформила его в Дом сирот, ничего не сказав об этом отцу – Стиву. А не так давно я получила от неё длинное покаянное письмо... Да.

Но, бедный Стив был уже мёртв – он так и не узнал, что у него есть сын. Мне удалось не только быстро разыскать мальчика, но и оформить все необходимые документы.

А знаете, что было самым трудным во всём этом? Не проговориться – я очень хотела сделать вам сюрприз, и у меня это получилось!

Юноша, смущённо улыбаясь, подошёл к Кари и протянул руку: «Кэвин. Кэвин Лоуренс.

Девочка смотрела на него, широко раскрыв глаза. Затем осторожно вложила в протянутую руку свои тоненькие пальчики...

– Видишь ли, Кэвин, – Ральф поспешил прийти на помощь Кари, – дело в том, что...

– Я всё знаю. Вашу дочь зовут Кария.

– Тебе бабушка о ней рассказала?

– Нет, Кария сама только что произнесла это. Вы, разве, не слышали?

Можно мы посмотрим, как начинается гроза, из беседки?

...они ушли. Взявшись за руки, а Ральф и миссис Лоуренс переглянулись, ничего не говоря. Им тоже давно не требовалось слов, чтобы понимать друг друга...

*...первые проявления художественного творчества в области ваяния кроются во мраке доисторических времен; не подлежит, однако, сомнению, что они были вызваны...*

*...потребностью человека, еще не вышедшего*

*из дикого состояния, выразить чувственным знаком идею о божестве или сохранить память о дорогих людях...*

*...поэтическая легенда древних греков об изобретении пластики, — легенда, по которой Кора, дочь коринфянина...*

*...возлюбленным, сохранить себе на память его изображение, очертила контур его головы по тени, брошенной солнцем, а ее отец заполнил этот силуэт глиною*

*...начальные опыты ваяния в доисторическую эпоху — о том позволяют нам судить истуканы, найденные европейскими путешественниками при первом посещении...*

*– простые столбы...*

Профессор Каменьков оторвался, наконец, от моего конспекта и посмотрел на меня как-то странно.

– Скажите, Аникеева, с Вами всё в порядке? Может быть, вам к врачу обратиться...

– Что Вас опять не устраивает? И к какому врачу я должна идти...Придираетесь ко мне, как обычно.

Он аккуратно выделил заключительную часть конспекта.

– Здесь встречаются отрывки лекции, которую

прослушала ваша группа...

Некоторым образом... М..да, а у меня есть приятель – замечательный специалист своего дела, психиатрия – его конёк, знаете ли... М..да...

Скажите, а кто Вам посоветовал поступить в архитектурный?

– Какое это имеет отношение к зачёту? И на что Вы намекаете?

– Никакого. Как и Вы, собственно – к архитектуре. Как и то, что здесь написано – к моей лекции. Дайте Вашу зачётку. С психиатрией я, конечно, поторопился...Вы никогда не задумывались о литературном институте?

Когда я увидела проставленные отметки за семестр вперёд, я не удивилась – к тому моменту я уже прочла две страницы «лекций профессора Каменькова», записанных мною с его слов – под его диктовку, на одной из лекций по истории архитектуры.

*...греческая колонна стоит свободно. Отсюда и происходит ее тектоничность...*

*эллинская антропоморфная идея.*

*...зрительно (изобразительно) выражает действие сил строительной конструкции, ассоциирующихся с силой свободно стоящего*

человека.

...В античном искусстве совершенно естественным кажется появление опор в виде человеческих фигур – атлантов и кариатид.

...образ женской фигуры – кариатиды, просто и естественно вошедшей в архитектурную конструкцию...

...темы вызывают противоречие формы и функции, ощущение несоответствия хрупкой, пластичной опоры и тяжести перекрытия...

...а боги у эллинов наделялись телом, таким же, как у смертных людей, только еще более прекрасным...

## [Оглавление](#)

# Сама себе Луиза

(Повесть-быль в двух частях с прологом и без эпилога)

*Татьяне*

*Светлой памяти и с благодарностью*

Сегодня, перечитывая сухие, царапающие память строчки письма из прошлого, я испытываю лишь лёгкий дискомфорт.

Как от мелкого морского песка, когда несколько песчинок попадают между пальцами...

При ходьбе чувствуется жжение... Если не избавиться вовремя, можно дотянуть до мозолей... до кровавых мозолей.

Со старым письмом, честно говоря, та же самая история. Мозоли уже давно натёрты, а избавиться от песчинок до сих пор не удалось. Ещё есть... Ещё трут... Не до крови, но всё-таки...

Я сегодняшняя, понимаю, что в этом письме из прошлого нет ничего особенного – стандартный набор: равнодушие, пара-тройка советов (автор письма родился и прожил большую часть сознательной жизни в стране советов, потому и

раздавать их направо и налево, не поинтересовавшись, нужны ли они кому-то, считает делом житейским), две-три цитаты из книги Луизы Хэй «Я люблю тебя, Луиза!»

Ничего особенного, ведь так?

Однако в моей лысой (позже объясню, позже) голове при прочтении этого письма разорвалась шаровая молния.

Вам когда-нибудь хотелось тепла? Не жалости, не шерстяной кофточки с чужого, разогретого плеча, а тепла: настоящего, душевного...

В моей жизни бывали такие моменты, когда я жаждала его в любых проявлениях: взгляд, улыбка, телефонный звонок, дружеское пожатие руки, письмо...

Телефонные звонки и письма, пожалуй, и были основными его поставщиками – ещё была жива мама, и письма от неё приходили часто.

Настоящие, в конвертах, которые я доставала из старенького почтового ящика, написанные аккуратным, ровным, почти каллиграфическим почерком учителя русской словесности с сорокалетним стажем преподавания этой самой словесности в школе.

Ах, что это было за чувство, когда долгие дни ожидания вознаграждались: с замиранием сердца я входила во двор и видела, что из ящика

выглядывает краешек конверта...

Гораздо реже приходили письма от сестры, в них тоже плескалось тепло, и написаны они были почерком, отдалённо напоминающим мамин.

А из этого конверта выпал сложенный вчетверо листок – распечатка.

«Ну и что? – спросите вы. – Если человеку было удобнее набрать текст на компьютере, а потом сделать распечатку и отправить её обычной почтой. Ну и что?»

А то, дорогие мои, что не привыкла я тогда ещё к такому стремительному рывку вперёд, и письма, в моём представлении, выглядели несколько иначе. Тем более, что когда-то этим человеком было написано множество писем. Настоящих. И большая часть их была адресована мне.

Сегодня всё по-другому. Я получаю много писем по электронной почте, у меня несколько адресов (правильнее было бы сказать: e-mail ов). Но к тем письмам, которые написаны от руки и отправлены в конвертах, я питаю странную привязанность.

Может быть, это оттого, что написание их и отправка – своего рода ритуал, сродни чайной церемонии, если угодно.



Да-да, дорогие мои, я не ничуть не преувеличиваю. Ведь существуют правила написания писем, и их, насколько мне известно, ещё никто не отменял. Правда, сегодня эти правила мало кому известны, и ещё меньше кем соблюдаемы.

Все изменилось, упростилось, свелось к минимализму, к символичности, условности.

Из этой же компании – растворимый кофе и пакетированный чай: подмена настоящего суррогатом.

И пластиковые стаканчики, которые с одной стороны удобны – не нужно мыть посуду – выбросил и забыл. А с другой стороны... (их вообще-то, несколько больше, этих сторон, но мы возьмём только две) свежезаваренный чай, налитый из пузатого заварочного чайничка в расписную боярышню-чашку на блюде... А к чаю – вишнёвое варенье с косточками да с апельсинными корочками в розеточке на тонкой ножке.

Что вы там говорили об удобстве пластиковых стаканчиков?

Но ведь, в сущности, самое главное, чтобы не телу – душе было уютно и удобно. Вашей душе уютно от пакетированного чая из пластика? Тепло?

Моей – нет. И вовсе не потому, что она такая привереда, просто она ценит настоящее и по-прежнему жаждет тепла.

Но я отвлеклась.

Мы говорили о письмах, кажется? Так вот, протягиваешь руку... не за милостыней, не за подаванием – нет, в поисках дружеской руки, в поисках тепла, а получаешь – камень...

Чужие слова, чужие советы, из которых один – весьма ценный: как добыть средства на лечение с помощью интернета. Правда, как добыть средства для того, чтобы этот интернет стал для тебя делом житейским, привычным, таким как сегодня, совета в письме не было.

Поясню: восемь лет назад я только начинала осваивать виртуальное пространство, компьютер в свою жизнь я ещё не впустила, а интернет был у моего знакомого: ди-а-лап (помните такого зверя?), что для меня означало только одно – телефон будет занят, а это значит, что я доставляю человеку массу всяческих неудобств.

Менее всего я люблю причинять людям неудобства, я хоть и страдаю приступами мизантропии, к человечеству, всё-таки, отношусь вполне миролюбиво.

Поэтому, я старалась обращаться к своему приятелю как можно реже.

Само собой разумеется, для продвинутых америк со всеми вместе взятыми европами, в которых тогда обитал автор письма, все эти сложности казались отголосками из пещерного века.

Но я не о том. Я об отсутствии тепла в листке с компьютерным текстом.

В частности. И об отсутствии тепла – в целом.

Это теперь я смотрю на всё иначе. Без обиды, без раздражения, – просто, с изрядной долей сарказма и иронии, по отношению к себе.

А тогда... восемь лет назад, всё было по-другому.

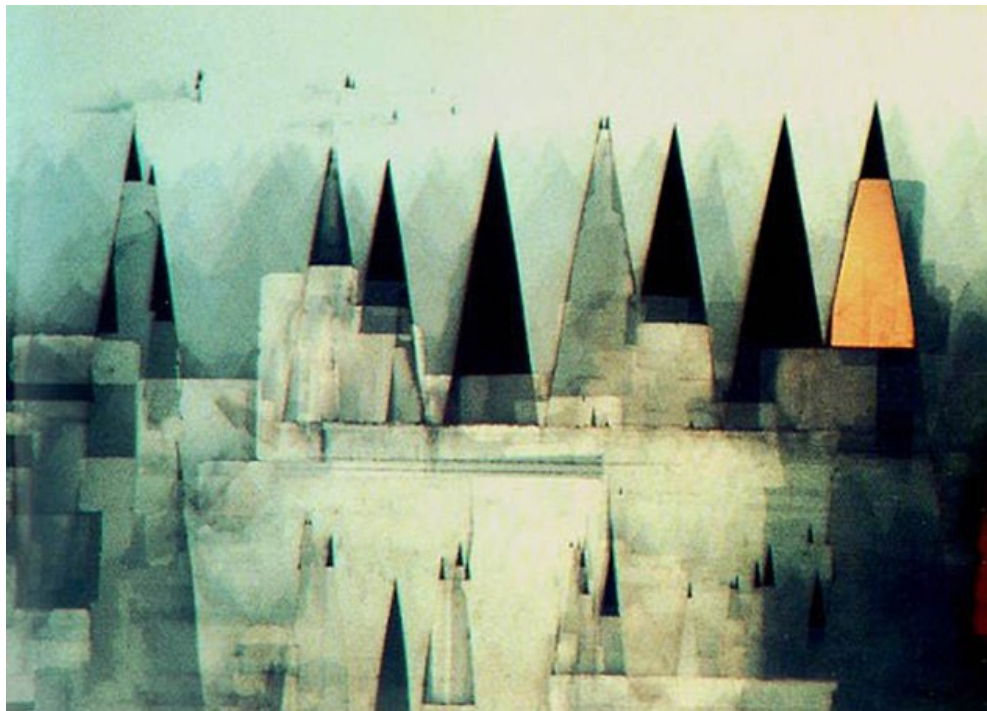
Если вам после прочтения этой маленькой повести-были захочется подарить кому-то частичку тепла, глоток надежды, или же, глотком этим станет сама повесть – я буду счастлива. О большем вознаграждении я и не мечтала. Всё, что описано здесь, произошло в действительности, вымышлены только имена.

И последнее.

Это действительно фотография кристаллов лекарства от рака – доксорубицина, в метаноле и диметилбензолсульфоновой кислоте, а не произведение супрематизма.

Автор шедевра – Ларс Наарден, Нидерланды, поляризованный свет, 80-кратное увеличение,

1996 год.



Именно в этом городе я гуляла.  
Ничего странного... Правда?

## **Часть первая**

Грязно-желтые стены больничной палаты приобрели нежный, коралловый оттенок. Синюшная кожа на лице женщины, лежащей под капельницей у окна, казалась фарфоровой, кукольной... У Даши в детстве была китайская кукла с фарфоровой головой. Даше она казалась неземной красавицей, и чтобы хоть как-то походить на куклу, Даша однажды выбелила своё лицо краской из баночки, на которой было написано: цинковые белила. Кто ж знал, что белила эти предназначались для оконных рам...

В свечение попала рука медсестры и сразу же превратилась в крыло ангела.

– Как красиво, – залюбовалась Даша, – протягивая свою исхудавшую, исколотую руку к свечению.

– Красиво, говоришь? – Леночка проколола толстенной иглой бутылочку с ярко-рубиновой жидкостью, на которую падал луч январского солнца, благодаря чему и разливалось колдовское свечение по больничной палате. Даша увидела её руки вблизи – отвратительные толстые пальцы с обкусанными, почти плоскими ногтями... – Настоящая красота начнётся через девятнадцать дней.

Леночка посмотрела на роскошные русые волосы пациентки, потрогала свой жалкий пучок, торчащий из-под белой, туго накрахмаленной шапочки и вздохнула с сожалением:

– Вот же, природа-матушка, несправедлива. Кому – всё, а кому – ничего.

Женщина на соседней кровати испуганно взглянула на бутылочку с лекарством в своём штативе, а Даша совершенно спокойно ответила:

– Я знаю. Я уже договорилась – вечером в парикмахерскую пойду.

– Волосы-то не оставляй им, – попросила Леночка, – я куплю. Если продашь, конечно.

У меня уже три парика есть, будет и четвёртый – самый роскошный. А хочешь – в оплату за капельницы пойдут. Я на всё согласная.

Женщина отвернулась к стене, и Даша поняла – плачет.

– Спасибо, Леночка. Вы очень добры, но мои волосы останутся дома, извините. А за капельницы я с вами рассчитаюсь обязательно.

– Так не бесплатно ж, – с обидой в голосе пояснила медсестра, – я хорошие деньги даю. А они тебе, ой как нужны будут!

– Знаю. Но волосы продавать не стану. – Спокойствие Даши вывело медсестру из себя.

– Всё-то ты знаешь! Откуда ж ты взялась такая, на мою голову... Так вот, зайка моя, если хочешь, чтобы капельницы ставились и снимались вовремя, то плати. И лучше – за неделю вперёд.

– Деньги на тумбочке, под книгой. Там – за пять дней. Вы ведь не целую неделю дежурите. – Теперь уже Даша отвернулась к стене, но не для того, чтобы скрыть слёзы. Ей было противно... К цинизму она никак не могла привыкнуть, хотя за время болезни приходилось видеть всякое.

– Следите за системой! Если закончится – кричите, сигнализация у нас не работает, а мне тут около вас сидеть некогда. Вас таких целое отделение лежит – а я одна.

Леночка привычным, хорошо отработанным жестом, сгребла деньги в карман и вышла из палаты, оставив дверь открытой.

Даша смотрела, как в ярко-рубиновой жидкости бурлили, поднимаясь наверх, пузырьки воздуха и вспоминала события последних шести месяцев, события, которые перевернули всё в её жизни с ног на голову...

В тот день, когда она впервые попала в онкологический областной центр, слёзы были особенно «обидными», а такие слёзы, как известно, самые горькие, и глаза от них щиплет сильно. Даша проливала свои обиды на весь мир,

сидя на краешке скамейки, повернувшись к дорожке спиной – по крайней мере, так ей казалось, что никто её не видит.

Предосторожность эта была излишней – здесь никому не было дела до чужих слёз, со своими бы сил хватило справиться. Неожиданно где-то рядом прозвенел голосок:

– Ревём? Неубедительно ревём и как-то подозрительно тихо.

Эту миниатюрную блондиночку Даша заметила ещё утром, когда пыталась пристроиться в хвост огромной, четырёхглавой очереди в регистратуру. Нельзя было не заметить, поскольку та обладала незаурядной внешностью. А тем более – здесь, на фоне суетливых, обеспокоенных людей с потемневшими, осунувшимися лицами и заплаканными глазами.

Безупречный макияж, идеально выбеленные длинные волосы... Об одежде и говорить не приходилось. Единственное, что вызывало недоумение, так это белизна кожи. Такие блондинки к концу апреля уже вызывают приливы тихой зависти у окружающих своим бронзовым загаром, а у этой кожа была до того белой, что отливала синевой – солнца не видела давно, если не самого рождения ли.

Девушка протянула Даше упаковку бумажных



платков и представилась:

– Я – Ксения. К кому тебя направили?

– К Левченко, – всхлипнула Даша, но платки всё-таки взяла и даже пудреницу из сумочки вытащила.

– Вот и отлично! Значит, вместе будем ездить на облучение. Или ты на койку оформляешься? Приезжая?

– Тебе зачем?

– Может быть, ты, всё-таки, назовёшь своё имя.

Даша невольно обратила внимание на обувь новой знакомой. Дорогая... Пожалуй, очень дорогая... И шпилька – сантиметров пятнадцать – не меньше!

– Дашей меня зовут. Странно...

– Ничего странного – имя как имя. Дарья... Я тебя Дарьей буду называть, не возражаешь?

Так вот, скажи-ка ты мне, Дарья, по какому такому поводу, ты здесь сырость разводишь?

– У меня есть повод, – вздохнула Даша. – Диагноз.

– Звучит как приговор, – улыбнулась Ксения. – Интересно. Выходит, диагноз – это оправдание твоему внешнему виду?

– А как я выгляжу? Да и кому какое дело! – разозлилась Даша, хотя прекрасно знала, что сейчас из себя представляет внешне.

Ксения развернула пудреницу и поднесла зеркальце к самому носу Даши. Кончик носа был красным и распухшим – от слёз. Глаза – тоже.

– Что ты ко мне пристала? Легко говорить! Если бы всё так просто было... У тебя кто болен?

– А у тебя?

– Что за идиотский вопрос... Неужели не понятно, что я...

– А тебе, выходит, тоже непонятно? У меня – я и больна.

Даша махнула рукой – не смейся, мол, но блондиночка была абсолютно серьёзна.

– Правда, что ли? А чего ж тогда вырядилась так, словно в ресторан собралась, а не на приём к врачу.

– А тебе от твоего внешнего вида легче? От балахона вот этого – мышинового, от тапочек «здравствуй климакс»... У меня кредо такое: чем хуже – тем выше. Чем тебе хуже – тем... Шпилька должна быть выше. Кстати, это к высоте каблука относится весьма условно – окружающие должны верить в то, что у тебя всё хорошо. Но, прежде всего, ты должна в это поверить сама.

– Понимаю... Луиза Хэй. Только не всем это удаётся. Не всем.

– Знаю, – неожиданно согласилась Ксения, – хотя, кому-то и Луиза Хэй – в помощь. Ну, а я – сама себе Луиза. И ты тоже сможешь! Вот увидишь!

Они обменялись телефонными номерами и, условившись о встрече, распрощались.

Даша приехала домой, и разве что, покрасневшие глаза выдавали недавнюю истерику. На вопрос мужа, как всё прошло, ответила бодро, даже улыбнулась, выпила чашку молока и уснула без слёз впервые с того дня, как короткий и страшный диагноз изменил до неузнаваемости не только её внутреннее состояние, а и внешность, и всю её жизнь.

Она категорически запретила Артёму сопровождать себя – не хотела, чтобы он в очередной раз видел её слёзы.

Примерно в это же время, на другом конце города, совершенно обессиленная блондинка рухнула в кресло.

– Мама... Опять целый день таскалась на своей «шпильке»! Сколько можно с тобой сражаться. А?

Укоризненно качая головой, пухленькая девчушка сняла с уставших, отёкших ног Ксении

туфли и принесла пушистые серые тапочки, больше похожие на весёлых котят, чем на домашнюю обувь.

Немного отдышавшись, Ксения подошла к зеркалу, помахала рукой и, улыбнувшись, послала воздушный поцелуй своему отражению.

На следующее утро Даша проснулась рано, но укрываться одеялом с головой и рыдать расхотелось. Пока она искала второй тапочек, зазвонил телефон и умолк.

«Слава Б-гу, – облегчённо вздохнула Даша, – наверное, Артём с работы – волнуется, чтобы я не проспала... Можно ещё полтора часика поваляться – только пять утра...»

Но телефон зазвонил снова, и ей пришлось снять трубку.

– Судя по «ангельскому» голосочку, ты стоишь в тапочках, причём, я не уверена, что в двух; в халате, нечёсаная, немытая, и материшься, на чём свет стоит. Доброе утро, Дарья!

– Ксюш, ты? – неожиданно для себя самой, Даша обрадовалась.

– Ты уже смотрелась сегодня в зеркало? И оно до сих пор не лопнуло от твоей унылой физиономии?

– Ксюша!

– Встречаемся через полтора часа там, где условились. Форма одежды – парадная!

Даша вытащила из шкафа любимые туфли на каблучке, джинсы... Стрекоза с бирюзинками-глазками, браслет из точно такой же бирюзы...

Покрутилась перед зеркалом.

«...ещё очень ничего... даже очень...»

«Чем хуже – тем... выше... ты сама должна поверить в то, что у тебя всё хорошо...» – вспомнила она слова Ксюши и вздохнула: не так-то просто было в это поверить с первого раза...

Курс лучевой терапии она перенесла на удивление легко, даже с постоянными приступами тошноты научилась справляться. Но самое главное, что она научилась начинать каждый день с общения со своим отражением. Подходить к зеркалу и здороваться с собой, улыбаясь, становилось привычкой.

Артём с удивлением и радостью наблюдал за переменами, происходящими с Дашей. Он поддерживал её с самого начала болезни, но в последнее время и у него опустились руки, но теперь он вновь всячески пытался настроиться на положительный результат.

Ксения звонила каждое утро и уже не напоминала о том, что нужно сделать, но всегда интересовалась, какая помада на Дашиных губах

сегодня. Они встречались, шли на процедуры, которые были довольно болезненны, потом садились где-нибудь в сторонке, в тени, отдыхали и говорили обо всём на свете; под запретом была только одна тема – болезнь.

Месяц пролетел незаметно, но надежды, возлагаемые Дашей на лучевую терапию, не оправдались. После всех необходимых осмотров и обследований, врачи рекомендовали продолжить лечение и предложили операцию.

– Зачем, – растерянно прошептала она, чувствуя, как горло перехватывает спазм, – зачем?

Кто-нибудь может ответить мне: за-чем... тратить время, си-лы, нер-вы... деньги, в конце концов? Для того, чтобы не так скучно было ожидать конца... Зачем!?

Даша и не заметила, что в последний раз «зачем» она выкрикнула – люди в коридорчике перед кабинетом врача понимающе переглянулись.

– Чтобы спать спокойно, – невозмутимо ответил врач, продолжая что-то писать в Дашину историю болезни.

– Вы же говорили, что лучевая терапия поможет... Вы же обещали... Что Вы там всё пишете и пишете, пишете и пишете? Да я за всю

свою жизнь не пережила столько, сколько там написано... Напишите: всё. Конец. Не могу больше, понимаете? – шептала Даша, теребя в руках направление. – Ну, а если я сделаю эту операцию, где гарантии, что всё будет нормально?

– За гарантиями обратитесь к Господу, а я – всего-навсего врач, Дарья Михайловна.

И именно как врач, я настаиваю на операции, хотя... Решать, конечно, Вам. Вы имеете полное право отказаться. В письменной форме, разумеется...

Даша вышла из кабинета в коридор, рухнула на свободный стул и дала волю слезам. Она не стала дожидаться Ксению, спустилась по лестнице и направилась к автобусной остановке.

Приехав домой, не отвечая ни на какие расспросы и вопросы, она свернулась калачиком на диване в маленькой комнате и долго-долго плакала навзрыд, а потом уснула, но и во сне дыхание её прерывалось всхлипыванием.

Проснувшись она оттого, что Артём стоял у дивана и протягивал ей телефонную трубку.

– Дарья, всё ещё киснешь? Встань и иди!

В голосе Ксении не было ни жалости, ни сострадания, ни участия, и от этого Даше стало совсем худо.

– Не могу, – всхлипнула она, – плохо мне. Оставьте вы все меня в покое! Куда я должна идти?

– К зеркалу, душа моя! Знаю, что плохо. Но от сырости легче не становится, уж поверь моему опыту.

– Как ты не понимаешь? Мне не помогло лечение, нужна операция. Операция...

О, Господи, за что мне это всё!

– Нужна – значит сделаешь. И скажи спасибо, что операция возможна. Вспомни тех, кого сегодня отправили домой – их же выписали умирать. А у тебя ещё есть шанс, и ты не имеешь права сдаваться.

– Легко тебе говорить... Самой-то, наверное, больше ничего не нужно делать...

Даша вспомнила, что даже не поинтересовалась, как прошёл сегодняшний осмотр у Ксюши. – Или... нужно? Э-эй, Ксюш, где ты... ты-то как, а? Я со своим нытьём совсем о тебе забыла. А в очереди мне женщина одна, знаешь что сказала? Что «под нож» ни в коем случае ложиться нельзя, а то...

– Дарья, запомни три очень простых правила: во-первых – не верь! Это я о том, что болтают в очередях и на больничных койках. Ты – одна такая, пойми. Это значит, что твой случай никак



не может быть случаем анечки, адочки, клавочки, сонечки... Верь себе, своему внутреннему «я» и, желательно, лечащему врачу. Левченко, кстати, врач хороший – и не хапуга, а это немаловажно.

В онкологии сейчас не так много хороших специалистов – дипломы-то покупаются, а вот знания, опыт... А в «руки заглядывают» чаще всего, как раз – коновалы.

Хотя... – Ксения потянулась до хруста в косточках, – это проблема государства. Хирург со скальпелем в руках не должен думать о том, что дома у него шаром покати. А зарплаты у них нищенские... Вот и добирают. Но настоящие врачи ещё есть, Дарья, и нам с тобой повезло!

Но даже хорошему врачу не под силу то, что под силу тебе.

Нужно постоянно работать над собой, и начинается эта работа с того, что каждое утро ты подходишь к зеркалу и говоришь себе...

– Я знаю, Ксюш, можешь не продолжать. Я так и делаю... Просто, сегодня захотелось всех послать подальше.

– Умница! Захотелось – пошли. Но ненадолго. Самое главное – обиды в себе не держать. Опухоль из чего растёт? Из обиды, Дарья, из обиды... Посему – захотелось послать – посылай,

но с лёгким сердцем. Слушай, я тут с тобой прямо целителем становлюсь.

Жаль, что целители себя не могут вылечить.

Дальше, Дарья, всё ещё проще: второе правило – не бойся. Ничего не бойся, слышишь?

Скажи себе, что всё самое плохое с тобой уже случилось. Муж бросил – так радуйся! С тобой всё это время подонок был и трус. И только беда проявила его гнилое нутро. Если ты нужна человеку – он будет с тобой до конца, и не бросит в трудную минуту. Даже если от тебя останется... половина. Или треть... Но в данном случае, всё останется при тебе – вырежут только ненужное. Есть ещё у нас муж, Дарья? Или уже – был?

– Есть.

– Вот и я говорю: не перевелись рыцари на белом свете. Слушай третье правило – не проси! Об этом у Булгакова очень хорошо и подробно написано, так что повторяться не имеет смысла. Просто берёшь и читаешь, а если уже читала – перечитываешь.

Важно: никогда не спрашивай «за что». Чтобы разобраться, почему это произошло именно с тобой, работай над собой, а чтобы работать правильно – читай умные книжки, а тому, что говорят в очередях: смотри пункт первый – не

верь!

Успокоившаяся Даша слушала наставления своего недавно обрётённого «гуру» и вдруг, неожиданно для себя улыбнулась влетевшему в окно толстому, мохнатому шмелю... Лимонно-жёлтые цветы на оконных портьерах привлекли его внимание, но он быстро разочаровался в их неживой яркости и улетел восвояси.

Даша увидела, что уходит ещё один солнечный летний день и помахала ему рукой.

И представила, каким будет день следующий, и... успокоилась.

– Ксюш, а если они потом скажут, что «химия» нужна... Волосы вылезут, лысая буду. Ксюшенька, если ты устала от меня зануды – не отвечай... Ты скажи мне только, что у тебя-то слышно?

– Значит, пойдёшь на «химию», – с невероятным спокойствием, больше похожим на внушение, ответила Ксения. – Тоже мне, проблему нашла: волосы вылезут. Купишь парик – а ещё лучше два или три. И будешь всем на зависть парики менять, а вместе с ними и выглядеть по-новому каждый день... По чётным – рыжая, по нечётным – жгучая... А по выходным – можно и в платочке походить. Чалму намотаешь! Умеешь? Нет? Вот и научись. А дома – без платочка. Муж – надежда у нас, а это – главное.

Обычно мужики, если бегут, то именно после лучевой, в смысле, когда лучевая не помогает, и требуется продолжать лечение – резать. Не все, конечно, не все... Выдюжит?

Даша взглянула на Артёма и улыбнулась. Надёжа-муж спал и посапывал во сне, как ребёнок.

– Ты же его видела – крепенький.

– Да я не той крепкости спрашиваю. Я в смысле...

– Выдюжит. – Даша сама удивилась своему уверенному ответу.

– Умница. Пойми, Дарья, цель у тебя сейчас одна, и идёшь ты к этой цели семимильными шагами, можно сказать – летишь. Так какая же, скажи мне, разница, придёшь ты к ней лысой или в пушке цыплячем? Главное – прийти здо-рой! А волосы – отрастут.

Через две недели после этого разговора Даша легла на операционный стол. А ещё через месяц, после очередного осмотра, врачи вынесли заключение: химиотерапия просто необходима. Это известие Даша восприняла уже спокойно, без слёз.

Она вышла из кабинета врача, в том же самом коридорчике, где рыдала и билась в истерике не далее как полтора месяца назад, уверенно

подкрасила губы и отправилась оформлять направление.

– Вот и чудненько! – заведующая химиотерапевтическим отделением улыбалась, – место за Вами в палате уже закреплено. Идите домой, встречайте Новый год, Рождество...

– Восьмое марта и Первомай, – усмехнулась Даша. – Мне бы курс лечения поскорее начать... Не до праздников, знаете ли. Уж, извините, что пришла.

– Да куда торопиться-то, – заведующая хищно посмотрела на Дашу, – срочности никакой нет... после праздников – милости просим. Эта неделя для вас уже ничего не решает. А с семьёй побыть – когда ещё придётся. Курс тяжёлый, не все его переносят.

Десять дней – как десять месяцев тянутся. Капаем «химию» день – неделю моем. Соду капаем, соду, – пояснила заведующая, видя выражение Дашиного лица.

– Так что ступай, порадуйся жизни.

– Спасибо. За откровенность... И за надежду.

«Для вас... ничего... не решает... когда ещё придётся... Не верь. Не бойся. Не проси...»

## **Часть вторая**

По дороге домой Даша заехала в новый торговый центр и купила два парика.

Чёрный – роковое каре женщины-вамп и легкомысленный – рыжий. Пересчитала оставшиеся деньги, и... гулять – так гулять! Третий парик был светло-русый, по цвету таким же, как волосы Ксюши. А когда увидела шёлковый платок с восточным причудливым арабеском, сразу же окрестила его «шамаханская царица» – и тоже купила.

Дома, нацепив русый парик, она набрала ставший уже родным телефонный номер:

– Купила роскошный платок «шамаханская царица» и три парика. Один – точь-в-точь, как твои волосы. Будем сестрицами, Ксюш?

– Ой. Вам, наверное, мама нужна, – по тоненькому голоску в трубке, Даша поняла, что трубку сняла дочка. – Сейчас, одну минутку.

Но с голосом Ксении произошли какие-то изменения и, судя по всему, не только с голосом, настолько тихо и устало он звучал. Без обычного: «Ты уже смотрела на себя в зеркало...», Ксюша почти прошептала:

– Здравствуй, Дашенька.

– Странно как... ты даже не спросила, подходила ли я сегодня к зеркалу... не отругала меня... И Дашенькой назвала, вдруг. Что-то случилось?

Даша стащила парик с головы и присела на краешек стула.

– А я знаю, что ты – молодец! Выглядишь хорошо, к бою готова. Готова ведь?

– Готова! – отрапортовала Даша, глядя в зеркало.

– Дашенька, давай ты будешь говорить, а тебя буду слушать. Хорошо?

– Да что с тобой такое? – Даша разволновалась: за всё время общения, она ещё не слышала такую Ксению. – Ты уже второй раз называешь меня Дашенькой. И что с твоим дыханием? Тебе дышать трудно?

– Ничего особенного – ангину за хвост поймала. Или она меня... за горло взяла – последние слова Ксения прохрипела.

Даша залпом выпалила все последние новости, похвасталась платком и париками, но, почувствовав нарастающее, гнетущее молчание, пожелала Ксюше поскорее разделаться с ангиной и распрощалась.

Вечером она несколько раз порывалась позвонить ей, но сдержалась.

Что-то подсказывало: там не до неё. Но что? Проблемы с дочкой? С мужем?

А может быть, действительно, ангина, которая даёт сильный жар и такую слабость – белый свет не мил.

Даша прислушивалась к себе, к тем изменениям, которые происходили в ней, и гордилась этой новой Дашей, отчаянной, решительной, объявившей войну до победы жестокому недугу, чуть было не сломавшему её, но научившему смотреть на жизнь по-новому, жить, не тая обид, любить жизнь, а главное, подарившему встречу с Ксенией, без которой теперь она жизнь свою не представляла.

Вспомнился день знакомства, слёзы, свой идиотский крик: «За что...».

Парадокс, но Даша была готова благодарить свою болезнь – столько всего нового открылось ей.

Уже одно только осознание того, что жила она неправильно, бездумно, копя обиды в душе, стоило этой благодарности.

Она чувствовала каждую клеточку своего организма, и здоровую – и больную, и, разговаривая мысленно с ними, прекрасно понимала их ответы, их просьбы и требования.

Уверенность в выздоровлении шла оттуда,



изнутри, и поддерживали её сами клетки.

Теперь Даше было понятно, с чего всё начинается. Как обычная, ничем не отличающаяся от других, клетка, вдруг сходит с ума... И как приходит осознание. И исцеление.

Но ни дорогостоящие новейшие препараты, ни древние народные методы, ни умелые руки хирургов-онкологов – ничто не смогло бы помочь ей, если бы не очищение духовное.

Она не знала, через что ещё ей предстоит пройти, но твёрдо была уверена в том, что пройдёт и примет любое испытание и любой исход – вплоть до летального – с благодарностью.

Вечером тридцать первого декабря, когда скромный праздничный стол был накрыт, и по маленькой пихте вокруг единственной снежинки: кружевной, связанной и подаренной когда-то давно мамой, бежали разноцветные весёлые огоньки, Даша решила позвонить Ксении. Она набирала номер несколько раз, подолгу слушая протяжные гудки в трубке, однако, к телефону так никто и не подошёл. Мобильный телефон был отключен.

После наступившей новогодней полночи, выпив бокал любимого ледяного «брюта» за здоровье своих верных рыцарей, сидевших сейчас рядышком, Даша расцеловала их и

отправилась в комнату сына, где сразу же уснула.

Она проснулась, когда за окном было совсем светло. Взяла два пакета с подарками и на цыпочках прошла в большую комнату, где крепко спали два рыцаря. Даша осторожно положила подарки под «ёлочку», тихонько взяла книгу с полки – первую попавшуюся – наугад, и ушла на кухню.

С книгой повезло – она держала в руках томик Булгакова.

За чтением незаметно прошло два часа. Но и читая, Даша не переставала думать о Ксении.

Не выходил из головы последний телефонный разговор.

Что же такое там случилось?

Но к телефону по-прежнему никто не подходил.

Убедив себя в том, что Ксюша уехала куда-то с семьёй на новогодние праздники, Даша решила позвонить ей после Рождества.

Только сейчас она с ужасом осознала, что не знает ни домашнего адреса Ксюши, ни её фамилии. Что-то такое мелькало в кабинете врача, в карточке: Ксюша всегда шла после Даши на приём и на процедуры; что-то такое, связанное с Прибалтикой, со светом, мягкое.

Ланис?

Ксения Ла-нис...?

На следующий день после Рождества, Даша собрала всё необходимое, и Артём привёз её в онкологический центр.

Спустя три часа, она уже лежала в палате и смотрела, как ярко-рубиновая жидкость в бутылочке вздрагивает, окрашивая тошнотворно-жёлтые стены палаты в нежные оттенки алого.

Док-со-ру-би-цин...

Красота какая. Зловещая...

Вспомнился недавний сон, будто она бродит по огромному, безлюдному городу. Дома – не дома – какие-то узкие, остроконечные башенки, с тёмно-серыми, а кое-где и чёрными оконечностями.

Тихо в городе, и только эхо чьих-то шагов гуляет по переулкам и улочкам, то догоняя её, то забегая вперёд и прячась в подъездах домов. Прислушавшись, она поняла, что это: где-то капала вода. Монотонно, размеренно, капля за каплей.

Ни людей, ни птиц, ни собак, ни кошек.

И деревьев тоже не было в этом странном городе, и цветов...

Она крикнула: «Кто-нибудь слышит меня?!

Отзовитесь... Где я?»

И странное эхо ответило. В размеренной монотонности возникли сбои, и небо над городом окрасилось в зловещий, ярко-рубиновый цвет: «До-ксо-ру-би-цин...».

В дверь палаты постучали, и Даша с радостью увидела улыбающееся лицо сына.

– Ну как ты, ма? Я тебе тут яблоки принёс и сок. У меня ещё две пары сегодня – это «окно» – вот я и рванул к тебе. Да, и вот ещё что.

Он протянул Даше картинку: узкие, остроконечные башенки, серые дома... Город из её сна!

– Что это, сынок? Откуда...

– Это кристаллы одного лекарства от рака, мам. Здорово, да?! Словно город старинный. Ребята распечатали – в интернете нашли...

– А как называется лекарство?

– Сейчас. У меня записано... Доксорубицин. Ну пока, мам, мне пора.

Он поцеловал Дашу и убежал.

Зазвонил мобильный: на дисплее высветился номер Ксении.

– Ну, наконец-то, – давай, рассказывай, в каких мирах обитаешь, в каких галактиках? Не докричаться до тебя, не дозвониться! Ксюш, я

соскучилась ужасно...

– Даша, здравствуйте, это Женя. Помните меня?

– Конечно, помню. Здравствуй, Женечка. Куда вы запропастились? Я и перед Новым годом звонила и после... Как там мама?

– Мама умерла... За два часа до Нового года.

Внутри что-то оборвалось...

Сердце рвануло с места так, что в висках моментально застучали десятки маленьких, бешеных сердец. Даша почувствовала себя маленькой, брошенной, одинокой и абсолютно беспомощной.

– ...Почему же вы не позвонили... не сказали ничего... почему...

Она даже и не пыталась вытирать слёзы – катятся – ну и пусть себе.

– Так мама решила – боялась, что вы сорвётесь и от курса лечения откажетесь. Она ведь болела давно и прошла через то же, что и вы, только не один раз. Шесть курсов химиотерапии... Шесть... а до этого операция, лучевая терапия...

– Так она же вместе со мной лучевую делала. Говорила, что всё нормально, всё обошлось... Что поживём ещё.

– Это был второй курс. Он же и последний...

Первый был пять лет назад.

– А её роскошные волосы, которым я так завидовала, идиотка.... – Даша изо всех сил старалась унять дрожь в голосе, но ничего поделать не могла.

– Просто очень хорошо подобран парик, вот и всё.

– Жень... ты веришь в то, что мама твоя была ангелом? Если бы ты только знала, что она сделала для меня. Никакие врачи и лекарства не сделали, никакие умные книги, методики... Луизы и..., – Даша не выдержала и зарыдала во весь голос.

– Я знаю. «Я сама себе Луиза!» – Она постоянно повторяла это. Вы не плачьте, не надо. Мама просила не плакать – она сырости не любила, вы же помните. Я отвезу вас на её могилу, когда поправитесь. А вы обязательно поправитесь, – мама так сказала. А она знала – уж не сомневайтесь.

Жидкости в бутылочке почти не осталось, и Даша попросила соседку по палате позвать медсестру.

Алое сияние угасло. И вернулась тошнотворная грязная желтизна на стены, и лицо Дашиной соседки по палате снова стало синюшно-серым.

Медсестра вытащила иглу и улыбнулась:

– Ну что, решили с волосом?

Соседка не сдержалась:

– Ну ладно, я – старуха уже, а она-то совсем молоденькая... за что ж ты, Господи... за что... а ты – мародёрка, и не совестно тебе? Под Б-гом ведь все ходим. Не приведи Господь, а если кто из твоих родичей тут окажется? Ты не думала, что так может случиться? Волосы ей продай!

Леночка пожала плечиками, хмыкнула что-то невнятное и удалилась. Даша с благодарностью улыбнулась женщине, закрыла глаза и представила себя в чёрном парике-каре, в роскошном вечернем платье на немыслимо тонкой, высокой шпильке, выходящей из авто...

Нет – из кареты, а в карету четвёрка рысаков запряжена: тонконогие, гибкие, вороные – не кони – огонь!

И руку подаёт незнакомец в бархатной полумаске, шпага из-под плаща видна, и лепестки роз опадают к её ногам.

В городе с остроконечными башенками слышались крики птиц, где-то залаяла собака. Мурлыканье кошки было таким слышимым и реальным, что Даша протянула руку – погладить мурлыку.

И тут она услышала до слёз знакомый, звонкий голосочек:

«Дарья, ты – растяпа! Ты забыла накрасить губы! Рыцарь подождёт, кошка – тем более! Живо – ну!»

И рыцарь отступил в сторону, галантно поклонившись, лишь глаза блеснули в прорези полумаски – знакомые такие глаза, родные...»

Даша вздрогнула, быстро вытащила из ящика тумбочки маленькое зеркальце и облегчённо вздохнула: на губах нежно-терракотовым перламутром переливалась губная помада.

## [Оглавление](#)



# ПОВЕСТЬ В ПЯТИ ШАГАХ

*Памяти Ники Турбиной*

Маленькая белая бабочка неистово и отчаянно бьётся в оконное стекло.

Она кричит от боли, но никто, кроме меня, не слышит её крика, а я ничем не могу помочь ей.

Рядом с закрытым окном – балкон, и балконная дверь открыта.

Что же ты, глупышка? Там, за балконной дверью начинается другой мир, и всё, что тебе нужно сделать – взлететь.

Бабочка продолжает биться о стекло. Ей невдомёк, что для того чтобы попасть в свой мир, необходимо лишь несколько шагов.

Или...

Или несколько взмахов крылышками.

Шаги – не для неё, она – бабочка.

Шаги – для меня.

## ***Шаг первый***

– Мама, откуда я?

Встретив удивлённый взгляд матери, я повторяю:

– Откуда я, от какого мира?

Вчера вечером я случайно услышала, как беседуя с кем-то по телефону, мать сказала обо мне: «не от мира сего».

Я и раньше подозревала, что со мной что-то не так, а теперь и подавно. Но этому «не так», оказывается, есть объяснение: я не отсюда.

А откуда?

– Девочка моя, – улыбается мать, – так говорят, понимаешь? Когда человек отличается чем-то от обычных людей, не так ведёт себя, не так чувствует, не так думает, о нём говорят, что он – не от мира сего.

– А чем я отличаюсь от обычных людей? Внешне я такая же, как все...

Я беру с тумбочки зеркало и заглядываю в него, но, как всегда, ничего необычного там не вижу: черноволосая, темноглазая девчонка смотрит на меня оттуда. Ничего себе девчонка, можно даже сказать – хорошенькая; разве что бледновата немного, а в остальном – самая

обычная, каких в нашей школе полным-полно.

– В том-то и дело, что различие это внутреннее, а не внешнее.

Мать вздыхает и собирается ещё что-то сказать, но в этот момент звонит телефон. Она выходит из моей комнаты, плотно прикрыв за собой дверь.

Я использую это стечение обстоятельств и на цыпочках пробираюсь в ванную. Там я вытаскиваю из шкафчика лезвие и, крепко зажмурившись, режу себе руку.

Когда я открываю глаза, вижу – ничего особенного – кровь у меня такого цвета, как и у мамы – тёмно-красного.

Несколько дней назад мама чистила картошку и порезалась – я обратила внимание на её кровь – точно такая же.

– Лика, ты где?

От крика матери я вздрагиваю и пугаюсь: белоснежная раковина испачкана кровью. Я открываю кран с водой, роняю лезвие и...

Последнее, что я помню – головокружение. И – тошнота. Я прихожу в себя в своей комнате, на диване, с туго перебинтованной рукой. На тумбочке обломанные пустые ампулы, шприц, клочья окровавленной ваты.

– Что же ты, девочка моя... Зачем же ты это, а? – мать гладит мою руку и плачет, и слёзы капают прямо на бинт, отчего он покрывается отвратительными, грязно-бурыми разводами, и мне кажется, что мать плачет кровавыми слезами.

– Я просто хотела посмотреть, что у меня не так внутри – и всё, – поясняю я, но мать продолжает плакать.

– Маленькая моя, бедная моя девочка. Ну разве так можно? Это я во всём виновата, нельзя было оставлять тебя одну – доктор предупреждал.

Но я верю – ты поправишься, главное – не волнуйся.

А я – волнуюсь. Еще как волнуюсь: почему это доктор не хочет, чтобы я оставалась одна? Почему это я поправлюсь? Значит – я больна?

Хорошо знакомая, горячая волна поднимается изнутри, и в солнечном сплетении становится невыносимо горячо и... больно. Сейчас я начну задыхаться... Но строчки приходят раньше, чем приступ удушья.

«Я надеюсь на тебя,

Запиши все мои строчки,

А не то наступит точно ночь без сна...»

Мать хватает блокнот и карандаш, и лихорадочно записывает. Она делает это постоянно, с того момента, когда я в первый раз услышала строчки и стала выкрикивать их. Тогда я ещё не умела писать, да и теперь я пишу не очень хорошо и правильно: из-за болезни и частых поездок, я редко посещаю школу.

Но я умею писать по-своему, только мне одной понятными символами, которые кроме меня прочесть никто не может.

Я тоже читаю их с трудом, ведь во время приступов удушья писать неудобно, и символы получаются кривыми, неровными.

«...только, слышишь,

Не бросай меня одну

Превратятся все стихи мои в беду...»

Я прохрипела последнее слово и без сил откинулась на подушку. Самое удивительное то, что на этот раз приступа удушья не было. Мать отложила блокнот в сторону и, убедившись, что со мной всё в порядке, вышла, оставив дверь

приоткрытой. До меня доносится её шёпот: «Господи, за что мне всё это... за что...».

Всё ясно. В коридоре находится единственная в нашей квартире икона, и каждый раз, когда со мной случается такое, мать отправляется к иконе и спрашивает: «за что». Делать это она начала недавно.

Когда со мной все носились и всюду приглашали, и домой звонили, и по телевизору показывали, она почему-то не спрашивала: «за что». А могла бы и спросить, откуда это ей такое счастье привалило, ведь как меня только не называли тогда: инопланетянка, «вторая Ахматова»; даже приз вручили такой же, как Анне Ахматовой, только обман это всё – золотой лев оказался пластмассовым... я сразу после вручения лапы ему обломала, золотая краска снаружи – пластмасса – внутри.

Не спрашивала мать «за что» и когда сборник мой вышел в Москве, и его сразу раскупили, и, несмотря на огромный тираж – всем не хватило.

Да и спросить-то тогда было не у кого – иконы этой в квартире не было, и вообще – никаких икон не было.

Тогда я ещё не понимала, что отличаюсь от остальных детей, но мать-то наверняка это знала.

Так чем, всё-таки, я отличаюсь от них... от людей? И где он, мой мир.

...Я обвела комнату взглядом. Всё в ней привычно и знакомо. Обычная комната в самой обычной квартире. Даже если я сейчас встану и подойду к окну, ничего необычного и там не увижу.

Набережная. Люди. Жирные голуби и наглые, крикливые чайки... а дальше, за всем этим – море...

Вот море, пожалуй, будет другим. Всякий раз, когда я вижу его, оно не такое как вчера и даже не такое, как час назад.

Может быть, море – это и есть мой мир? Может быть, я по ошибке попала сюда, на землю?

Утешив себя тем, что это легко проверить, я успокоенная, засыпаю.

...Бабочка всё ближе и ближе к распахнутой двери. Вот сейчас... Вот-вот...

Остался один взмах – и она дома, в своём мире.

Взмах! ...и она ударяется о грязное стекло.

Господи, как громко она кричит... неужели никто, кроме меня, не слышит?

Да помогите же ей!

Комната пуста. В сумерках едва-едва

различимы стол и стулья, небольшой диван у  
стены и лежащая на нём девочка с туго  
перебинтованной рукой.



## **Шаг второй**

Сегодня мне исполняется двенадцать. Целых двенадцать лет!

У нас гости: моя бабушка и мамина подруга с дочкой, которую зовут Галочка.

Галочка старше меня на три года – ей пятнадцать, но она понятия не имеет о самых простых вещах. Тётя Света – мамина подруга – называет Галочку ангелочком, и ещё – аленький мой.

Интересно, что она имеет в виду? То, что её дочка – цветочек? Но она похожа больше на кочан капусты. Или на тыкву...

Смотрю на толстую сопливую Галочку, недоумеваю: ангелочек? Теперь вижу, что она похожа на хорошо откормленного поросёнка. А ещё больше – на жирного хомяка.

А впрочем... я же не от мира сего и вижу всё по-другому. В моём мире ангелы выглядят совершенно иначе, они очень красивы, и от них исходит сияние, а от Галочки исходит только невыносимая вонь – она постоянно потеет.

После того, как с тортом покончено, тётя Света выпроваживает нас на улицу – гулять. «Ангелочек» доедает третий кусок торта и мычит

что-то невразумительное.

– Конечно. Конечно, аленький мой, я дам тебе денежку. Вдруг проголодаешься. Ах, в этом возрасте дети так много едят, и, что самое замечательное – без ущерба для фигуры.

Я снова удивлена: как можно причинить ущерб тому, чего нет...

– Только по Набережной, – строго говорит мама, – к морю не спускаться.

– Элиночка, дорогая, не волнуйся ты так. Моя Галочка очень разумная девочка, она и за Ликой присмотрит.

Пока мы идём вдоль набережной, я рассказываю Галочке о попытках найти свой мир, заранее зная, что всё это бесполезно. Но мне так хочется с кем-то поделиться, и... может быть, «ангелочек» согласится подойти к воде.

...Увы, кроме насмешки в заплывших жиром глазках, я ничего не вижу.

– Ты что, совсем больная?

– Я не больная. Я же тебе только что объяснила – я не от мира сего, и потому хочу найти свой мир.

– Если о ком-то говорят, что он «не от мира сего», значит этот «кто-то» – ненормальный, псих и придурок, – изрекает Галочка, доедая

вторую порцию мороженого.

Тем временем, я замечаю, что к нам приближаются наши мамы, и с сожалением сознаю, что сегодня отыскать свой мир мне не удастся.

– Как всё-таки хорошо, что вы живёте у моря, – доносится голос тёти Светы, – для Ликочки это просто спасение, ведь больным деткам так необходим свежий морской воздух.

Я чувствую, что она лжёт. Думает она совсем не то, что произносит вслух.

Волна жара ударяет меня в солнечное сплетение...

– Ты взяла карандаш и блокнот? – успеваю я спросить маму.

Она испуганно кивает в ответ, а тётя Света разглядывает меня, словно забавного зверька в зоопарке и пищит, улыбаясь:

– Что, моя птичка, что ты хочешь от мамочки?

Но я уже не слышу её, я выкрикиваю строчки, а мама едва успевает их записывать...

«...я как сломанная кукла.

В грудь забыли вставить сердце...»

– Боже мой! – пищит тётя Света, оттаскивая от меня «ангелочка» и прикрывая ей глаза рукой, – какая прелесть! Какой неординарный, одарённый ребёнок!

Я чувствую, что она снова лжёт, и вторая волна жара накрывает меня. Больше всего на свете ей сейчас хочется раздавить меня, как букашку, как насекомое, чтобы я не пугала её её толстомордую доченьку, и не мешала бы им отдыхать и дышать свежим морским воздухом, который так полезен для детей... и их родителей.

От этого мне становится ещё жарче. Теперь я совсем задыхаюсь, но прежде чем потерять сознание и упасть на песок, успеваю выкрикнуть:

«...как больно, помогите

В глазах – беда.

По волчьим тропам бродит

моя звезда...»

Поздно вечером, притихшая и пропахшая лекарствами, я лежу в своей комнате. Дверь приоткрыта, и сюда доносятся приглушённые голоса и храп. Обожравшаяся тортом и мороженым Галочка храпит в гостиной, а тётя

Света и мама тихонько разговаривают на кухне. Они уверены, что и я сплю, но спать мне совершенно не хочется, и я невольно прислушиваюсь к их разговору.

– Соглашайся, не раздумывая, Элиночка, – шипит тётя Света, – одной так тяжело, да ещё с таким больным ребёнком. А Вадик – он хороший, а главное – надёжный. Родишь ему ребёночка, и будет у вас полноценная семья – не хуже, чем у людей.

...Вот оно что. Вадик – это двоюродный брат тёти Светы. Он у нас жил прошлым летом, когда приезжал отдохнуть на море. Я невзлюбила его с самого первого дня. Он тоже говорил одно, а думал совершенно другое. Кроме того, он был противный: жирный, рыжий, постоянно потный; и даже, когда загорел, стал не бронзовым, а красным. Я про себя называла его Гадик, но маме он почему-то понравился...

– Боюсь, Лика не согласится, – это мама говорит так тихо, что я скорее угадываю слова, чем их различаю.

– Да что ты заладила! Только и слышно: Лика, Лика... ты что же, разрешения у неё будешь спрашивать? Ты меня, прости, конечно, Элиночка, но после того, что я сегодня видела, и после того, что мне Галочка рассказала... Можешь на меня обижаться, но Лику надо

поместить в специализированную клинику. Проще говоря – в психушку.

Я слышу, как мама плачет.

– Она не сумасшедшая, Света. Она – не такая как мы. Она сама очень страдает от этого и постоянно ищет свой мир.

– Да. Разумеется. Конечно... Она не сумасшедшая. Это мы тут все с ней скоро сойдём с ума, и ты – в первую очередь!

Полгода спустя после этого разговора на кухне, в нашей квартире поселяется Гадик. Он занимает мою комнату, а меня переселяют в мамину. Она поменьше, и окна у неё выходят во двор.

– Тебе здесь будет теплее, девочка моя, – говорит мама, пряча взгляд.

– Отсюда не видно море.

– Ты сможешь приходить в НАШУ комнату и смотреть на море сколько угодно, а кроме того, мы теперь часто будем гулять у моря все вместе.

Я понимаю, что бабочке теперь не улететь – балконная дверь есть только в большой комнате, а там теперь будет жить Гадик.

Ещё через полгода, разглядывая мамин округлившийся живот, я спрашиваю:

– Когда он родится, Гадик заберёт его и уедет?

– Что ты, Лика? У тебя совсем скоро появится братик, а может быть – сестричка. Неужели ты не рада этому? И, пожалуйста, не называй Вадика так, он столько всего для нас хорошего сделал.

– Родится не братик и не сестричка – родится ещё один жирный и потный ублюдок, похожий на Гадика. Скажи, тебе со мной было очень плохо?

– Нет, девочка моя, – мама плачет, – мне просто было очень тяжело: твои приступы... столько денег уходило на лекарства. Когда ты станешь взрослой, ты меня поймёшь. Женщине просто необходимо, чтобы рядом был надёжный мужчина.

Мама обнимает меня и целует, испуганно оглядываясь, будто крадёт что-то.

– Гадика боишься?

– Ну что ты, Лика? Почему я должна его бояться?

Теперь и моя мама всё чаще и чаще говорит не то, что думает. Я знаю, что она боится этого слизняка. Она никогда бы не обняла меня, будь он сейчас дома. А скоро у неё появится ещё один слизняк, только поменьше.

Когда маленький, сморщенный, постоянно орущий Гадёныш утверждает в нашей квартире, мама словно забывает о моём

существовании. Нет-нет, она по-прежнему заботится обо мне: я не голодна, у меня есть всё необходимое из одежды, обуви, есть даже игрушки. У меня самые лучшие (Гадик так говорит) врачи и самые дорогие лекарства. Они целуют меня два раза в сутки: утром и вечером – перед сном.

А вслед я слышу шипение Гадика: шизанутая, дебилка, урод, псих...

И шипение это становится всё громче и громче.

Из Москвы – тишина: ни ответа – ни привета. Может, там обо мне давно забыли?

В нашем городском издательстве, куда я отнесла блокнот со своими новыми строчками, женщина, похожая на мумию Тутанхамона, пожала плечами: «Жди. Мало ли кто пишет стихи... Ну и что, что ты – Лика Арбина?!»

Я не стала ей ничего объяснять. Зачем? Наверное, всем я была нужна, пока была маленькой... Теперь же я выросла. Мне тринадцать, а в этом возрасте стихи пишет каждый второй.

В этот день я не пошла домой сразу, а решила прогуляться по Набережной. Контроль надо мной несколько ослаб, да и приступы давно уже не повторялись.

Дома наверняка сейчас орёт во всю глотку



Гадёныш, и мама сюсюкает с ним в МОЕЙ комнате, где бьётся в оконное стекло маленькая белая бабочка, бьётся и кричит от боли.

Но её по-прежнему никто не слышит.

А вдруг именно сегодня у меня получится...

Ощувив знакомую горячую волну, я выхватила у малыша, рисующего на асфальте, мелок...

«...как трудно стало мне писать...»

День был таким солнечным, море таким ласковым, тихим и чистым, что я всё-таки решилась...

«...хозяин мой бывает добр  
и дверцу на ночь открывает,  
но сторожем он оставляет  
тьму за невымытым окном...»

Странная маленькая глупая бабочка.

Ну что тебе стоило отлететь немного назад?

Тогда бы ты увидела, что оконное стекло не бесконечно, что совсем рядом, всего в нескольких шагах от тебя распахнута настежь дверь.

О, чудо – бабочка, кажется, слышит мой голос.

Она летит назад, в комнату, но натывается на огромный острый угол шкафа.

Падает...

Снова этот крик...

Господи, как больно!

## ***Шаг третий***

Потолок, стены, дверь – всё белое. На окне – белые занавески, за окном – белая решётка...

Интересно, где это я.

Девушка входит в белую комнату, тоненькая, – и тоже вся в белом. Она улыбается и делает мне укол. Улыбается одними глазами, губы её закрыты марлевой повязкой, а глаза теплые-тёплые – так бывает только от настоящей улыбки.

Я начинаю понимать, где нахожусь.

– Привет. Я – Ната. Тебе не очень больно?

– Очень.

– Ой, потерпи немного, ладно? А мне говорили, что я лучше всех уколы делаю.

Девушка расстроена – я вижу это по глазам.

– Мне не от укола больно.

– А, – вот ты о чём. Так это сейчас пройдёт.

Мне почему-то очень хочется ей поверить, я так и делаю, и боль действительно уходит. Я засыпаю.

Просыпаюсь в совершенно другом настроении: без боли. Боль исчезла, белая клетка-комната погружена в приятный полумрак – за окном

сумерки лиловые, густые, бархатные.

Откуда-то всплывает: клетка-комната называется па-ла-та... у-ма-па-ла-та...

В дверь заглядывает Ната:

– Проснулась? А к тебе гости – встречай.

– Ликуша... – мама улыбается, но в глаза мне старается не смотреть.

– Забери меня отсюда, – прошу я, но она качает головой.

– Почему. Почему нет?

– Тебе лучше пока оставаться здесь. После того, что случилось...

– А что случилось? Я кого-нибудь убила? Гадика? Гадёныша?

– Ты чуть не утонула! Ликочка, детка, ты только не волнуйся, всё уже позади. Здесь тебе будет хорошо, ты скоро поправишься, а весной мы поедem в Швейцарию – на консультацию к Биллу Айленду. Это очень известный специалист.

О тебе не забыли, девочка моя, о тебе помнят. Вот, деньги на дорогу и на лечение прислали. Но пока тебе необходимо остаться здесь. Не переживай, мы к тебе будем каждый день приходить...

– Кто это «мы»?

– Я, конечно... Ну и Вадик с Алёшенькой. Они тебя тоже очень любят.

– Ты можешь приходить. А Гадика я видеть не хочу, как и Гадёшеньку. Принеси мне мой блокнот и карандаш.

– За что ты их так ненавидишь? Это же близкие тебе люди – твоя семья.

– У меня нет семьи. И быть не может – я не от мира сего, понятно? У меня был один, единственный родной человек, но он меня предал. Этот человек – ты. Предала... предала... Променяла на гадёныша Гадёшеньку!

Я задыхаюсь. На крик прибегает Ната, и мама, вся в слезах, уходит, оставляя на окне блокнот.

Увижу я её теперь не скоро, только в день отъезда. Почти три года я проведу в белой комнате-клетке с мягким названием па-ла-та.

Всё это время я ищу свой мир. Ко мне почти не приходят строчки, а если и приходили – их записывала Ната. Держать карандаш в палате запретили.

Гадика с Гадёшенькой на вокзале не было: лучшего подарка ко дню рождения они придумать не могли.

Да, именно в тот день, когда мы с мамой сели в поезд, идущий в московском направлении, чтобы потом из Москвы лететь дальше – в Берн, мне

исполнилось шестнадцать.

Я по-прежнему называю эту женщину «мама», по привычке, наверное, я просто не знаю, как мне её называть...

Я по-прежнему ищу и не нахожу свой мир...

Может быть, номер в маленькой гостинице окажется уютнее белой комнаты-клетки?

Гостиница находится в парке, где полным-полно фонтанов, миниатюрных водопадов, беседок и скамеек. Дорожки здесь посыпаны жемчужно-белым песком, трава на газонах свежая, сочно-зелёная.

А ещё здесь тихо, так удивительно тихо, что слышно журчание воды и пение птиц. Такое впечатление, что этот кусочек чужого мира начисто лишён острых углов – здесь даже скамейки овальные.

В школе я ненавидела геометрию, но там всё гораздо проще, чем в реальной жизни. В геометрии достаточно к острому углу добавить определённое количество градусов, – и угол превратится в тупой – не путать с тупиком!

А если добавить ещё немного градусов – угол вытянется в прямую линию, то есть станет развёрнутым, проще говоря, прекратит своё существование.

Оказывается и в жизни можно «добавить

градусов», – этому меня научила Ната, и теперь я частенько прибегаю к уничтожению острых углов при помощи Его величества Градуса. Не всё так гладко, как на бумаге: вместо прямой у меня частенько получаются зигзаги и ломаные линии, гораздо реже – параболы. Но острые углы исчезают – это факт!

– Лика, ты пьёшь? – мама плачет. – Зачем ты губишь себя, Лика?

По моим подсчётам она давно уже должна была выплакать все слёзы... Впрочем, у неё было достаточно времени пополнить запасы солёной водички, при помощи которой люди в этом мире выражают свои чувства и эмоции.

– Ты хотела сказать: зачем ты губишь меня. Ответь мне на встречный вопрос, и я обещаю тебе подумать над твоим. Зачем ты меня предала?

– Я не предавала тебя, Лика. Когда же ты, наконец, поймёшь это...

– Дальше можешь не продолжать – я знаю. Тебе было трудно одной с больным, ненормальным ребёнком.

– Господи, Ликуша, ты ведь уже взрослая девочка, а говоришь такие глупости.

– Я не только говорю глупости, я ещё делаю их – я же ненормальная, мне простительно. Скажи,

а как тратились деньги, которые у тебя не переводились, благодаря ненормальной дочери? Легко?

Как тебе ездило за границу, когда твоя ненормальная дочь получала премии и призы? Каково было ощущать себя матерью феномена, иноплатнетьянки... как они меня тогда ещё называли...

– О каких деньгах ты говоришь? Ты – неблагодарное, эгоистичное создание! Тебе постоянно были нужны консультации врачей, лекарства... Да разве ты можешь понять, что я пережила, пока вырастила тебя?

Она ещё что-то кричит, но я уже не слышу её. Меня в этот момент больше интересует содержимое маленького бара в нашем гостиничном номере. Там десятка полтора разных бутылочек с яркими, очень красивыми наклейками, которые мне ни о чём не говорят – из всех спиртных напитков я пробовала только самую обычную русскую водку. Я останавливаю свой выбор на пузатой бутылочке с золотистой наклейкой, в которой плещется янтарная маслянистая жидкость.

– Лика, не пей. У нас консультация на три назначена, а сейчас почти полдень.

– Спокойно, – отмахиваюсь я.



И действительно. К трём часам я не успеваю набраться и выгляжу вполне прилично.

Светило мировой психиатрии Билл Айленд удивлён, поражён и растерян. Он, как и положено профессору – в очках, с аккуратной седой бородкой и чистенькой розовой лысиной. Удивлён он тем, что я вполне сносно отвечаю на его вопросы на английском – Ната меня научила не только выравнивать острые углы при помощи градуса...

Поражён тем, что его пациентка и есть та самая Лика Арбина – маленькая русская, с которой носилась вся страна Советов, по крайней мере – лучшие представители её интеллигенции и культуры.

Это было ужасно давно, когда все ещё любили меня.

А потом случилось непоправимое – девочка выросла и оказалась никому не нужной...

Билл убеждён: таких болезней, как у меня, почти не существует. Я, всё-таки, феномен. Пытаюсь ему объяснить, что не больна, просто – неотсюда, не от мира сего.

Увы... моих знаний английского для этого недостаточно, как и его знаний русского.

Растерян же Билл оттого, что из-под белой короткой юбки в широкую складку выглядывают

мои коленки, розовые от коньяка. Лысина Билла тоже розовеет; он постоянно снимает очки и протирает их, а когда надевает вновь, отводит взгляд – совокупность воспитания, звания и должности не позволяет ему так откровенно пялиться на смазливую русскую пациентку.

По его мнению – я серьёзно больна, и мне необходим длительный курс лечения в его клинике. Кроме того, я просто находка для науки, я – тема его будущей научной работы, и заниматься моим лечением он будет сам. Лично.

Улыбка не покидает моё лицо, и мама удивляется:

– Чему ты так радуешься? Ты хоть представляешь себе, сколько это стоит!

– Но он же намекнул тебе, что я тема для научной работы. Работы, которую ждёт нобелевка – не меньше. Следовательно... А вот я не понимаю, почему ты не рада. Ты сможешь вернуться в родной гадюшник; там тебя уже наверняка заждались.

Нет, ну какие же, всё-таки, молодцы эти швейцарцы. Мало того, что у них потрясающе вкусный сыр, так они ещё и бар в гостиничном номере пополняют аккуратно.

– Ликочка, не пей так много. Это же виски.

– Неужели...?

Золотисто-янтарная жидкость растекается блаженством по моим венам, и через пару минут острые углы вытягиваются в прямые, послушные линии... Откуда-то из небытия приходят строчки, но без боли, без горячей волны. Просто приходят – и всё. Я совершенно спокойно записываю их в блокнот...

«...жизнь моя – черновик,  
на котором все буквы созвездия,  
сочтены наперёд все ненастные дни  
жизнь моя – черновик,  
все удачи мои – невезения  
остаются на нём  
как надорванный выстрелом крик...»

...лечение в клинике помогает. Я не знаю, чем они меня колют и кормят, но с некоторых пор меня всё устраивает в окружающем мире. Почти всё...

Билл посвящает мне всё свободное время, как и несвободное, впрочем. Свои наблюдения он записывает в толстенную тетрадь – он не доверяет компьютерам. Он не устаёт повторять, что я – уникальна, и я почти верю в это... и почти верю ему.

Четыре месяца спустя мне наконец-то удаётся ему объяснить, что я не больна, просто я не от мира сего. Он соглашается со мной и при этом делает новые записи в своей тетради. А ещё через месяц я начинаю отсчёт дней. Их осталось совсем мало – всего тридцать. Всё чаще и чаще я задаю себе вопрос: что дальше? Возвращаться в гадюшник? Неожиданно возникший, но вполне ожидаемый острый угол чуть не стал последним углом в моей жизни.

Я напиваюсь так, что меня едва вытаскивают с того света. Из моего мира...?

На следующее утро, увидев мрачный взгляд Билла, я понимаю, что сегодня что-то должно проясниться. Или он пошлёт меня ко всем чертям, или...

Денёк оказался памятным: мы вновь приятно друг друга удивили. Я его тем, что в свои неполные семнадцать оказалась девственницей, он меня тем, что в свои неполные семьдесят оказался способен на нечто большее, чем краснеть при виде моих коленей. Потом он долго рассказывал, что привык, привязался ко мне, что не представляет себе жизнь без меня и что, если я не против, конечно, мы могли бы теперь жить вместе.

– Жить вместе где? – чёрт возьми, меня не устраивала роль игрушки, пусть даже и дорогой

игрушки, профессорской.

– У меня дома. Ты не понимаешь меня, Ли, я делаю тебе предложение.

Я согласилась, не раздумывая. Мезальянс? Ну и что. По крайней мере, ложиться с ним в постель мне не было противно. Самое главное, что я ощущала себя нужной кому-то.

Мы отметили это событие в маленьком полупустом ресторанчике на берегу озера. Он подарил мне тоненькое, почти невесомое бриллиантовое кольцо... и кольцо.

Начиналась какая-то новая жизнь, и она была очень похожа на сказку.

Билл отменил все ранее назначенные лекарства, заявив, что я абсолютно здорова, и я ему верила: мне и правда было так легко и так хорошо в тот день, и все последующие за ним.

Три года спустя, в утро моего двадцатилетия, Билл дрожащими руками застегнул на моей шее очередное кольцо. Надо отдать ему должное, он всегда дарил мне только бриллианты. И за всё это время ни одного недоразумения, ни одного скандала, ни одного приступа... ни одной строчки.

Похоже, что он и впрямь меня вылечил, ведь я окончательно прижилась в этом мире. Может, я действительно была больна?

Незаметно для себя я произнесла это вслух и сама же себе ответила:

– Конечно... вылечил.

Впервые за три года белоснежная порцелановая улыбка Билла показалась мне хищным оскалом.

Конечно... вылечил...

И острых углов больше нет. И тупых – тоже. И прямых линий нет, есть только состояние нереальности происходящего, состояние подвешенности. Ответ был настолько прост, что впоследствии, вспоминая эту историю, я не раз удивлялась собственной глупости: как же я сразу не догадалась-то, а...

Вечером, за ужином в честь дня моего рождения, улучив момент, когда Билл отвернулся, я поменяла местами бокалы с вином. Благородное мерло даже не всколыхнулось, – так ловко я это сделала.

Эффект от перестановки слагаемых был неожиданным. Сумма не меняется – это верно, но меняется статус.

Из жены профессора Билла Айленда я практически сразу же стала вдовой профессора Билла Айленда, старого маразматика и извращенца, пичкавшего меня в течение трёх лет смесью психотропных препаратов, рецепт

которой был разработан им же самим.

Леденящее кровь, описание воздействия препаратов на пациентку (ах ты, старая сволочь Билл – я тебе была пациенткой?) я нашла у Билла в кабинете, в той самой толстенной тетради.

Последняя запись была датирована сегодняшним утром: он решился на увеличение дозы препарата и сам же называл её критической, максимальной. Далее он собирался описать состояние подопытной и произвести замеры давления, частоты сердечных сокращений... сделать анализы крови. Мочи...

Ну всё, как обычно... всё, как всегда...

А я-то думала, что ты меня любишь, Билл.

Извини, что сорвала научный эксперимент. Использовал ты меня, видимо, вдоль и поперёк: поил гремучей смесью, дожидался, пока я усну; а и не удивительно, что я спала как младенец: психотропные препараты в сочетании с алкоголем... Ай, как нехорошо получилось, профессор.

И так – каждый день в течение трёх лет.

Нобелевку хотел отхватить...

Сволочь ты, всё-таки, Билл, но убивать тебя не входило в мои планы, это всего лишь нелепая случайность.

Прости...



## **Шаг четвёртый**

Состояние моего покойного супруга оказалось невероятным, до неприличия огромным. Я никогда не интересовалась, как далеко простираются его владения и сколько ноликов насчитывают его банковские счета – зачем? Скрыгой он не был, и денег у меня было предостаточно.

Теперь же на раздел этого состояния слетелись профессорские детки – два ублюдка-сына со своими ублюдками-адвокатами. Пожалуй, не ошибусь, если скажу, что они были немного разочарованы, узнав, что мне ничего не нужно.

На счету, который Бил открыл на моё имя, лежала кругленькая сумма. Бриллиантовые удавочки – его подарки, которых накопилось немало, тоже оставались со мной.

С документами всё было в порядке.

Одним словом – у меня всё было.

Не было проблем с полицией: дневники Билла – четыре толстых исписанных им тетради, выставляли меня скорее жертвой, чем убийцей.

А ещё у меня не было желания оставаться в этой стерильно-чистой стране.

Ко мне вернулись и строчки – я едва успевала

их записывать, и приступы удушья.

С острыми углами, а они тоже не замедлили со своим появлением, я справлялась пока легко – мне вполне хватало денег на приличное вино.

Хватило денег и на билет до Москвы и на то, чтобы снять крохотную квартирку в Сокольниках.

Возвращаться к маме я не думала, хотя мне очень хотелось домой. Вот только, где мой дом и мой мир, я по-прежнему не знала... верилось, что не там, где поселились Гадик со своим Гадёнышем.

Как ни странно, в Москве обо мне ещё помнили, правда, всех почему-то удивлял тот факт, что я выросла. Вероятно, они считали, что я так и останусь восьмилетней девочкой, пишущей странные, совершенно недетские стихи.

В то, что мне исполнилось двадцать, просто отказывались верить.

«Неужели? Та самая Арбина? Не может быть, она же ещё ребёнок...».

Ещё как может быть, дорогие мои, ещё как.

Да, я и есть та самая Лика Арбина, только я выросла! Ах, вам не интересно? Стихи, говорите вы, пишут многие. А вот дети, пишущие взрослые стихи – действительно редкость. Что

же, выходит, что я здесь никому не нужна со своими стихами?

Оказалось – нужна. Журналистам и репортёрам. Правда, теперь весь их интерес сводился не к тому, чем я дышу и что я пишу. Им не терпелось узнать, с кем я сплю и с кем просыпаюсь, и сколько раз на дню посылаю соседей «по матушке».

И мама обо мне вспомнила. Узнала из газет, что её ненормальная доченька вернулась – и вспомнила. И в Москву приехала, да не одна, Гадика с Гадёшенькой с собой притащила. Но, слава Б-гу, интерес ко мне у этой милой семейки быстро угас, стоило только им узнать, что богатой вдовой я не стала и, что квартира эта – съёмная, а значит, мне не принадлежит.

– Как же так, девочка моя, – всхлипывала мама, – он же был так богат, твой покойный супруг... почему же ты не заявила о своих правах на наследство, на свою долю? На что же ты будешь жить? Я помочь тебе не могу – у нас ребёнок, ты же знаешь. А ты и не учишься (к тому времени я уже почти бросила ГИТИС) и не работаешь.

И этот твой со-жи-тель, как его, Паша... Ведь он тоже нигде не работает. На что же вы существуете? Ты постоянно пьёшь – мне соседи рассказали. Какие-то люди подозрительные тут

толпятся постоянно...

– Тебе-то какое дело? – совершенно искренне удивилась я. – У тебя Гадёшенька есть, вот и расти из него нормального человека.

– Лирика... Мне иногда не верится, что ты – моя дочь.

Мать осторожно, чтобы не испачкать светло-серую юбку в широкую складку, присаживается на краешек ободранного и залитого вином кресла.

– Не верится – значит, не верь! Значит, так оно и есть... Я не должна была появляться на свет, по крайней мере – здесь, в вашем ублюдочном мире. Тебе не приходило в голову сделать аборт, а? Сейчас бы никто не страдал, никто никого не стеснялся...

Я по-прежнему называла её матерью, но никаких чувств к ней давно не испытывала, как впрочем, и ко всем людям.

Только одно чувство было мне знакомо – горячая боль в солнечном сплетении... Порой ещё возникало что-то, похожее на обиду.

За что? Почему... Зачем я пришла и живу в этом странном, абсолютно чуждом мне мире? Здесь говорят одно, думают – по-другому, а делают – третье. Здесь полным-полно острых углов, и я постоянно натыкаюсь на них и кричу от боли.

Здесь больно быть и жить.

Кто-то слышит мой крик?

Вероятно – да, но всем на меня плевать. И на всех плевать...

Из моего окна – двор.

С некоторых пор острые углы не исчезают при добавлении градусов, наоборот – они растут, становятся огромными и заглатывают меня. Остаётся кусочек ярко-синего неба... уж там-то точно нет острых углов.

Может быть, мой мир там?...

Это легко проверить. Мне всего лишь нужно сделать шаг – один...

Пустой стакан падает с подоконника и, разбиваясь, разлетается на множество мелких осколков. Я иду по ним босиком, не чувствуя боли; для меня сейчас главное – дойти до окна и взобраться на подоконник, а оттуда останется сделать только один шаг...

Чтобы взлететь.

Делаю шаг и... лечу.

Лечу туда, где нет острых углов, боли, приступов удушья, гадилов, гадёшенек и сопливых жирных ангелочков.

Лечу домой.

## **Шаг пятый**

«Дождь, ночь, разбитое окно  
И осколки стекла в воздухе  
Как листья, не подхваченные ветром  
Вдруг – звон...  
Точно так же  
Обрывается жизнь человека...»

Маленькая белая бабочка вылетела через  
распахнутую балконную дверь – прямо в майское  
утро.

Вылетела... и исчезла.

Её исчезновение не осталось незамеченным.

Кто-то перекрестился: "Упокой, Господи  
грешную душу..."

Кто-то облегчённо вздохнул.

Кто-то заплакал...

Никогда не возвращайся сюда, глупышка.

Счастливого пути...



---

(В повести использованы отрывки из стихотворений Ники Турбиной. Все совпадения имён, фамилий и событий – случайны)

## [Оглавление](#)



Людмила Шарга.

Поэт, прозаик, член Южнорусского Союза Писателей, Одесской организации Конгресса литераторов Украины, Одесской организации Межрегионального союза писателей Украины.

Лауреат международных литературных конкурсов и литературных премий.

Родилась в России, живёт и работает в Одессе.

Публиковалась в Одесской антологии поэзии



«Кайнозойские Сумерки» (2008), в альманахах «Меценат и Мир. Одесские Страницы» (2008, Москва), «ЛитЭра» (Москва), «Свой вариант» (Луганск), «Провинция» (Запорожье), «ОМК» (Одесса), в журналах «Дон» (Ростов-на-Дону), «Ренессанс» (Киев), «Арт-Шум» (Днепропетровск), «Работница» (Москва), «Южное Сияние» (Одесса), в газетах «Литературная газета» (Москва), «Интеллигент» (СПб), «Литература и жизнь» (Киев), «Отражение» (Донецк), в интернет-журналах «Авророполис», «Ликбез», «Великороссъ», «Гостиная» и других изданиях.

Автор сборников поэзии и прозы «Адамово ребро» (2006), «На проталинах памяти» (2008), «Билет в осенний день» (2010).

Редактор сайта Творческой Гостиной Diligans.

## [Оглавление](#)

# Библиография

Людмила Шарга «Адамово Ребро»

Сборник поэзии и прозы.

Одесса. «Полис», 2006 г. 112 стр.

ISBN 5-7707-7914-6

Предисловие Павла Мацкевича «Читая произведение...»

Людмила Шарга «На проталинах памяти»

Стихотворения, рассказы.

Одесса. Издательство «Optimum», 2008 г., 186 стр.

ISBN 978-966-344-243-3

Тонкие, лирические стихотворения, умные, глубокие, без навязчивой морали рассказы – содержание сборника, который станет открытием для истинных почитателей литературы.

Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Вступительное слово Инны Богачинской «Пространство, заполняемое четверостишьями, очень требовательно...»

Людмила Шарга «Билет в осенний день»

Стихотворения, рассказы.

Одесса. Издательство «Optimum», 2010 г., 301 стр.

ISBN 978-966-344-404-8

Вступительное слово автора «Иди своим путём!»

Людмила Шарга «Рукой подать»

Стихотворения разных лет.

Одесса – Санкт Петербург, Published by docking the mad dog, 2012 г.

Электронная книга в форматах ePub, mobi, fb2, pdf.

ePub book uuid: 7f7a3080-8a77-4300-b442-d504a97cf8fc

[Оглавление](#)

# Acknowledgements

Электронная книга подготовлена с любезного разрешения и при участии автора.

Аннотация:

Дизайн обложки: Вячеслав Шарга.

Иллюстрации: Ольга Лесовикова (Rostislavna).

Предисловие: Николай Мурашов

Редактор: авторская редакция.

Страницы автора в сети:

<http://stihi.ru/avtor/charga>

Творческая гостиная [DILIGANS](#)


<http://www.proza.ru/avtor/charga>

Авторский [персональный сайт](#)

[Гостиная Verbatim Слово в Слово](#)

Литературно-философский [журнал "Гостиная"](#)  
[сайт "Авторским голосом"](#)

[Песни на стихи](#)



**ePub** book UUID: 090451E1-3260-4721-BD79-8923B9AE2D15

**fb2** UUID: f6fddeb7-1063-4f79-8867-c0e83823d932


Издание электронной книги в формате ePub (publisher), конвертация в mobi, azw3, pdf, fb2:

Николай Мурашов (docking the mad dog)

2013



[Оглавление](#)



- = \* \* \* = -

# Copyright information

Тексты данной электронной книги защищены(cc) Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Вы можете свободно:

делиться (You are free: to Share) – копировать, распространять и передавать другим лицам данную электронную книгу при обязательном соблюдении следующих условий:

- Attribution (Атрибуция) – Вы должны атрибутировать произведения (указывать автора и источник) в порядке, предусмотренном автором или лицензиаром (но только так, чтобы никоим образом не подразумевалось, что они поддерживают вас или использование вами данного произведения).

- Некоммерческое использование (Noncommercial use) – Вы не можете использовать эту электронную книгу или отдельные произведения в коммерческих целях.

- Без производных произведений – Вы не можете изменять, преобразовывать или брать за основу эту электронную книгу или отдельные произведения.

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.ru>

Любое из перечисленных выше условий может быть отменено, если вы получили на это разрешение от правообладателя.

-----

Licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

To view a copy of this license, visit

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/>

or send a letter to Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, USA.

You are free:

to Share – to copy, distribute and transmit the work

Under the following conditions:

Attribution – You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or

your use of the work).

Non-commercial – You may not use this work for commercial purposes.

No Derivative Works – You may not alter, transform, or build upon this work.

Any of the above conditions can be waived if you get permission from the copyright holder.



Thank you for respecting the work of this author.

[Оглавление](#)

~ = the end = ~